

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

ЗЕРКАЛО

РОМАНЪ

LES EDITIONS PETROPOLIS / BRUXELLES

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

ЗЕРКАЛО

РОМАНЪ

LES EDITIONS PETROPOLIS / BRUXELLES

Copyright 1939 by Irina Odoevtzeva.

OCR Давид Титиевский, август 2020 г., Хайфа

עיריית חיפה / מינהל החת"ד
אף לתרבות השכלה ואמנות הסח' לספריות
הספריה הצבורית ע"ש ש. מבזנר

ס' 72970/1

Рѣзкое столкновение сна и реальности, толчек — и сна уже нѣтъ. Сквозь полоски въ ставняхъ, какъ хлопья снѣга, падаетъ густой, бѣлый свѣтъ. Еще очень рано. Надо уснуть. Но сна больше нѣтъ. Она выпала его всего до послѣдней капли. И хотя сна больше нѣтъ, она еще не позволяетъ себѣ вступить въ дѣйствительность. Она закрываетъ глаза, стараясь ни о чемъ не думать. Успѣется, успѣется. Торопиться некуда. Она лежитъ между сномъ и дѣйствительностью, въ паузѣ, въ недоумѣннн, въ ничего не ожиданнн. Ей кажется, что она тихо качается въ гамакѣ, одинаково близкая, одинаково далекая отъ сна и дѣйствительности, отъ жизни и смерти, прислушиваясь къ себѣ, не понимая себя, въ таинственномъ недоразумѣннн будничнаго утра. Она слышитъ какъ дождь тихо стучитъ въ окно какъ мужъ тихо дышетъ рядомъ съ ней. Дождь какъ дыханн, дыханн какъ дождь — ритмично и скучно.

И вдругъ она еще ничего не вспомнивъ ясно, скорѣе отъ предчувствн, чѣмъ отъ воспоминанн, шаритъ рукой подъ подушкой и пальцы ея натыкаются на твердый, колючнй уголь визитной карточки. И сразу исчезаетъ граница между вчера и сегодня. Вчера не кончилось, оно снова тутъ, его снова надо пережить. Оно такое невѣроятное, такое непохожее на обыкновенныя „вчера“. Оно не желаетъ влѣзть въ память, укладываться въ ящикъ прошлаго, аккуратно сложеннымъ воспоминаннмъ. Оно, какъ гора, загромож-

даетъ, давить сегодняшнее утро, оно продолжаетъ жить, несмотря на то, что время его давно истекло.

Это вчера началось, какъ всѣ другіе.—одиночество и пустота. И неумѣніе, незнаніе, чѣмъ занять себя. На службѣ ея мужъ получилъ два приглашенія на кинематографическій фестиваль. „Люка, какая удача.” Да, онъ и не зналъ, не догадывался какая это была удача. „Весь Парижъ, даже президентъ. Одѣнься лучше”. Дома платье казалось очень красивымъ и волосы улеглись въ такіе легкіе локоны. Конечно, вечернихъ туфель не было, были коричневые почти новыя. Она любовалась собой, она радовалась, какъ она радовалась. Но тамъ, не успѣвъ даже снять пальто, она поняла. Радость смѣнили стыдъ и обида. Да, она сразу поняла, что она жалка, что она смѣшна, что она не имѣетъ ничего общаго съ этими нарядными, счастливыми женщинами. Онѣ кутались въ парчевыя или мѣховыя накидки, ихъ ноги, въ золотыхъ сандаляхъ, прятались подъ длинными платьями, волосы на ихъ счастливыхъ головахъ лежали побѣдоносно, какъ ореоль, какъ корона. — Нѣтъ, съ воробьями, съ камнями мостовой, съ оленями у Люки было больше общаго, чѣмъ съ этими женщинами. Зачѣмъ она пришла сюда? И все-таки она не ушла, она осталась, она до конца испытала униженіе и зависть. За себя, за своего, ничего не понимавшаго, мужа, за его старомодный, дешевый смокингъ. Вдвоемъ съ нимъ, они были не только провинціалами, затерявшимися въ эlegantной толпѣ, они въ этой толпѣ были единственнымъ, оазисомъ бѣдности.

На экранѣ разыгрывалась фантастическая счастливая судьба героини и, даже на ней, нельзя было остановиться, утѣшиться. Нельзя было подумать: Вотъ и ей тоже плохо, ей даже хуже, чѣмъ мнѣ сейчасъ.

Потомъ началась пытка музыкой. Она не слушала,

она старалась не слышать и всетаки страстный, лукавый, сладостный итальянскій голос безжалостно входитъ въ ея сердце и болью разливался по всему тѣлу, сверля кости, какъ ревматизмъ, какъ старость.

Пытка музыкой. Сладостный, лукавый, соблазнительный голосъ. Соблазнъ жизни. Но вѣдь у нея, Люки, нѣтъ жизни. Развѣ можно назвать жизнью то, чѣмъ она (день да ночь — сутки прочь) приближается къ смерти? Это только „не умираиe“. А жизнь — это блестящая судьба, блестящая борьба, это взлеты и паденія, любовь, слава и, въ концѣ, блестящая гибель.

Лукавый, страстный, соблазнительный голосъ доказываетъ, показываетъ, заставляетъ Люку понять то, о чемъ она даже и не догадывалась.

Вотъ онъ легко поднимается все выше, все слаще, вотъ на минуту задерживается на высокомъ ла. Сейчасъ онъ полетитъ еще выше, еще есть надежда на спасеніе, все еще можетъ устроиться. Но голосъ, будто поколебавшись немного, поддается благоразумному зову рояля и кубаремъ летитъ внизъ. И за нимъ падаетъ послѣдняя надежда и разбивается у ногъ Люки въ грохотъ аккордовъ. Еще четыре такта и неудавшаяся судьба, съ грубой жестокостью, встаетъ передъ Люкой. Безъ подготовки, безъ жалостливой осторожности, сразу, какъ въ развернутой газетѣ объявленіе въ траурной рамкѣ о смерти друга. Безъ подготовки, не часъ за часомъ, когда неудача расцвѣтаетъ какъ цвѣтокъ — сначала завязь, мягкіе, шелковые листья, влажный зеленоватый бутонъ — медленно, осторожно, очень осторожно, очень медленно. Накопленіе примѣтъ, страховъ, сомнѣній. Времени достаточно, времени даже слишкомъ много, чтобы привыкнуть, усвоить, сжиться со своей неудачной судьбой, чтобы когда она вдругъ распустится во всемъ непоправимомъ, окончательномъ великолѣпнѣи, не испу-

гаться, не возмутиться, покорно принять каждый ея лепестокъ.

Но Люкѣ это открылось сразу, съ жестокостью, съ откровенностью, съ грубостью, на которую способна только музыка. Нѣтъ, она не знала, что она несчастна. Она засыпала и просыпалась улыбаясь. „Мой мужъ, мой домъ, мой обѣдъ...” Эти слова вдругъ превратились въ сплошную дыру, изъ нихъ вывалилось драгоцѣнное самодовольство судьбой. И тогда стало совсѣмъ невтерпежъ отъ боли, стыда и зависти, тогда захотѣлось крикнуть: довольно, больше не могу. Она, задушивъ въ себѣ крикъ, проглотивъ его, перевела дыханіе, и боль, которой не удалось вырваться крикомъ, — слезой покатила по щекѣ. Одна капля горя. На одну каплю горя стало меньше. Она закрыла глаза, опустила голову, сложила руки на колѣняхъ. Стало спокойнѣй, стало терпимѣе. Не слушать, знать, что все, что происходитъ здѣсь, совсѣмъ не касается ея. Она сама по себѣ и внѣ всего этого. Она глубоко ушла въ кресло, но едва она устроилась, приспособилась, уже надо уходить. Встать во весь ростъ — короткое платье, замшевыя туфли — беззащитно встать подъ насмѣшливые взгляды, пройти, какъ сквозь строй, сквозь толпу. — Что же ты не идешь, Люка? Придется часъ ждать пальто... Я побѣгу впередъ.

Она чувствовала какъ провинціально закручиваются ея локоны, какъ оскорбительно топорщится накрахмаленное платье, какъ жалко блестятъ чулки. У выхода изъ зала, она подняла голову и увидѣла себя, свое грустное молодое лицо. Она удивилась. Она чувствовала себя такой старой, жалкой, смѣшной и лицо ея должно было быть сейчасъ старымъ, опущеннымъ, жалкимъ... Но такъ еще хуже, еще обиднѣе. Она отвернулась, чтобы не видѣть себя, она спряталась за колонну.

Нѣтъ, этого нельзя было вынести. Она спрята-лась за колонну, чтобы ее не было видно, чтобы по ней не бѣгали, какъ ящерицы, скользкіе, презритель-ные, удивленные взгляды. Она прижалась къ колоннѣ. Жена Лота, соляной столбъ. Лучше стать солянымъ столбомъ, чѣмъ это униженіе, эта боль. Скоро ли вернется Павликъ? Скоро ли они уйдутъ отсюда? Она испуганно вздрагиваетъ, и испуганно оборачива-ется: холодный голосъ, какъ вода, льется на ее заты-локъ, за вырѣзь ее открытаго платья.

Тьері Ривуаръ, знаменитый режиссеръ, о которомъ она читала въ газетахъ. Онъ стоитъ передъ ней. Отъ его черныхъ волосъ, отъ его бѣлыхъ зубовъ, отъ его свѣтлыхъ глазъ, исходитъ сіяніе. Онъ стоитъ передъ ней въ сіяніи и славі. Такъ, въ сіяніи и славі на землю спускается архангелъ, посланникъ неба. Она смотритъ на него. Онъ стоитъ передъ ней, нѣтъ не онъ — они. Ихъ двое, четверо, двѣнадцать, сто... Они двоятся, четверяются, отражаются въ зеркальной стѣнѣ. Цѣлая толпа, цѣлый сонмъ ангельскихъ силъ — въ сія-ніи и славі. Голосъ растетъ, ширится, летитъ, это хоръ голосовъ. — Приходите завтра въ контору. Въ контору... — торжественно и гулко отдается подъ по-толкомъ. — Я буду васъ ждать. Ждать, какъ ударъ грома.

Онъ протягиваетъ ей руку и весь сонмъ ангель-скихъ силъ протягиваетъ руки вмѣстѣ съ нимъ. Въ рукѣ что-то блеститъ — молнія или мечъ? Она готова принять и молнію и ударъ меча. Но въ его рукѣ бѣлая визитная карточка. — Тутъ мой адресъ. Вы придете? Она киваетъ. Она говоритъ: да. Ей кажется, что она кричитъ, но звука не слышно, можетъ быть она ничего не сказала. Но онъ понялъ. И тогда онъ — они, тѣ, которые толпой стоятъ передъ ней, тѣ, кото-рые толпой отражаются въ зеркалахъ — улыбаются. Такъ не улыбаются люди. Такъ сверкаютъ люстры

въ версальскомъ дворцѣ, такъ сіяютъ тысячи свѣчей въ соборѣ, такъ въ черномъ небѣ разрывается фейерверкъ надъ ночными скачками въ Лонгшанѣ, такъ сѣверное сіяніе отражается въ прозрачныхъ льдахъ. И она зажмуривается отъ нестерпимаго сіянія.

— Я васъ жду, повторяетъ хоръ и это звучитъ почти нѣжно и тихо. И вотъ его, ихъ уже нѣтъ. Никто не стоитъ передъ ней и зеркала пусты. Эхо еще повторяетъ „жду” и въ воздухѣ еще дрожитъ сіяніе.

По опустѣвшему фойе идетъ мужъ. Онъ подаетъ ей пальто.

Она смотритъ на свое пальто — сѣрое, старое, кусокъ ея старой, сѣрой жизни. Неужели надо его надѣть послѣ того, что только-что было, послѣ того, что расколело ея жизнь на двѣ части. — Что же ты не надѣваешь пальто? Она всовываетъ руки въ рукава, застегиваетъ пуговицы, прячетъ визитную карточку въ карманъ. Она не расскажетъ мужу о встрѣчѣ. Ей всегда казалось, что у нея не можетъ быть отъ него тайнъ, что она ничего не сможетъ скрыть отъ него. Но это казалось, должно быть, оттого, что въ ея старой, скучной, сѣрой жизни скрывать было рѣшительно нечего.

Она одѣвается. Кажется она всетаки похожа на провинціалку. Но это не страшно теперь. Такой она понравилась Ривуару, можетъ быть, даже за это понравилась. На ней синій костюмъ, волосы причесаны какъ вчера. Такъ хорошо. Теперь надо сѣсть въ кресло и ждать. Такой красивой она еще никогда не была. Такой задумалъ ее Богъ, но скука, грусть, бѣдность жизни мѣшали ей быть такой прежде. Сейчасъ, когда случилось чудо, она сама чудесно измѣнилась, какъ будто это не она, а мечта о ней. Она такая, какъ сама о себѣ мечтала.

Она смотритъ на часы. Половина шестого. Надо ѣхать. Она спускается по лѣстницѣ, беретъ такси. Такъ просто, — ни препятствій, ни грома, ни землетрясенія.

Она смотритъ на улицы, на дома, на людей, она старается все запомнить: это она видитъ въ самый рѣшительный, рѣшающій часъ своей жизни, это надо запомнить навсегда. Все — какъ автобусъ заворачиваетъ за уголь, какъ дама въ розовой шляпѣ покупаетъ персики съ лотка, какъ велосипедистъ чуть не наѣхалъ на собаку. Ей кажется, что люди и предметы, все, на что она смотритъ, вырѣзывается какими-то невидимыми острыми ножницами изъ общей картины и, пересыпанное солнечными искрами, какъ нафталиномъ, укладывается навсегда въ память, а на мѣстѣ, гдѣ были эти люди и предметы, остается солнечное пятно.

Подъѣздъ, сѣрый коверъ лѣстницы, стекляннометаллическій лифтъ съ стекляннометаллическимъ жужжаніемъ отрываетъ ее отъ земли. На мгновеніе она теряетъ равновѣсіе, волю, себя. Но лифтъ уже останавливается и она открываетъ рѣшетчатую дверь, похожую на дверь тюремной камеры, и входитъ черезъ вторую стеклянную дверь въ судьбу. Большая комната полна людей, головъ, голосовъ и пишущихъ машинокъ. Этого она не ожидала. Страхъ кидается въ ноги, она останавливается.

Она объясняетъ снисходительной дактило, что Ривуаръ ждетъ ее. Она приготовила фразу уже въ такси, но страхъ отнимаетъ смыслъ у словъ.

— Присядьте, говоритъ дактило, будто предлагая ей устроиться на зимовку, — вамъ придется долго ждать если monsieur Ривуаръ вообще сможетъ васъ принять, говоритъ она съ такимъ выраженіемъ лица, будто уже принесла отвѣтъ: „къ сожалѣнію"... Она уже увѣрена, что именно это ей придется сейчасъ ска-

зять. Дверь закрывается за ней. Люка старается не видѣть всѣ эти лица, стулья и руки. Страхъ покатавшись шаромъ по всему тѣлу, понемногу сосредоточился въ колѣняхъ. Удастся ли встать? Дактило возвращается озадаченная и почтительная — Monsieur Ривуаръ васъ просить. Страхъ прыжкомъ перескакиваетъ въ горло, итти можно, но удастся ли говорить?

Ривуаръ самъ выходитъ къ ней навстрѣчу. Онъ стоитъ передъ ней такой же, какъ вчера — въ сіяніи и славѣ. — Какъ я радъ, что вы пришли. — Онъ улыбается. Она смотритъ на него. Какъ онъ улыбается? Онъ пропускаетъ ее передъ собой. Она входитъ, стараясь найти опредѣленіе для его улыбки, забывъ о страхѣ, торчащемъ поперекъ горла, о важности этой минуты.

— Я былъ увѣренъ, что вы придете. — Электрическая улыбка, говоритъ она, найдя опредѣленіе. — Что? переспрашиваетъ онъ, не понявъ и она, спохватившись, отвѣчаетъ — Конечно, я не могла не придти. Онъ предлагаетъ ей папиросу. Нѣтъ, она не куритъ. Онъ закуриваетъ самъ. Онъ разсматриваетъ ее внимательно сіяющимъ взглядомъ, немного наклонивъ голову набокъ. Она сидитъ прямо, не шевелясь, ничѣмъ не защищенная, не уклоняясь, не прячась, стараясь, какъ можно лучше, дать ему рассмотреть, оцѣнить себя. Вотъ я такая, вотъ я вся. Онъ киваетъ. — Да, я не ошибся. Вы именно такая, какъ мнѣ надо. У васъ молодое, совсѣмъ новое, какъ изъ магазина, лицо. Еще не помятое, не запачканное жизнью и воспоминаніями. Такое именно, какъ мнѣ надо. Но главное, какъ вы слушали пѣніе. Я слѣдилъ за вами. Вы слушали сердцемъ и ваше лицо, отражало музыку. Я никогда не видѣлъ, чтобы такъ слушали, такъ чувствовали музыку. И когда вы заплакали, я понялъ, что вы — та, которую я ищу. Она краснѣетъ. — Я не плакала. Только одна слеза. — Только одна слеза,

повторяетъ онъ и закуриваетъ новую папиросу. Она съеживается, горбится, ей хочется спрятаться отъ его взгляда. Значитъ все это недоразумѣніе, ошибка, обманъ. Онъ нашель не ту, которую искалъ. Она не понимаетъ, не любитъ музыки, она не плакса, которую растрогаешь пѣніемъ.

— Даръ слезъ, говоритъ онъ, даръ еще болѣе цѣнный, чѣмъ даръ смѣха. Актриса это обыкновенно кирпичъ, изъ котораго не выжмешь слезы. Но у нея нѣтъ этого „дара слезъ“, — она почти никогда не плачетъ. Она молчитъ, она опускаетъ голову. Ея новая судьба начинается съ обмана.

— Я сдѣлаю изъ васъ знаменитость. „Знаменитость“ — какъ толчекъ въ грудь. Ей никто не давалъ такихъ обѣщаній, она не привыкла къ такимъ словамъ. А онъ уже говоритъ о роли, рассказываетъ содержаніе фильма. Онъ даже не спросилъ, согласна ли она? — Вамъ придется только принести разрѣшеніе родителей. — Я замужемъ и мнѣ двадцать одинъ годъ, объясняетъ она, гордясь замужествомъ и совершеннolѣтіемъ. — Жаль, говоритъ онъ и она не знаетъ, жалѣеть ли онъ о томъ, что ей уже такъ много лѣтъ или о томъ, что она уже замужемъ.—Онъ продолжаетъ: Въ пятницу съ васъ сдѣлаютъ пробные снимки. Вы торопитесь сейчасъ? Васъ ждетъ мужъ? Она встаетъ, она протягиваетъ ему руку. Должно быть надо уходить. Она очень долго сидѣла здѣсь, очень долго задерживала его. — Нѣтъ, мой мужъ уѣхалъ на два дня на заводъ. Онъ пожимаетъ ея руку. — Ну вотъ, мы и нашли другъ друга. Сознайтесь, что и вы искали режиссера своей судьбы? Вы еще не догадываетесь, какая это будетъ удивительная судьба. Она киваетъ — Я не искала, но я, конечно, очень рада, что я нашла васъ. Куда мнѣ придти въ пятницу? Но онъ не отпускаетъ ее. Разъ никто не ждетъ ее, они могутъ пообѣдать вмѣстѣ. Онъ сейчасъ кончитъ всѣ свои

дѣла. Она снова садится, она не спорить. Онъ кладетъ передъ ней кинематографическіе журналы. Она остается одна. Она не читаетъ журналовъ, она осматриваетъ комнату. Пока онъ былъ здѣсь, ея вниманіе, ея зрѣніе, ея слухъ были заняты только имъ, но теперь она одна и предметы заявляютъ о себѣ. Ихъ нельзя не видѣть, они такіе модные, красивые, такъ подчеркнуто дорого стоятъ, всѣ — и громадныя кресла, крытыя почти бѣлой шелковистой кожей (очень марко, должно быть), и свѣтлый персидскій коверъ, и на необъятномъ письменномъ столѣ фантастическая лампа съ плоскимъ стекляннымъ дискомъ. Она протягиваетъ руку, нажимаетъ кнопку. Лампа зажигается желтоватымъ туманомъ. Конечно, отъ такой лампы и нельзя было ожидать, чтобы она свѣтила, какъ нормальная лампа. Она тушитъ ее, она смотритъ на почти бѣлыя блестящія, голыя стѣны. Очень успокоительны эти большія, пустыя пространства, — успокоительно, холодно и одиноко. Въ такой комнатѣ, должно быть, легко думать и трудно жить. На кругломъ зеркальномъ столикѣ, въ хрустальной вазѣ — букетъ розъ, но воды въ вазѣ нѣтъ. И книгъ тоже нѣтъ, ни одной книги. Она сидитъ здѣсь, она ждетъ Ривуара, она уже почти привыкла къ чуду. Она готова принять безъ удивленія все, что случится сегодня.

Ривуаръ возвращается. — Не очень долго? Они выходятъ черезъ контору и всѣ машинистки и служащія встаютъ и говорятъ — До свиданья. Это относится также и къ ней. Пусть они не беспокоятся, они снова скоро увидятъ ее и не одинъ еще разъ. И она отвѣчаетъ имъ — До свиданья. Стекло-металлическій лифтъ, уже старый, добрый знакомый, мягко спускаетъ ихъ внизъ. Передъ домомъ стоитъ большой черный, необычайный автомобиль, похожій сразу и на водолаза и на акулу.

— Сначала покатаемся немного. Они ѣдутъ въ Булонскій лѣсъ. Октябрь, а почти жарко,—только сейчасъ вечеромъ она это замѣчаетъ, цѣлый день некогда было замѣтить. Въ Булонскомъ лѣсу медленно движутся ряды автомобилей, деревья еще зелены и птицы поютъ. Сколько людей, сколько женщинъ, можетъ быть такія же, тѣ же, что вчера. Ей кажется, что она даже узнаетъ ихъ. Но она не присматривается — тѣ же, такія же — не все ли ей равно? Мимо, мимо. По синему пруду плыветъ гордый бѣлый лебедь, на зеленомъ берегу стоитъ гордая бѣлая борзая. Лебедь похожъ на борзую, борзая на лебедя. Люка протягиваетъ руку — Посмотрите. Ривуаръ поворачиваетъ голову къ пруду. Онъ не замѣчаетъ ни борзой, ни лебедя. — Вода, говоритъ онъ. Хорошо бы выкупаться. Вы умѣете плавать? — Ну, еще бы. Ни лебедя, ни борзой больше не видно. Они ѣдутъ теперь по боковой аллеѣ, пустой и тихой. Такой тихой, что слышно, какъ осторожно и взволнованно шумятъ деревья. — Вамъ пріятно? спрашиваетъ Ривуаръ.

— Очень, отвѣчаетъ она. Но развѣ „пріятно” — подходящее слово? Она счастлива. Нѣтъ, и „счастлива” еще слишкомъ блѣдно, слишкомъ слабо. Ей хочется пѣть, кричать, выпрыгнуть на всемъ ходу изъ автомобиля, удариться о твердую землю такъ, чтобы ничего отъ нея не осталось, разсыпаться, распылиться. Нѣтъ, чтобы и пыли не осталось. Ничего, только крикъ счастья. Но для кого тогда ея восхитительное будущее, ея побѣда, ея слава? Умирать не надо даже отъ счастья. Не только умирать, но и кричать не надо. — Потрубите, пожалуйста, немножко, просить она вдругъ. Онъ удивляется — Зачѣмъ? Она не объясняетъ и какъ объяснить? Но вѣдь побѣду всегда трубятъ, труба прославляетъ побѣду, извѣщаетъ о ней. — Пожалуйста, потрубите! И онъ трубитъ. Густой трубный голосъ взволнованно повторяетъ —

Побѣда, побѣда, — деревья гнутся, будто кланяются.

— Я голодень, говорить Ривуаръ. И меня ждуть въ ресторанѣ. Мой компаньонъ и — онъ на минуту останавливается, — одна артистка, Тереза Кассани, вы знаете ее? Я видѣла ее имя на афишахъ. Такими аршинными буквами. — Черезъ годъ, говорить онъ совсѣмъ просто, ваше имя тоже будутъ писать такими буквами, а черезъ два года вы поѣдете въ Холливудъ. Можете мнѣ вѣрить. Она ничего не отвѣчаетъ, дорога передъ глазами вдругъ обрывается, превращается въ море и волны сейчасъ налетятъ на автомобиль. Она закрываетъ лицо руками. — Зачѣмъ вы поспѣшили съ замужествомъ? доносится сквозь гуль волнь. — Какъ это глупо. Она опускаетъ руки. Дорога опять, какъ дорога и деревья съ обѣихъ сторонъ. — Скажите, вы любите мужа? — Нѣтъ, совсѣмъ не люблю. Это она отвѣчаетъ „совсѣмъ не люблю” такъ спокойно и рѣшительно, какъ будто она давно взвѣсила свои чувства къ мужу, давно разобралась въ нихъ. „Не люблю” подкрѣплено еще и „совсѣмъ”, чтобы не оставалось сомнѣнія. Она такъ сразу, не задумываясь отвѣчаетъ, будто отвѣтъ былъ давно готовъ, давно лежалъ на днѣ сознанія въ окончательной редакци, точный, какъ формула, давно ждалъ вопроса, который позволить ему прозвучать. Вопросы, котораго никто не задавалъ ей, котораго она сама никогда не задавала себѣ. Неужели она дѣйствительно не любитъ мужа? Но отвѣтъ, такъ удивившій ее, кажется вполне естественнымъ Ривуару. — Я такъ и думалъ. Все таки мужъ ненужный балластъ. — Это о немъ, о ея миломъ Павликѣ говорятъ такъ и она не споритъ, не возмущается. Она уже предаетъ Павлика.

— Ривуаръ, это знаменитый Ривуаръ, доносится женскій шепотъ. Люка не поворачиваетъ головы, она

идеть рядомъ съ Ривуаромъ въ своемъ синемъ костюмѣ, въ своемъ беретѣ гордо и легко. — Смотри, знаменитый Ривуаръ. Рядомъ съ Ривуаромъ — это важнѣе, чѣмъ мѣха и брилліанты.

Мэтръ д'отель подводитъ ихъ къ столику, за которымъ сидитъ женщина въ большой шляпѣ. У нея совсѣмъ черные глаза, бѣлое лицо, очень красный ротъ. Гдѣ Люка видѣла ее? На кого она похожа? На кого? Ахъ, да: только-что — лебедь, борзая... Она похожа сразу и на лебедя и на борзую, ей надо было бы стоять тамъ, на берегу, рядомъ съ борзой и кормить хлѣбомъ лебедя своей гибкой, тонкой рукой, ее можно было бы снять такъ, съ борзой и лебедемъ, какъ фамильную группу.

— Мы уже давно ждемъ, говоритъ она равнодушно и нараспѣвъ. Господинъ, сидящій возлѣ нея, встаетъ. Онъ лысый и черепъ у него гладкій и совсѣмъ не противный. Лицо еще молодое съ голубыми глазами. Онъ кланяется слишкомъ низко, слишкомъ вѣжливо и чопорно. — Мой компаньонъ, Герэнъ, представляетъ его Ривуаръ. Герэнъ касается груди быстрымъ жестомъ. Неизвѣстно, ощупываетъ ли онъ бумажникъ, или провѣряетъ, на мѣстѣ ли сердце? Люка садится. Она не чувствуетъ неловкости, будто каждый вечеръ обѣдаетъ въ такомъ ресторанѣ. Но составить меню она не можетъ — слишкомъ трудно сейчасъ понять, какія это блюда и можно ли ихъ ѣсть. Ривуаръ помогаетъ ей. Приносятъ раковый супъ. — Вкусно, одобряетъ Ривуаръ. Развѣ вкусно? Она глотаетъ супъ, не чувствуя вкуса, какъ во снѣ. И всетаки она ѣсть, какъ всѣ, она пьетъ вино.

— Я уѣзжаю завтра утромъ, — у Терезы Кассани низкій, глухой голосъ, отсутствующій, равнодушный взглядъ, будто ей безразлично, что она говоритъ, будто она даже не слышитъ этого. — Мы видимся въ послѣдній разъ. Это относится къ Ривуару и онъ за-

жигается своей электрической улыбкой. — Я приѣду на вокзалъ. Она качаетъ головой. — Не нужно жертвъ, и этого вечера довольно.

Она говоритъ о незнакомыхъ людяхъ, о незнакомыхъ дѣлахъ, она не обращаетъ на Люку вниманія. Но Ривуаръ смотритъ только на Люку. Музыка нѣжно звенитъ, и музыка, которая вчера была пыткой, сегодня стала голосомъ ея побѣды. У Люки такое счастливое лицо, слишкомъ неприлично-счастливое, она старается удержать губы, чтобы онѣ не улыбались, она опускаетъ вѣки. Она чувствуетъ, что сейчасъ, если посмотрѣть въ ея глаза, она видна вся насквозь, со всѣми своими счастливыми мыслями. Такая открытая, незащищенная, до безстыдства откровенная. Ей хотѣлось бы закрыть лицо. Она смотритъ на Терезу Кассани. Если бы она могла сейчасъ чувствовать что-нибудь кромѣ счастья, — она позавидывала бы ей. Какое спокойствіе, какое безразличіе. Она сама по себѣ, полна собой, своей красотой и ничто ея не касается. Тереза Кассани поднимаетъ стаканъ. — Я пью за вашу будущую карьеру. Значитъ она всетаки обратила вниманіе на Люку. Она черезъ столъ наклоняется къ Люкѣ. — Я должна была бы васъ ненавидѣть, говорить она совсѣмъ тихо, но я не желаю вамъ зла. Она улыбается своимъ слишкомъ краснымъ ртомъ. — Правда, я не желаю вамъ и добра. Удачная карьера, — еще не добро. Вы потомъ сами убѣдитесь въ этомъ. Люка удивленно смотритъ на нее. Эта красивая, знаменитая женщина можетъ пожелать ей зла? Конечно не въ пожеланіи зла дѣло, сейчасъ всякое зло для нея, Люки, превратится въ добро, но она, эта Тереза Кассани, значитъ несчастна? Неужели можно быть несчастной сегодня?

— Зачѣмъ вы пришли сегодня, а не завтра? голосъ Терезы Кассани попрежнему равнодушенъ. За музыкой ни Ривуаръ, ни Герэнъ, не могутъ его услышать, и

черныя глаза смотрятъ безучастно на вазу съ цвѣтами. — Если бы вы пришли завтра, я не узнала бы, я могла быть спокойна три мѣсяца въ Вѣнѣ. Онъ никогда не пишетъ, я ничего не узнала бы. Какъ онъ влюбленъ въ васъ.

Сердце Люки вдругъ останавливается. Сердце и мысли. Она ничего не понимаетъ. Минута паузы, перерыва, тишины, темноты.

— Вы смотрите на меня: такая старая,—конечно, я кажусь вамъ старой,—а еще любить, еще влюблена. Но знайте, это все ничего не значить, ни длинная жизнь, ни блестящая судьба съ поклонниками, успѣхами, деньгами. Этого всего просто нѣтъ. Когда любишь, всегда шестнадцать лѣтъ, всегда вся жизнь впереди, завтра впервые надѣнешь кисейное, длинное платье, завтра будетъ первый балъ. И ждешь, волнуешься, страшишься этого перваго бала, этой жизни, которая начнется завтра. Но вы слишкомъ молоды, вы не можете понять.

Нѣтъ, конечно, Люка не понимаетъ. Ей хотѣлось бы пожалѣть эту красивую, несчастную женщину, но для жалости нѣтъ мѣста — она вся до послѣдняго уголка, переполнена счастьемъ и она молчитъ. Она хотѣла бы попросить прощенія за свое счастье, но какъ попросить и зачѣмъ?

Обѣдъ кончается. Ѣдятъ фрукты. Кофе можно пить безъ конца. У директора ея мужа кофе пьютъ часами и тутъ, навѣрно, такъ же. Но Ривуаръ вообще не пьетъ кофе, — ему надоѣло сидѣть, онъ хочетъ уйти отсюда.

— Вы торопитесь? спрашиваетъ Тереза Кассани. — Нѣтъ, нисколько. Но здѣсь жарко, я усталъ за день. Онъ вдругъ какъ-то темнѣетъ, осѣдаетъ, будто въ немъ потушили его электрической свѣтъ. У него неподвижное безжизненное лицо — контактъ между нимъ и жизнью вдругъ прервался. Но онъ сейчасъ же снова

улыбается своей электрической сіяющей улыбкой. Люкѣ только показалось, нѣтъ, у него не было, не могло быть этого темнаго, мертваго лица. Ей показалось.

Обѣдъ конченъ, счетъ заплаченъ. Они идутъ всѣ вмѣстѣ къ выходу. — Вашъ автомобиль здѣсь? спрашиваетъ Ривуаръ Терезу. Она улыбается. Какъ можетъ она улыбаться? — Нѣтъ, я рассчитывала вернуться съ вами. Но не беспокойтесь. Вы меня подвезете? она поворачивается къ Герэну, подчеркнуто, граціозно кутаясь въ мѣхъ. Да? Ну тогда — доброй ночи вамъ обоимъ. Она протягиваетъ Люкѣ руку и рука ея теплая и не дрожить. Ривуаръ цѣлуетъ эту теплую, надушенную руку.

— Я пріѣду, если успѣю, завтра на вокзалъ, обѣщаетъ Ривуаръ. Она улыбаясь, киваетъ. — Но вы, конечно, не успѣете.

Снова шуршанье шинъ и поклоны деревьевъ. У Ривуара веселое, злое лицо, онъ наслаждается свободой, прохладой. — Было ужасно жарко. Какъ мы быстро удрали... — Знаете, Тереза не будетъ спать всю ночь. Но женщины никогда не понимаютъ, онѣ навязчивы, онѣ безтактны, онѣ ревнивы. И почему онѣ такъ легко, слишкомъ легко влюбляются, а не умѣютъ легко разлюбить? Каждая хочетъ быть единственной, съ каждой — навѣки. Ривуару хочется поговорить о любви, о своихъ успѣхахъ и поклонницахъ. Сейчасъ Люка могла бы многое узнать — онѣ еще ничего не скрываетъ отъ нея, онѣ еще откровенны, они еще не съѣли вмѣстѣ пуда соли, того пуда, послѣ котораго съѣвшіе его вмѣстѣ, уже совсѣмъ не видятъ другъ друга, совсѣмъ не слышатъ, совсѣмъ не понимаютъ. Нѣтъ, сегодня только первый день, сегодня все видно, слышно, понятно. Видно на годы назадъ. Если позволить ему рассказать его прошлое, можно

увидѣть и всѣхъ женщинъ, которыя любили его, которыхъ онъ любилъ, услышать всѣ нѣжныя слова, сцены ревности, крики. И понять какъ и за что онъ любилъ. И главное — узнать можетъ ли онъ любить ее, Люку? Да, ему хочется поговорить о любви. Онъ неостороженъ, онъ, можетъ быть, скоро пожалѣетъ объ этомъ. Лучше этотъ разговоръ отложить на завтра, на послѣзавтра, на потомъ, на послѣ конца. Потому что конецъ, какой-нибудь конецъ, наступитъ же въ ихъ отношеніяхъ. Ему хочется поговорить о себѣ, о любви. Этотъ разговоръ, какъ клубокъ шерсти, катается въ воздухѣ, разматывая длинную нить. Конецъ нити вьется передъ Люкой, его легко схватить, легко прикрѣпить какимъ-нибудь — „Вы ее любили?“ „Какъ долго это продолжалось?“, закрутить за самый банальный вопросъ и весь клубокъ, который только этого и ждетъ, разматается быстро и мягко. Но ей рано знать все это, ей сейчасъ хочется говорить и слушать не о немъ, а о себѣ, не о прошломъ, а о будущемъ, она не ловитъ хвостика клубка и клубокъ, покатавшись между ней и Ривуаромъ, выкатывается въ окно. Случай навсегда потерянь: то, что она могла узнать сейчасъ о нѣжности и жестокости Ривуара, она не узнаетъ никогда. — Вы дѣйствительно увѣрены, что я стану знаменитостью? Кромѣ любви существуютъ и другія темы, менѣе, конечно, подходящія для ночи и поѣздки вдвоемъ, но о кинематографѣ, о своей работѣ онъ можетъ говорить всегда. Она спрашиваетъ его о „звѣздахъ“, которыхъ онъ вывелъ въ звѣзды, кто онѣ были, какъ онъ открылъ ихъ? На „открываніе звѣздъ“ у него особенный нюхъ, особый талантъ. Онъ видитъ въ людяхъ самую сущность, солнечное сплетеніе, нервный центръ. Такъ было и съ ней. Онъ понялъ ее оттого, что она плакала, слушая пѣніе. Если бы не эта слеза, онъ не былъ бы увѣренъ въ ея талантѣ, въ ея карьерѣ. Люка морщится, она хочетъ забыть объ этомъ. Эта слеза —

единственное маленькое пятнышко на ея чистомъ новомъ счастьи.

— Черезъ годъ вы будете знаменитой, — одной моей фильмы хватитъ, чтобы васъ рвали на куски. Всѣ вѣдь знаютъ, что у меня острый глазъ и удачная рука. Тѣ, кто начиналъ со мной, взбирались на лѣстницу славы. Всѣ. Люка слушаетъ. Только бы онъ говорилъ еще, еще, о славѣ, о карьерѣ... Они ѣдутъ теперь по версальской дорогѣ, Люка поднимаетъ голову и видитъ надъ собой два черныхъ дерева, растущихъ на насыпи, подъ которой проходитъ дорога. Какъ тихо, какъ грустно они стоятъ, совсѣмъ какъ деревья на могилѣ. Но они уже проѣхали и теперь надъ головой только небо и звѣзды. — Я хочу пить, говорить Ривуаръ, а вы? — Я тоже. Вѣдь онъ ждетъ отъ нея, чтобы ей хотѣлось пить. Они вѣзжаютъ въ какія-то ворота, выходятъ изъ автомобиля.

— Вы уже бывали здѣсь? спрашиваетъ онъ и она киваетъ. Зачѣмъ ему знать, что она нигдѣ не бывала? Они спускаются въ садъ, они садятся въ низкія складныя кресла. Внизу блеститъ вода, темнѣютъ цвѣты и большія, бархатныя крылья мельницы неподвижно приклеились къ звѣздному, лакированному небу.

— Хотите шампанскаго? Она опять киваетъ, но, конечно, она не хочетъ шампанскаго, она вообще ничего не хочетъ, кромѣ того, что уже есть. И всетаки, несмотря на то, что она ничего не хочетъ, впервые за свою жизнь и, можетъ быть, именно изъ-за этого, съ каждымъ часомъ становится все лучше. Можетъ быть и отъ шампанскаго еще увеличится счастье? Она пьетъ шампанское. Вкуса попрежнему нѣтъ, но пузырьки газа щекочутъ нѣбо.

— Какъ вы забавно морщите носъ. Когда вы будете крутить, не забудьте такъ морщить носъ, если придется пить шампанское. Да, отъ шампанскаго становится еще лучше. Отъ шампанскаго все удваи-

вается, — съ ней рядомъ сидить не одинъ, а два Ривуара, и мельницъ — двѣ, и счастья два и два сіяющихъ будущихъ. Но объяснить это трудно, — она даже не пытается, она смотритъ на свое удвоившееся богатство со смутной надеждой. Можетъ быть, оно еще и утроится? Онъ наливаетъ ей еще стаканъ. Онъ не знаетъ, что она пила шампанское, и то не больше стакана, только на Новый Годъ, онъ не замѣчаетъ, что она пьяна. Нѣтъ, она не пьяна и Ривуаръ одинъ, онъ наклоняется близко, обнимаетъ ее очень неудобно и тѣсно. Ей кажется, что ей на голову надѣли черный мѣшокъ, что ее тащутъ за ноги куда-то внизъ, должно быть, топить, но страха нѣтъ и счастье тоже не пугается, оно здѣсь. Люка шумно переводитъ дыханіе, она смотритъ въ свѣтлые, сіяющіе глаза Ривуара. — Совсѣмъ маленькая, говоритъ онъ, даже цѣловаться еще не умѣетъ. — Я не маленькая, она немного обижена, — я не хочу, чтобы меня топили, объясняетъ она. Онъ не споритъ, онъ принимаетъ ея объясненіе. Лакей приноситъ еще бутылку и надо снова пить и опять ей надѣваютъ на голову черный мѣшокъ, но ея не топятъ. Никто не собирается ее топить. — А теперь поѣдемъ ко мнѣ, говоритъ Ривуаръ. Теперь? Ночью? Она качаетъ головой. Она не все понимаетъ, но она знаетъ, что ѣхать не надо.

— Нѣтъ. Я хочу домой. И онъ не споритъ, онъ соглашается.

— Хорошо, тогда слѣдующій разъ. Рѣшено, слѣдующій разъ. Она тоже не споритъ. Онъ помогаетъ ей взобраться наверхъ, въ гору, къ автомобилю, въ гору будто къ славѣ. Онъ помогаетъ ей сейчасъ, онъ поможетъ ей потомъ. Она сидитъ въ автомобилѣ, холодный ночной вѣтеръ дуетъ ей въ лицо. Нѣтъ, она не пьяна, она все видитъ, все понимаетъ и свое счастье и дорогу домой. Послѣзавтра, въ пятницу она придетъ

къ нему утромъ, онъ повезеть ее въ студию сниматься. Она совсѣмъ не пьяна, она все помнитъ. Автомобиль останавливается. Она прѣехала. — Вы живете тутъ, въ этомъ домѣ? Она смотритъ на домъ, будто не узнаеть его. — Да, тутъ. Онъ помогаетъ ей выйти. — Спите спокойно. Онъ цѣлуетъ ее въ губы. Да, это онъ цѣлуетъ ее и никакого мѣшка не надѣваютъ. Это только казалось и всетаки въ ногахъ судорога, будто ее схватили за ноги и тащутъ. Онъ стоитъ передъ ней безъ шляпы. — Не забудьте. Нѣтъ, она ничего не забудеть. Онъ нажимаетъ кнопку и дверь открывается, она входитъ въ домъ. Хорошо, что „дома” во второмъ этажѣ, а не выше. Она держится за перила, она съ трудомъ поднимаетъ ноги. Какъ она устала. Ей хочется сѣсть на ступеньки, отдохнуть немного, но нельзя и она открываетъ сумку, она вынимаетъ ключъ. Ключъ сразу попадаетъ въ замочную скважину и она дома. Она зажигаетъ свѣтъ и осматривается. Неужели это она жила здѣсь два года, въ этой тѣсотѣ, въ этой обидѣ? Съ этими дешевыми пестрыми обоями, съ этой безобразной вѣшалкой? Она снимаетъ пиджачекъ, сбрасываетъ туфли на полъ и на носкахъ бѣжить въ спальню. Усталость? Усталости больше нѣтъ, она сбросила ее вмѣстѣ съ беретомъ, съ туфлями. Ей весело, ей хочется танцевать. Въ спальнѣ почти свѣтло. Должно быть, очень поздно. Нѣтъ, очень рано. Она подходитъ къ окну, смотритъ на блѣдное небо, на дома, на пустую улицу. Это Парижъ, въ которомъ для нея не нашлось другого мѣста, чѣмъ эта дыра, это Парижъ, который скоро будетъ поклоняться ей. Она стоитъ, прижавшись лбомъ къ холодному стеклу и вдругъ, оторвавшись отъ стекла, начинаетъ кружиться по комнатѣ. Вмѣстѣ съ ней кружатся цвѣты на обояхъ, стулья, кровать, окно и бѣлое небо въ окнѣ. Все быстрѣй и быстрѣй. Голова кружится, она падаетъ на кровать и усталость, брошенная на полу прихожей,

подползаетъ и мягкимъ пушистымъ комкомъ, какъ кошка, прыгаетъ ей на грудь.

Ахъ, я устала, устала, устала. Ахъ, я счастлива, счастлива, счастлива, громко вздыхаетъ Люка. Она лежитъ, закрывъ глаза. Ахъ, я устала, устала, устала, ахъ, я счастлива, счастлива, счастлива, еще звенить въ воздухъ, звенить надъ ней, будто слова материализовались, будто они состоятъ не изъ звуковъ, а изъ твердыхъ, свѣтящихся буквъ и, какъ свѣтящаяся вывѣска, висятъ надъ ея головой. Ахъ, я счастлива, счастлива. И вдругъ она вспоминаетъ: такое же открытое окно и разсвѣтное небо и дѣвочка въ широкомъ сестриномъ платьѣ, кружащаяся по комнатѣ въ шуршаніи бѣлаго шелка. Ахъ, я счастлива, счастлива, счастлива, я устала, устала, устала. Это она, это Люка. Это послѣдняя ночь въ жизни ея сестры Вѣры. Люка открываетъ глаза, свѣтящихся буквъ уже нѣтъ и воспоминаній тоже. Только усталость и желаніе спать. Она снимаетъ платье, стягиваетъ чулки. Спать, спать.

Слѣдующій день, четвергъ, проходитъ въ ожиданіи того, чтобы онъ, этотъ четвергъ прошелъ. Такой длинный четвергъ, какъ антрактъ въ театрѣ, какъ пересадка на незнакомой станціи. Что дѣлать? Какъ убить время? Люка лежитъ на диванѣ. Какъ медленно идетъ время, какъ быстро стучитъ сердце. Быстро и громко, будто Люка запыхалась отъ бѣга, но вѣдь она не двигалась, она неподвижно лежитъ. Сердце стучитъ, какъ моторъ, стучитъ впустую, на холостомъ ходу, расходуетъ жизнь. Она прижимаетъ руку къ холодноватой груди, къ горячему лбу. Она прислушивается, ей кажется, что подъ ея гладкой кожей, съ журчаніемъ переливается кровь. Такъ, совсѣмъ такъ, она слушала журчаніе своей крови, стукъ своего сердца, когда ей было пятнадцать лѣтъ. Такъ, съ такой же надеждой и счастливой тревогой. Совсѣмъ такъ

она лежала на спинѣ, чувствуя свои счастливыя руки, свою счастливую грудь, свои счастливыя колѣни въ ту ночь, о которой она вспоминала вчера. Эта ночь была послѣдняя счастливая ночь передъ долгимъ, чернымъ, горькимъ горемъ. Потомъ, за всѣ долгіе годы, она ни разу не чувствовала этого легкаго трепета, этого веселаго волненія, этой влюбленности въ жизнь и въ себя. Даже въ день свадьбы была нѣжность, благодарность за защиту, за то, что ее избавили отъ страха жизни, за то, что можно уже не чувствовать себя лисицей, перебѣгающей пустое поле, гдѣ за каждымъ кустомъ — волкъ, подъ каждымъ деревомъ — охотникъ. Она вышла замужъ, она уже не лисица, она — жена, бояться нечего. Она за крѣпкой стѣной, отдѣляющей ее отъ страха жизни и отъ самой жизни. Стало уютно, веселѣе не стало. За то спокойно, тихо, какъ внѣ жизни, какъ послѣ жизни. Ни надеждъ, ни воспоминаній. Ни вчера, ни завтра — сегодняшній день. Милый, сытый, мелко-благополучный сегодняшній день. Съ нимъ, съ мужемъ, съ милымъ Павликомъ, такимъ нѣжнымъ, такимъ заботливымъ, такимъ непонимающимъ. А преждее — влюбленность и веселое ожиданіе, желанія, наполнявшія ея веселое, нетерпѣливое пятнадцатилѣтнее тѣло, ея пятнадцатилѣтнюю душу, были глубоко, тяжело подавлены, загнаны, изгнаны. Да, ей казалось, что ихъ больше нѣтъ, что они умерли. Столько лѣтъ прошло и они ни разу не высунули мордочекъ изъ норокъ — мы здѣсь, мы только прячемся, мы живы. Нѣтъ, она была увѣрена, что отъ нихъ ничего не осталось, даже пыли въ памяти, даже складочки въ душѣ. И вдругъ сегодня, послѣ столькихъ дней, послѣ столькихъ ночей, проснуться прежней ждущей, нетерпѣливой Люкой. И чувствовать, какъ, освобожденная, проснувшаяся послѣ черной спячки, прежнія полу-дѣтскія желанія начинаютъ весело копошиться, устраиваться наново въ ея душѣ, въ

ея сознаниі, въ ея тѣлѣ. Устраиваться, справлять новоселье.

Пятница. Люка всегда любила пятницу. Самый удачный день, хотя никакихъ особыхъ удачъ въ ея жизни не было. Любила, вѣрила въ кредитъ. Сегодня какъ разъ пятница. И эта сегодняшняя пятница должна оправдать вѣру во всѣ пятницы. Самый удачный день. Да, удача началась съ утра. Пробныя съемки удались прекрасно. Ривуаръ очень доволенъ. И голосъ понравился, это очень важно, — ей по роли придется пѣть. Ривуаръ въ студиі — новый Ривуаръ, не тотъ, который обѣдалъ съ ней. Совсѣмъ особенный, дѣятельный, точный, какой-то механически-абстрактный. Глядя на него, она почему-то вспоминаетъ движеніе блестящихъ никелированныхъ рычаговъ на заводѣ мужа. И власть. Онъ весь движеніе и власть. Власть надъ всѣми, надъ всѣмъ, что составляетъ его студию, его фильмъ. И надъ ней, Люкой. Вѣдь она, съ ея жизнью, тоже, съ этой пятницы, входитъ въ его студию въ его фильмъ.

Она возвращается въ его автомобилѣ. Онъ говоритъ на прощанье своимъ холоднымъ, какъ морская вода, голосомъ — Въ восемь я буду у вашего подъѣзда. Вы обѣдаете со мной.

Она дома. Она стоитъ передъ зеркаломъ, внимательно, съ удивленіемъ, разглядывая себя. Такъ вотъ какъ выглядитъ будущая „звѣзда“? Совсѣмъ не похожа, — не такъ она представляла себѣ „звѣзду“. Она смѣется, киваетъ себѣ въ зеркалѣ. Но ты не безпокойся, Ривуаръ лучше знаетъ. Это даже хорошо, что она „непохожа“ не изъ серіи, а „кошка, которая ходитъ сама по себѣ“. А если бы она сама пожелала бы стать статисткой, она сносила бы пару туфель, пока наконецъ приняли, а, можетъ быть, вовсе не приняли бы. Значитъ нечего гордиться. Но гордость, радость, счастье всетаки душатъ, мѣшаютъ дышать, рвутся на-

ружу. Какъ Павликъ обрадуется. Она впервые за сегодня вспомнила о мужѣ. Мысль немного задерживается на немъ, вырастаетъ, крѣпнеть, развѣтвляется. Развѣтвленіе — какъ хорошо, что Павликъ пріѣдетъ завтра и маленькій отростокъ на развѣтвленіи — какъ хорошо, что завтра, а не сегодня... Она идетъ въ ванную. Надо взять ванну, чтобы не быть усталой. Она открываетъ кранъ. Паръ, какъ туманъ, поднимается отъ горячей воды. Шампанское. Два Ривуара, двѣ мельницы, туманъ въ глазахъ, туманъ въ ушахъ и, сквозь туманъ, — Вы не хотите поѣхать ко мнѣ? Хорошо, тогда въ слѣдующій разъ. Она слушала, она молчала, она не спорила, она согласилась. Какъ она могла забыть? Она закрываетъ горячую воду, кладетъ руку подъ холодную струю. Холодную, какъ голосъ Ривуара — Значитъ слѣдующій разъ... И вдругъ понимаетъ всѣми чувствами — кожей, волосами, кровью, что она не забыла, все время помнила, только не позволяла себѣ сознаться, что она все время ждала. И то полу-дѣтское, старое, забытое, то, что вчера снова проснулось въ ней, не только влюбленность въ себя, въ жизнь, что это влюбленность въ Ривуара. Да, прежде всего въ Ривуара.

Она садится въ ванну. Теплая вода успокоительно смыкается вокругъ ея шеи. Не надо волноваться, не надо думать. Все восхитительно, все чудесно. Она счастлива.

Въ восемь часовъ по самымъ точнымъ, вывѣреннымъ часамъ, она спускается внизъ. Она открываетъ дверь. Страхъ — а вдругъ его нѣтъ, а вдругъ онъ забылъ, а вдругъ не пріѣдетъ — не успѣваетъ коснуться ея. Длинный, похожій сразу и на водолаза и на акулу, автомобиль, проскользнувъ плавнымъ полукругомъ, останавливается передъ ней. Минута въ минуту. Люка садится въ автомобиль, рядомъ съ Риву-

аромъ. — Счастливы? спрашиваетъ онъ и улыбается своей электрической улыбкой. Своей невѣроятной улыбкой, на которую неловко отвѣтитъ обыкновенной, человѣческой, блѣдной улыбкой, — такая она сіяющая, ослѣпительная, столько за ней скрыто богатства, власти, славы... Но она такъ счастлива, что всетаки улыбается ему. — Да, счастлива, счастлива, счастлива, трижды, какъ заклинаніе, повторяетъ она. Чтобы убѣдить въ этомъ судьбу, чтобы не дать судьбѣ забыть, что и дальше она, Люка, должна быть счастлива.

— Надо отпраздновать такое торжество, вѣдь вы на экранѣ еще прелестнѣе, трогательнѣе, чѣмъ я думалъ и у васъ отличный голосъ. Но куда мы поѣдемъ?

Она не знаетъ, ей все равно. Разъ торжество, такъ всюду хорошо.

— Хотите поѣдемъ, въ неизвѣстномъ направленіи, куда попало? Она хочетъ, она все хочетъ. И они ѣдутъ.

Холодно. Послѣ теплой недѣли, опять вернулся холодъ. Люка старается плотнѣе запахнуть свой пиджачекъ. Ривуаръ насмѣшливо прищуриваетъ глазъ — Мерзнете? Она качаетъ головой — Совсѣмъ нѣтъ. Немножко свѣжо и это пріятно. Онъ настаиваетъ: — Сознаться, что мерзнете. Но она ни за что не сознается, она боится испортить эту поѣздку въ неизвѣстность. И въ холодѣ нѣтъ ничего непріятнаго, — изъ-за него еще острѣе чувствуешь себя, и жизнь, и счастье. Все какъ-то проясняется, напрягается, концентрируется. — Мнѣ очень хорошо, говоритъ она, и это правда. — Такъ вы еще и упрямы.

Онъ останавливаетъ автомобиль, онъ беретъ свое верблюжье пальто, укутываетъ ее. — Я взялъ пальто для васъ, чтобы вы не простудились. Мнѣ теперь ваше здоровье дороже своего. Она удивленно смотритъ на него и онъ насмѣшливо объясняетъ. — Вы крутите съ понедѣльника. Неожиданная заботливость,

пушистое пальто, такое уютное и ласковое и тепло, от котораго размягчается, таетъ воля, превращаясь въ мягкую благодарность, въ покорность. — Спасибо, тихо говоритъ она, такъ тихо, что ему, за шумомъ мотора, врядь ли слышно. Ей хочется положить руку на его рукавъ, ей хочется прижаться щекой къ этой синей, жесткой матеріи. Но она не смѣетъ. Отъ пальто идетъ легкій, горьковатый запахъ табаку. Она не курить, ей противно все, что связано съ куреньемъ — пепель, окурки, запахъ табака. Противно до тошноты. Но сейчасъ она съ блаженствомъ вдыхаетъ табакъ.

Автомобиль скользитъ по черной блестящей дорогѣ, стволы деревьевъ, по сторонамъ, выкрашены бѣлой краской. Трава удивительно зеленая, такой зеленой она всегда представляла себѣ Ирландію.

Ривуаръ рассказываетъ содержаніе фильма, ея роль. Очень много горя и слезъ. Она умираетъ, она на небѣ и опять спускается на землю. — Вы не будете бояться умереть? Она смѣется. — Если вы дадите мнѣ еще немножко пожить, покрутить до этого. — Да, со смертью можно не торопиться. Раньше скрутите свою жизнь и въ раю побѣгайте по облакамъ. Потому что вамъ придется быть ангеломъ. Это очень дикій, совсѣмъ небывалый фильмъ. Онъ можетъ только или съ трескомъ провалиться или стать эпохой. Средняго для него нѣтъ. Если онъ провалится, то я съ нимъ. Я ставлю его на свои деньги пополамъ съ компаньономъ Гереномъ.

Онъ говоритъ быстро, съ увлеченьемъ. Какъ просто, какъ откровенно рассказываетъ онъ ей свои дѣла. Будто другу. — Теперь, съ тѣхъ поръ, какъ я нашель васъ, я не сомнѣваюсь въ успѣхѣ. Мнѣ нужны были именно вы. Въ васъ есть что-то трогательное, какое то „безъ слезъ смотрѣть невозможно“, хрупкость, „вѣтеръ подуеъ — сломается“. Только васъ мнѣ не хватало. А теперь, когда я васъ нашель, я совсѣмъ

спокоенъ — я нашелъ васъ... Онъ смотритъ прямо передъ собой, онъ прибавляетъ скорости. Стрѣлка показываетъ 100, 110. Вѣтеръ шумитъ въ ухахъ. — Вы не боитесь? спрашиваетъ Ривуаръ. Это относится къ быстротѣ, но это можетъ также относиться къ ея роли въ фильмѣ, къ ея роли въ жизни. — Нѣтъ, почти кричитъ она, стараясь перекричать вѣтеръ. Она не боится, она ничего не боится — съ нимъ. Они молчатъ, вѣтеръ, быстрота, шумъ въ ухахъ замѣняютъ разговоръ. Имъ надо уже сказать другъ другу слишкомъ много, имъ еще нечего сказать другъ другу.

Онъ уменьшаетъ быстроту. — Пора, говоритъ онъ. Она еще не знаетъ, что „пора“, но согласна съ нимъ. — Да, пора.—Вы тоже голодны? спрашиваетъ онъ. Она совсѣмъ не ожидала, что это „пора“ можетъ относиться къ обѣду.

— Очень голодна, конечно, отвѣчаетъ она. Они добрались до цѣли, — приѣхали. Они вѣзжаютъ въ какой-то маленькій городъ, останавливаются передъ широкимъ подъѣздомъ. — Тутъ насъ отлично кормятъ, говоритъ онъ весело. — Мы вѣдь ѣхали въ неизвѣстность, откуда вы знаете, какъ здѣсь кормятъ? Онъ открываетъ дверку, помогаетъ ей выйти. — Самая лучшая неизвѣстность та, которая заранѣе срежиссирована. Довѣряться случаю легкомысленно... и онъ почему-то низко и почтительно кланяется Люкѣ.

Да, эта неизвѣстность безусловно срежиссирована. Ихъ ждутъ. На столѣ — букетъ розъ, лакеи суетятся. Они сидятъ въ глубинѣ большой комнаты и передъ ними — широкій, кирпичный, пылающій каминъ. Ривуаръ протягиваетъ къ нему руку. — Вотъ, что значитъ режиссура. Вотъ, что значитъ счастье, эхомъ отдается въ ея головѣ. Да, все это, и столъ съ букетомъ розъ, и каминъ, и коктейль, который она пьетъ — все это счастье. Это счастье, но оно такое нетерпѣливое, острое, колкое, какъ шило, какъ ежъ. Она

все натывается на него и ей больно, оно колеть ее и кровь течеть. Ей хочется кричать отъ боли, отъ счастья. И все такъ вкусно. У ѣды совѣмъ особенный, веселый вкусъ, — впервые, за три дня, она чувствуетъ вкусъ и ей хочется ѣсть. За всѣ три дня сразу. Омаръ по американски, вотъ какъ называется это вкусное, что она ѣсть. Правильнѣе — по американски, какъ говорить Бріанъ, не Бріа Саварень, а Бріанъ, тотъ знаменитый министръ иностранныхъ дѣлъ, который, если бы жилъ... — Нѣтъ, это слишкомъ сложно для нея. Она хочетъ еще вина, Такъ. И еще кусочекъ этого омара. Но больше счастья она не хочетъ. Счастья и такъ слишкомъ много.

За окнами темнѣеть. Въ окнѣ деревья становятся прозрачнѣе и легче, таютъ, засыпаютъ въ сумракѣ. Лакеи приносятъ, какъ на сценѣ, канделябры съ зажженными свѣчами, ставятъ канделябры на столъ, закрываютъ на высокихъ окнахъ красныя шелковыя шторы. До свиданья, деревья.

— Неужели, это все для насъ? Только для насъ весь ресторанъ? Ривуаръ киваетъ. — Ну конечно, все это для насъ. Этотъ залъ, и всѣ лакеи, и каминъ, и домъ, выстроенный въ восемнадцатомъ вѣкѣ. Только для насъ спеціально, чтобы мы сегодня въ немъ пообѣдали. Вотъ что значитъ хорошая режиссура. — Такъ вы волшебникъ? — Ну, конечно. Иначе развѣ вы были бы здѣсь, со мной? Она киваетъ, она сама это отлично знаетъ и незачѣмъ объ этомъ говорить. Но какъ красивы свѣчи, и розы, и каминъ, какъ вкусно, какъ весело. — Я сдѣлаю васъ знаменитой, говоритъ онъ серьезно. Когда вы станете знаменитостью, вы не смѣете забыть, что этимъ вы обязаны мнѣ. Обѣщаете? Она растерянно моргаетъ. Что она должна обѣщать? Она не понимаетъ, но она, конечно, обѣщаетъ ему все, все, что онъ хочетъ. — Да, да, она протягиваетъ ему руку — Никогда, навсегда. Это ничего

не значить, и всетаки это сейчас самые нужные слова. Онъ такъ и воспринимаетъ ихъ. Онъ улыбается своей электрической, невозможной, небывалой улыбкой. Сіяніе его улыбки и тишина. Сіяніе. — Знаете, я въ дѣтствѣ читала такую англійскую сказку про улыбающагося кота. Онъ улыбался и весь сіялъ. Его видно не было за сіяніемъ. Онъ удиралъ и его уже не было, а сіяніе все еще оставалось. Вотъ какъ вы улыбаетесь. Она очень довольна, что наконецъ нашла сравненіе, опредѣленіе для его улыбки. Да, да... она задумывается. Нѣтъ, котъ вамъ не подходитъ. Вы скорѣе волкъ, улыбающійся волкъ — вотъ вы кто.

— Улыбающійся волкъ? Онъ снова смѣется и она смѣется съ нимъ.

— А это что? спрашиваетъ она неувѣренно, тыкая вилкой въ тарелку. Какъ называется? — Но вѣдь это спаржа, развѣ вы не узнаете?

— Ахъ, да, конечно, конечно, это спаржа, я вижу. Но я не думала, что могу найти здѣсь что-нибудь знакомое... А кофе тоже будетъ? И съ ликерами? Или онъ опять не захочетъ? Нѣтъ, онъ, кажется, сегодня все хочетъ, такъ же, какъ она. Какъ жарко отъ камина, какъ странно отъ свѣчъ, какъ непонятно отъ вина, какъ чудно отъ жизни.

Лакей пускаетъ радіо и Люка понимаетъ, что музыка была совершенно необходима, что ея только и не хватало. Теперь все хорошо, теперь желаній нѣтъ никакихъ, даже неосознанныхъ, подсознательныхъ. Дверь въ глубинѣ зала отворяется, входитъ поваръ, весь въ бѣломъ, съ высокимъ бѣлымъ колпакомъ на головѣ. Въ рукѣ онъ держитъ блестящую черную палочку. Онъ подходитъ къ нимъ удивительно легкими, танцующими шагами, толстый, розовый, улыбающійся, онъ кланяется имъ, какъ придворные въ балетѣ кланяются королямъ. — Довольны ли вы обѣдомъ? — Очень, чрезвычайно довольны. — Тогда позвольте мнѣ, онъ

поднимаетъ черную палочку, — это волшебная палочка, — онъ сейчасъ превратитъ ихъ въ верблюдовъ или мышей. Но это не волшебная палочка — это флейта и поваръ подноситъ ее къ губамъ. Онъ играетъ на флейтѣ. Онъ играетъ нѣжно и наивно, онъ кружится по блестящему паркету. Пламя камина освѣщаетъ его накрахмаленный колпакъ, его надутыя розовыя щеки, его веселые глаза. Бѣлыя завязки передника развѣваются на его спинѣ, изъ-подъ широкихъ бѣлыхъ штановъ выглядываютъ маленькія, удивительно легкія ноги въ черныхъ туфляхъ. Люка долго смотритъ на него: неужели все это на самомъ дѣлѣ, или только такъ, только кажется?

Этотъ танцующій поваръ съ флейтой, и каминъ, и цвѣты на столѣ. Такъ прелестно и такъ волшебно. Она поднимаетъ голову. — Вы знаете говорить она, мнѣ почему то кажется, что сейчасъ зима и мы въ горахъ. Онъ киваетъ, онъ совсѣмъ не удивленъ.—Ну, конечно, зима, развѣ вы забыли? Вы не видите — сосны въ снѣгу. Нѣтъ, не подымайте занавѣску — очень дуетъ. Тутъ въ горахъ такъ холодно, вѣдь мы въ Шамони, завтра мы будемъ бѣгать на лыжахъ.

Она смѣется, ей хочется положить голову на столъ, рядомъ съ бутылкой ликера подъ пѣніе флейты. Но Ривуаръ встаетъ. — Давайте потанцуемъ. И они танцуютъ. Вѣрнѣе нѣтъ, не Люка танцуетъ, танцуютъ ея ноги, вдругъ ставшія самостоятельными, танцуетъ Ривуаръ, танцуетъ поваръ. Ривуаръ крѣпко держитъ ее за талию. Она смѣется. Это слишкомъ волшебно, слишкомъ прелестно, этого не можетъ быть, это только кажется.

— Я устала, говорить она. Это не относится къ танцу, это относится къ счастью, она хотѣла бы минуту не чувствовать его, чтобы оно не жгло, не кололо, не разрывало ее, чтобы можно было совсѣмъ обыкновенно подышать и позѣвать. Ривуаръ не понимаетъ, онъ

останавливается, хотя ея ноги еще продолжают танцевать, еще хотятъ танцевать.—Вы устали, говоритъ Ривуаръ, вамъ надо отдохнуть. Пойдемте. Онъ беретъ ее подъ-руку, онъ ведетъ ее къ выходу. Она идетъ за нимъ, ей жаль уходить отсюда. Ей не хочется выходить на холодъ, ѣхать. Но они не выходятъ изъ дома, они идутъ наверхъ по широкой, обитой краснымъ ковромъ, лѣстницѣ. Наверхъ, куда? Можетъ быть, это только кажется, что они поднимаются, можетъ быть, они спускаются? Все можетъ быть. Она пьяна, она не понимаетъ. Лакей распахиваетъ передъ ними дверь. Они входятъ.

Въ большомъ зеркалѣ отражается широкая кровать, люстра подъ потолкомъ. Лакей закрываетъ дверь, — Они одни. Она смотритъ въ зеркало, она видитъ свое отраженіе, отраженіе Ривуара, и кровати, и люстры. Она видитъ какъ отраженіе Ривуара наклоняется къ ней, поднимаетъ ее, кладетъ въ отраженіе постели. Видитъ, но ничего не чувствуетъ. Она лежитъ на кровати. Она больше не видитъ своего отраженія въ зеркалѣ, только люстра еще отражается. Но ея, Люки, уже не видно, — ея больше нѣтъ въ зеркалѣ. Она закрываетъ глаза, чтобы спрятаться въ темноту. Но темнота приходитъ въ движеніе, кружится, кружится какъ черный, гулкій шаръ. Это футбольный мячъ. Это земной шаръ. Это сонъ. Нѣтъ, это не сонъ. Она слышитъ голосъ Ривуара, она слышитъ свой голосъ. Онъ спрашиваетъ и она отвѣчаетъ. Но что она говоритъ? Словъ нельзя разобрать, она прислушивается — понять ничего нельзя.

Она съ трудомъ открываетъ глаза. Люстра по-прежнему отражается въ зеркалѣ. Она не узнаетъ комнаты, она не понимаетъ гдѣ она. Она совсѣмъ трезва. Только въ головѣ, подъ лѣвымъ вискомъ застрялъ обрывокъ тумана и мѣшаетъ думать, и болить. Она смотритъ

рить на стѣны, на свое, брошенное на коверъ, платье. Она одна. Ей страшно. Она поднимаетъ голову. Рядомъ съ ней, въ этой же постели, лежитъ Ривуаръ. Онъ лежитъ совсѣмъ тихо, глаза его закрыты. Она наклоняется, она не слышитъ его дыханія. Неужели онъ спитъ? Но развѣ такъ спятъ? Она привыкла спать съ мужемъ, привыкла къ его дыханію, къ его присутствію. Она всегда, просыпаясь, чувствовала его присутствіе. Но Ривуаръ? Она видитъ его и всетаки его нѣтъ. Чтобы убѣдиться въ его реальности, въ его присутствіи, надо тронуть его. Всѣ предметы — кровать, зеркало, люстра, реальнѣе его — они здѣсь, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Подушка и та, всѣми своими смятыми углами, заявляетъ о своемъ существованіи. Люкѣ страшно, ей было страшно только-что здѣсь одной, ей еще страшнѣе вдвоемъ съ этимъ отсутствующимъ не дышащимъ Ривуаромъ. Она встаетъ, она одѣвается. Еслибы это было въ Парижѣ, она ушла бы одна, не разбудивъ его. Но какъ добраться домой? Она наклоняется надъ нимъ, осторожно трогаетъ его за плечо. Онъ просыпается сразу, не просыпается, а обѣими ногами прыгаетъ изъ сна въ дѣйствительность. Его открытые глаза неестественно блестятъ, онъ улыбается, скаля свои бѣлые зубы. Эти сверкающіе зубы, эти блестящіе глаза на блѣдномъ, еще отсутствующемъ, еще ничего не выражающемъ лицѣ. Пугаютъ ее, она отворачивается. — Простите, я заснулъ, такъ усталъ за день. Онъ встаетъ, надѣваетъ пиджакъ, поправляетъ галстукъ.

Въ окно стучитъ дождь. — Только дождя не хватало, раздраженно говоритъ онъ, какъ будто все и безъ того плохо.

— Ёдемте. Уже очень поздно. Они спускаются по лѣстницѣ, швейцаръ провожаетъ ихъ съ большимъ краснымъ зонтикомъ до автомобиля.

Ривуаръ снова закутываетъ ее въ свое пальто. —

Разговаривать не разрѣшается, — такая сырость, еще охрипните.

Она сидитъ рядомъ съ нимъ, и смотритъ на освѣщенную автомобильными фонарями, мокрую, скользкую дорогу. Ей холодно, ей грустно. Ея тонкія туфли успѣли промокнуть, пока она бѣжала къ автомобилю ногамъ холодно, и сердцу тоже холодно. И какъ грустно. Счастье? Нѣтъ, она совсѣмъ не чувствуетъ его больше. Можно вздыхать, зѣвать, можно дрожать отъ холода, отъ грусти. Счастье не помѣшаетъ. Она ничего не помнитъ. Этотъ, сидящій съ ней рядомъ, молчащій, чужой человекъ знаетъ о ней больше, чѣмъ она сама о себѣ. Вѣдь онъ то помнитъ, онъ то не былъ пьянъ. Но неужели такъ, какъ онъ сейчасъ, себя ведутъ „послѣ“? Ей не съ кѣмъ сравнить, только съ Павликомъ. Совсѣмъ другое „послѣ“. Но вѣдь это была ихъ свадебная ночь. Она была женой Павлика, Павликъ былъ влюбленъ въ нее. Смѣшно Ривуару быть благодарнымъ. И всетаки такой холодъ, такая злая отчужденность. Никакого контакта, вѣрнѣе — порванный контактъ. Автомобиль съ влажнымъ шелестомъ проносится мимо мокрыхъ деревьевъ, мимо мокрыхъ полей, мимо мокрыхъ домовъ. Дорога пуста. Скорѣй, скорѣй, покончить съ этимъ путешествіемъ. Ривуаръ молчитъ, онъ внимательно правитъ. О чемъ онъ думаетъ? Она не рѣшается спросить. Можетъ быть ему грустно, такъ же грустно, какъ ей? Она видитъ его профиль, его внимательный взглядъ, устремленный впередъ, его блѣдную щеку. О чемъ онъ думаетъ? И вдругъ она слышитъ — нѣтъ, это только кажется ей, этого не можетъ быть, — онъ свиститъ. Онъ свиститъ громко и старательно, съ явнымъ удовольствіемъ. Онъ насвистываетъ, высвистываетъ какой-то маршъ со звонкими, трескучими трелями, съ залихватскими переходами. Свиститъ такъ, что уличные мальчишки позавидывали бы, свиститъ, какъ можно свистѣть только одно-

му, когда никто не слышитъ. Самодовольно, весело, побѣдоносно. Для себя. Онъ одинъ, ея нѣтъ для него. Она сжимаетъ руки, ей хочется остановить, прекратить этотъ рѣжущій свистъ. Но она молчитъ. Она ждетъ. Все неожиданно, непохоже на то, какъ она представляла себѣ. А дальше? Но дальше ничего особеннаго не случается. Онъ поворачивается къ ней, значитъ онъ не забылъ, что она здѣсь — Хорошо свищу? А? И она соглашается — Очень хорошо. — Это маршъ изъ нашего фильма. Мы сейчасъ прїѣдемъ. Да, они уже вѣхали въ Парижъ. Булонскій лѣсъ. Они ѣдутъ по тихимъ, пустымъ улицамъ Пасси. Онъ подвозитъ ее къ ея дому, помогаетъ ей снять пальто, спокойно, будто привычно цѣлуетъ ее въ щеку. — Приходите завтра въ два, подписать контрактъ. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Онъ еще разъ цѣлуетъ ее. Она входитъ въ домъ. Вотъ и случилось. Она поднимается по лѣстницѣ, она у себя, она — дома. Она садится на постель, ноги стынуть въ промокшихъ туфляхъ, влажная кофточка тяжело давитъ плечи. Она сидитъ, не раздѣваясь, не двигаясь. Ей хочется плакать. Такъ плакать, какъ плакали ея бабушки и прабабушки, уткнувшись головой въ подушку. Но бабушки и прабабушки плакали отъ „паденія“, грѣха и стыда. А она? Ей совсѣмъ не стыдно, не жаль мужа, не страшно — вѣдь онъ не убьетъ ее, и въ грѣхъ она тоже не вѣрить. И всетаки, она утыкается въ подушку головой. Она плачетъ отъ жалости къ себѣ, отъ разочарованія, отъ одиночества. Такъ же горько и долго, какъ, вернувшись съ перваго преступнаго свиданія, плакали ея бабушки и прабабушки.

Въ спальнѣ совсѣмъ свѣтло, она смотритъ на часы, — уже шесть часовъ. Въ восемь вернется Павликъ. Она встаетъ, она раздѣвается, мнетъ простыни и одѣяло, чтобы казалось, что она спала. Но лечь она не мо-

жетъ. Она дрожить, у нея, должно быть, жаръ, она простудилась. О томъ, что случилось, она не думаетъ. Она ходитъ по спальнѣ взадъ и впередъ — отъ камина къ стѣнѣ ровно пять шаговъ и снова поворотъ и пять шаговъ. Волненіе не проходитъ, волненіе увеличивается, ему нѣтъ выхода — все тѣ же пять шаговъ, каминъ, стѣна. Выходъ — прыжокъ въ окно, въ разсвѣтное небо, на еще чистый, только-что вымытый дождемъ троттуаръ. — Ты съума сошла, Люка, кричить она. Ты сошла съума. Скорѣй бы вернулся Павликъ. Она прислушивается къ своему голосу и слышитъ шелканье ключа въ проходной. Павликъ! Она бѣжитъ къ нему, она обнимаетъ его за плечи, виснетъ на немъ. Онъ цѣлуетъ ее, чемоданъ падаетъ на полъ, вмѣсто чемодана, онъ вноситъ въ спальню Люку, — Что? Что съ тобой? безтолково спрашиваетъ онъ. Она цѣлуетъ его теплую шею надъ воротникомъ. — Я ждала тебя, Павликъ, я не могла спать.

Отъ его сильныхъ рукъ, оттого, что ноги ея уже не касаются земли, оттого, что она надъ землей, въ воздухѣ, она чувствуетъ легкость освобожденія, успокоеніе. И нѣжность, главное нѣжность, къ этому теплому, сильному, доброму Павлику.

Вода успокоительно кипитъ въ чайникѣ, сквозь тюлевая занавѣски свѣтитъ солнце. Клеенка на столѣ скромно и пріятно поблескиваетъ, чашки желтыя съ кружевными трещинками — оттого, что дешево стоили, оттого, что много служили, заслуженныя чашки. Масло бѣлымъ кирпичикомъ на блюдецѣ и рядомъ, просто такъ, на клеенкѣ, безъ подстилки, безъ церемоній — полметра хлѣба.

— Тебя ждетъ сюрпризъ, Павликъ, большой сюрпризъ. Люка щурится. Ты никогда не догадаешься. Его коричневые глаза становятся почти желтыми. — Неужели ты мнѣ связала пуловеръ? Она смѣется. — Какой глупый. Нѣтъ не связала и врядъ ли свяжу. Но

ты будешь очень, страшно радъ. Гораздо лучше пуловра. Только не спрашивай. И онъ не спрашиваетъ. Люка кладетъ ладонь на его теплую, большую руку и рука его держащая ножъ, готовая ножомъ отхватить кусокъ масла, намазать его на хлѣбъ, поднести намазанный масломъ, хлѣбъ ко рту (звѣрски голоденъ, спѣшилъ къ тебѣ, даже кофе не пилъ), рука его вздрогнувъ, выпускаетъ ножъ и послушно, какъ собака, вытягивается, прижимается къ ея ладони. Вотъ она дома, со „своимъ мужемъ“. „Мой домъ“; „мой мужъ“ не такія уже дырявыя, пустыя слова. Они лежатъ, освѣщенные солнцемъ, на розовой клеенкѣ, рядомъ съ хлѣбомъ, сами, какъ „насущенный хлѣбъ“ уютной, спокойной, легкой жизни. Да, Люка успокоилась. Это ея домъ, это ея мужъ. Живая, теплая связь съ нимъ, близость, родство. Успокоеніе измѣнчиво и расплывчато, какъ облако, края его поднимаются, сворачиваются, оно становится удивительно похожимъ на удовольствіе. Уже не только покой, а удовольствіе. Но вотъ оно снова мѣняетъ форму, цвѣтъ и вкусъ и расплывается цѣлымъ озеромъ солоноватой, успокоительной, пріятной усталости. Если бы немного поспать? Но въ спальнѣ надо супружески-привычно-безстыдно раздѣваться, супружески-привычно-нѣжно обниматься въ кровати. Нѣтъ, лучше не спать. Она удобнѣе устраивается на диванѣ, подтягиваетъ колѣни, кладетъ голову на диванную подушку.

— Расскажи, Павликъ, всѣ твои три дня. Подробно. Онъ рассказываетъ, можно не слушать, не надо отвѣчать. Онъ и такъ радъ, что она интересуется его днями. Онъ рассказываетъ и рассказъ его сейчасъ же со-скальзываетъ въ сонъ.

Три удара и Люка просыпается. Три удара, какъ удары аукціоннаго молотка, закрѣпляющіе покупку за покупателемъ, закрѣпляющіе за Люкой ея новую судь-

бу. Нѣтъ — это три удара часовъ. — Неужели, дѣйствительно, уже три. — Ты такъ крѣпко спала, мнѣ было жаль будить тебя. Жаль, а изъ-за этой жалости она опоздала. И теперь ее дѣйствительно можно пожалѣть, такъ она испугана, растеряна, потеряна. Ривуаръ ждетъ, контрактъ ждетъ. Сквозь спѣшку, суету и страхъ, сквозь поиски чулокъ и перчатокъ, надо еще отвѣчать. — Не приставай, Павликъ. Нѣтъ, провожать нельзя. Я скоро вернусь и все расскажу. Захлопнутая входная дверь, полетъ съ лѣстницы внизъ и вотъ уже такси стучитъ такъ же быстро и громко, какъ ея сердце. Отъ страха ни о чемъ нельзя думать, страхъ замѣняетъ мысли, слова, чувства. Страхъ, что Ривуаръ не ждетъ, страхъ, что она проспала, прозвѣвала свою судьбу.

Она вбѣгаетъ въ подъѣздъ. Лифта и того нѣтъ, надо ждать, пока онъ спустится. Лифтъ, жужжа, опускается, жужжа, подымается. Стеклянная дверь. Контора. Конторщикъ встаетъ. — Monsieur Ривуаръ еще здѣсь. Сердце, какъ лифтъ жужжа, летитъ куда-то внизъ, жужжа, взлетаетъ обратно. Ждетъ. Она входитъ въ кабинетъ Ривуара. Ривуаръ стоитъ посреди комнаты, на бѣломъ коврѣ, какъ среди снѣжнаго поля.

— Вашъ контрактъ давно готовъ. Она краснѣетъ. — Гдѣ подписать? Онъ смѣется — Прочтите раньше. Но зачѣмъ ей читать? Даже если „въ рабство“ или „душу дьяволу“, она все равно подпишетъ, она и выводитъ свое имя большими буквами. — Теперь все въ порядкѣ, говоритъ онъ и дѣловито повторяетъ ей то, что она уже знаетъ — сколько денегъ она будетъ получать и какія платья, въ какихъ домахъ. Она выслушиваетъ все и онъ, окончивъ, прибавляетъ — Поздравляю васъ. Онъ звонитъ — Отнесите контрактъ кассиру. Конторщикъ уходитъ. Дверь снова закрыта, они одни. Она сжимаетъ руки на колѣняхъ, чтобы онъ не замѣтилъ, какъ дро-

жать ея руки, какъ дрожать ея колѣни, запоздавшимъ, устарѣвшимъ, ничѣмъ уже не оправданнымъ страхомъ — вѣдь контрактъ подписанъ. — Вы начнете крутить на будущей недѣлѣ. Какъ тягостно, какъ неловко она себя чувствуетъ. Она встаетъ, она протягиваетъ ему руку. Спасибо. До свиданья. Надо уйти. Но она стоитъ и смотритъ на него. Отчего онъ молчитъ? Отчего онъ не беретъ ея руки? И вдругъ онъ притягиваетъ ее къ себѣ. Отъ толчка, отъ неожиданности, она почти падаетъ на него, онъ цѣлуетъ ее въ губы. Она задыхается, она хочетъ вырваться, но онъ крѣпко, до боли, обнимаетъ ее. — „Могутъ войти“, — это послѣдняя защита, но и она не помогаетъ. — Ты мнѣ нравишься, говоритъ онъ. Страха больше нѣтъ. Страхъ сразу исчезаетъ. Она въ первый разъ сознательно цѣлуетъ его. — Я люблю тебя, Тъери, какъ вѣтеръ, вырывается ея голосъ. Этого она не хотѣла сказать, этого она даже не думаетъ, но разъ сказавъ, разъ назвавъ по имени, опредѣливъ это волненіе, этотъ страхъ однимъ словомъ „люблю“, она уже не можетъ остановиться. — Люблю тебя, повторяетъ она, задыхаясь, люблю, люблю. Любви накопилось такъ много, слишкомъ много, что она не можетъ не заявлять, не кричать о себѣ.

— Ты мнѣ нравишься, говоритъ онъ. Не „люблю тебя“, а только „нравишься“; но и этого достаточно; этого даже слишкомъ много для вновь вернушагося, вновь переполняющаго ее, счастья. Въ дверь стучать. Ривуаръ легко отталкиваетъ ее, она садится въ кресло — стоять она все равно не можетъ, ноги совсѣмъ не держатъ, не слушаются. Конторщикъ отдаетъ ей контрактъ, кассиръ кладетъ передъ ней пачку денегъ. — За двѣ недѣли впередъ, распишитесь тутъ пожалуйста. Красная губная помада размазана по ея щекѣ и шапочка съѣхала на бокъ но конторщикъ и кассиръ почтительно ничего не замѣчаютъ.

Она ѣдетъ домой, вбѣгаетъ навѣрхъ, она звонить не отрываясь — отпереть дверь своимъ ключемъ слишкомъ долго, слишкомъ трудно. Мужъ открываетъ — Что случилось? — Случилось, она вбѣгаетъ въ столовую, кладетъ контрактъ и деньги вѣеромъ на столъ. — Вотъ что случилось. Пока онъ читаетъ, спрашиваетъ, соображаетъ, она, не останавливаясь кружится по комнатѣ. Онъ наконецъ понялъ. У него скорѣе растерянное чѣмъ радостное, лицо. Она бросается ему на шею. — Какъ мы съ тобой заживемъ, Павликъ. — Заживемъ, повторяетъ онъ будто сомнѣваясь. Хорошо заживемъ? Она не слышитъ сомнѣнья въ его голосѣ, она слышитъ только свою радость. — Чудно волшебнo, восхитительно... — Я всегда ждалъ для тебя Люка, совсѣмъ особенной судьбы, не такой, какъ у обыкновенныхъ людей. Но это всетаки слишкомъ неожиданно. Она смотритъ на него, на комнату счастливыми, шалыми глазами. Какой беспорядокъ. Все вокругъ — стулья, столы даже цвѣты на обояхъ сошли со своихъ мѣстъ, вышли изъ своихъ береговъ, потеряли смыслъ цѣль, обнаружили, что они совсѣмъ не то, что Люка съ Павликомъ думали — стулья не для того, чтобы на нихъ сидѣть и столы, не чтобы обѣдать и цвѣты обоевъ не жалкое стремленіе къ украшенію. Нѣтъ это только декорация, не имѣющая практической цѣли, декорация счастья, торжества, побѣды. Флаги, развѣвающиеся въ воздухѣ, гремѣщій оркестръ, кусты цвѣтовъ, толпа зрителей, а не стулья, не столы, не обои... — Одѣвайся Павликъ, одѣвайся. Ѣдемъ. Она засовываетъ деньги въ сумочку, они подъ-руку идутъ внизъ по лѣстницѣ. — Скорѣй, скорѣй, столько надо купить мнѣ и тебѣ. Они садятся въ такси. Она ѣдетъ покупать. Витрины магазиновъ, у которыхъ она, еще надняхъ, долго выстаивала, примѣряя умственно шляпу, платье, перчатки, подбирая ихъ другъ къ другу, сомнѣваясь, не рѣшаясь на чемъ остановиться, будто она

дѣйствительно собиралась купить и платье, и шляпу, и перчатки, уговаривая себя — „это непрактично“, „лиловый цвѣтъ скоро выйдетъ изъ моды“, „розовые перчатки очень маркія“, убѣждая себя этими уговорами, что она сейчасъ войдетъ въ магазинъ и дѣйствительно станетъ настоящей покупательницей. Убѣждая, убѣдивъ себя, но не вещи въ витринѣ. Нѣтъ, вещи всѣмъ своимъ высококомѣрно-дорогимъ видомъ, давали ей понять, что она ихъ не проведетъ, они оскорбленно топорились, стараясь повернуться къ ней изнанкой, будто говоря — Проходи, проходи, все равно не купишь. Но теперь она не останавливается передъ окнами. Изъ такси прямо въ магазинъ. Неужели это тѣ же самыя, гордыя, недоступныя вещи, къ которымъ она присматривалась? Онѣ такъ нѣжно-навязчивы, такъ продажно-доступны, какъ женщины Монмартра, онѣ какъ будто просятъ: купи меня, возьми меня. Онѣ будто обѣщаютъ: тебѣ будетъ пріятно носить меня, я украшу тебя. Назойливо, льстиво, подобострастно.

И она покупаетъ. Она надѣваетъ на себя новое платье, новое пальто, новыя туфли, новую шляпу. Все новое — съ головы до ногъ. Новое, очень модное, очень дорогое. И всѣ эти вещи, за минуту бывшія ничьими, безличными, нейтральными, сразу становятся совсѣмъ особенными — ея вещами, проникаются ея счастьемъ, оттого, что онѣ надѣты на ней.

Она торопится. — Скорѣй, скорѣй. Теперь ему, — Павлику. Изъ магазина въ магазинъ. Все надо успѣть купить. Она выбираетъ мужу пуловеръ. — Теперь уже не успѣю связать. Надо было раньше, теперь некогда. Онѣ соглашается. Да, надо было раньше. Все надо было раньше, теперь уже не успѣешь. Поздно.

Она киваетъ, не понимая — Да поздно. Магазины закрываютъ и я устала, говоритъ она жалобно. Мы поѣдемъ обѣдать въ тотъ ресторанъ. Въ тотъ, о которомъ онѣ часто говорилъ: Вотъ я заработаю много де-

негъ и повезу тебя обѣдать. Они сейчасъ поѣдутъ туда, въ тотъ самый ресторанъ. Правда, не онъ, а она везетъ его. Но развѣ она была бы такъ невѣроятно счастлива, если бы онъ на свои деньги повезъ ее туда? Такъ невѣроятно, небывало, сверхъестественно счастлива, что у нея, глядя на него, сжимается сердце отъ жалости.

Она гордо входитъ въ ресторанъ своими счастливыми ногами въ своихъ новыхъ туфелькахъ, которыя уже успѣли перенять выраженіе счастья. Онъ идетъ за ней, онъ смотритъ на ея плечи, на завитки ея свѣтлыхъ волосъ подъ шляпой. И по плечамъ, по затылку, по волосамъ ясно чувствуетъ, что она сейчасъ улыбается счастливой, торжествующей, изнемогающей улыбкой. Она сидитъ за столикомъ напротивъ него. Только вчера, въ это же время, она сидѣла такъ напротивъ Тьери. И все было почти такъ же. То же счастье и даже почти та же музыка. Она прислушивается къ музыкѣ, прислушивается къ себѣ. Она пьетъ вино. Она улыбается. Это ея мужъ сидитъ здѣсь. Нѣтъ, это Тьери. Она улыбается мужу, она улыбается Тьери. Я счастлива, говоритъ она изнемогая, желая отдать часть этого, слишкомъ тяжелаго, мучительнаго счастья. А ты? Онъ киваетъ. Она протягиваетъ ему руку черезъ столъ, онъ цѣлуетъ ея пальцы. — Ты тоже счастливъ, Павликъ? Да, все, какъ вчера. И вообще это не сегодня, это вчера. — Я тебя люблю, говоритъ она Тьери и мужъ вздрагиваетъ, наклоняетъ голову. Люблю, люблю, повторяетъ она. Отчего поваръ не танцуетъ, отчего нѣтъ камина? Она не спрашиваетъ объ этомъ, но каминъ, и поваръ съ флейтой были бы очень кстати сейчасъ. — Мнѣ весело, слишкомъ, слишкомъ, она смѣется, — какъ чудно, развѣ мы мечтали? „Исполненная мечта“, какъ ты говорилъ всегда. Но это больше, гораздо больше. Да, это больше. Это „разбитая мечта“. Можетъ быть его страхъ напрасенъ? Онъ кладетъ ладонь на ея руку,

онъ робко заглядываетъ въ ея глаза — Люка, обѣщай мнѣ, поклянись мнѣ, Люка. Она не слушаетъ, она смотритъ на женщину въ мѣховой накидкѣ. Она вытягиваетъ руку изъ подъ ладони. — Посмотри, Павликъ, вотъ такую накидку мнѣ надо купить. Вотъ такую... Въ этой, черной, у окна, видишь?

Онъ замолкаетъ. Онъ не говоритъ, онъ никогда не скажетъ того, что хотѣлъ сказать: — Люка, обѣщай, поклянись, что никогда не бросишь меня.

Если бы онъ сказалъ, если бы попросилъ униженно признавая свою рабскую зависимость отъ нея, мѣняясь, жизнью выработанными, ролями, (жена слабая, мужъ сильный, онъ защитникъ, она нуждается въ немъ), признавая ея власть, отдавая свои права, выясняя разъ навсегда — „Не могу безъ тебя, Люка“. Если бы онъ попросилъ, она навѣрно поклялась бы и, съ той же веселой готовностью обрадовать его, съ какой только что дарила ему галстуки, подарила бы клятву. — „Никогда. Навсегда. Только будь доволенъ. Не мѣшай моему счастью.“ Она поклялась бы и онъ могъ бы еще дышать спокойно... Но онъ молчитъ и она не клянется. Она пьетъ вино. Она поправляетъ счастливый цвѣтокъ у вырѣза счастливаго платья. Она заказываетъ спаржу. „Спаржа“, какъ пріятно произнести. Вчера она ѣла спаржу съ Тьерри. — Я люблю спаржу, говоритъ она и краснѣетъ, будто выдала себя, будто сказала „я люблю Тьерри“. Но мужъ не понимаетъ, не можетъ понять. Они пьютъ за ея успѣхъ, за ея богатство. — За мое счастье, предлагаетъ она. „Мое“, а не „наше“. „Мое счастье“ значитъ за любовь Тьерри. Но мужъ не понимаетъ, онъ чокается съ ней, онъ пьетъ — За твое счастье, Люка.

Домой они возвращаются поздно, немного пьяные. Она — отъ влюбленности и счастья, онъ — отъ страха за будущее, за свою любовь. Они входятъ подъ-руку, они смѣются. Онъ помогаетъ ей раздѣться. — Развя-

жи, говорить она, и онъ развязываетъ ея поясъ. Ему кажется, что онъ развязываетъ не ея поясъ, а живую теплую связь, ту ленточку, ту ниточку, которая еще связывала ихъ сегодня утромъ и которая понемногу развязывалась за этотъ сумасшедшій, суетливый день, за этотъ веселый, пьяный вечеръ и вотъ теперь, окончательно развязавшись, голубой полоской, лежитъ на полу между ними.

Люка снимаетъ платье, сбрасываетъ туфли, — она уже въ постели.

— Гдѣ ты? спрашиваетъ она сонными губами, закрывъ сонные глаза. И вотъ она одна, одна съ Тъери. Онъ рядомъ съ ней, она засыпаетъ, положивъ голову на его плечо. Она спитъ и во снѣ ни Тъери, ни счастье не покидаютъ ее. А онъ? Павликъ, ея мужъ? Она больше не помнитъ о немъ. Развѣ она не была съ нимъ очень мила, очень щедра, очень добра? Чего же еще требовать отъ нея?

Чего же еще требовать? Онъ ничего и не требуетъ. Онъ лежитъ рядомъ съ ней, онъ чувствуетъ на своей груди теплую тяжесть ея головы. Онъ смотритъ на ея прелестное, дѣтское лицо, поблѣднѣвшее отъ счастья и усталости, на ея волосы, похожіе на завитой лунный свѣтъ. Она лежитъ не шевелясь, трогательная, теплая, безпомощная. Вчера была послѣдняя безпечная ночь въ его жизни. А онъ и не зналъ.

Лица, головы, флаконы, аппараты для завивки и сушки волосъ, зеркала подъ разными углами, отражающія эти лица, флаконы и аппараты безчисленными отраженіями, уводящія ихъ за границу свѣта и реальности въ блестящую потусторонность зеркальнаго міра, дробящія, перекашивающія, ломающія ихъ на отдѣльныя части, на составные элементы, переводя всю эту банальную парикмахерскую изъ плоскаго жизненнаго плана въ таинственный планъ искусства. Глазь, отражающійся въ скошенной плоскости facets, глазь самъ по себѣ, увеличенный, сіяющій, какъ осколокъ каменнаго угля во льду, непонятный, значительный своей собственной необъяснимой жизнью, пугающій и прекрасный. Глазь, не составляющій цѣлаго ни съ чьимъ лицомъ, не освѣщающій, не гармонирующій, не украшающій — глазь самъ по себѣ. И внизу, въ продольномъ четырехъугольникѣ зеркала рука сама по себѣ, рука съ длинными пальцами и красными ногтями, отрѣзанная у кисти металлической рамой.

Колпакъ для сушки волосъ шумитъ, какъ аэропланъ. Отъ горячаго вѣтра, который дуетъ въ уши, отъ шума кажется, что летишь. И даже слегка мутитъ отъ полета, отъ жары. Люка закрываетъ глаза. Она летитъ высоко надъ землей, надъ судьбой. Отчетливо и ясно видно все. Вотъ она ея прошлая жизнь, ея прошлые дни. Въ этихъ дняхъ такъ много голубого цвѣта, будто это голубыя озера, голубое небо, голу-

быя горы. Но вѣдь она жила въ Парижѣ, она не видѣла ни озера, ни горъ, откуда взялась вся эта голубизна? Она присматривается. Нѣтъ, это не озера, не горы, не небо. Это покой. Это покой, наполнявшій ея жизнь. Покой, — тогда она звала его скукой. Теперь она видитъ, какой онъ былъ легкій, нѣжный, воздушный. Дни высокіе, голубые, большіе. Такіе помѣстительные. Чего только въ нихъ не было — такъ много звуковъ, запаховъ, чувствъ, совершенно потерянныхъ теперь. Земля скрипѣла подъ ногами, отъ лампы ложился желтый теплый кругъ на покрытый бѣлой скатертью обѣденный столъ, вечеромъ на стѣнахъ вытягивались черныя тѣни, зимой было очень, до слезъ, холодно, лѣтомъ листья были зеленые и цвѣты цвѣли и пахли, утромъ ставни съ трудомъ открывались, норовя ущипнуть за палець, пыль удивительно быстро омрачала блескъ полированного буфета, съ нею велась ежедневная борьба, подъ окнами играли и кричали дѣти. Все было наполнено, дышало, звучало, жило въ спокойной скукѣ, въ теплой прелести жизни. И была чисто физическая радость, совсѣмъ не зависящая отъ событій была восхитительная усталость передъ сномъ — „вотъ сейчасъ усну“, было веселое любопытство утромъ — „какая погода“? и „какъ хорошо, что весна“ и „какъ хорошо, что зима“ и „какъ хорошо, что я живу въ Парижѣ“ и „какъ жаль“. Цѣлая серія „какъ жаль“ — легкое сожалѣніе въ сущности, не менѣе пріятное, чѣмъ радость, — скользившее по поверхности, какъ бумажные кораблики по водѣ, не задѣвающіе глубины, не мутящіе стеклянной глади покоя.

Она садилась въ кресло у открытаго окна. Ей казалось, что она сучаетъ. Она сидѣла долго одна, ничего не дѣлая, сквозь скуку чувствуя, какъ въ ней медленно скопляются силы жизни, какъ онѣ, эти силы, проникаютъ въ нее изъ земли черезъ тонкія подошвы туфель, черезъ теплыя ладони, черезъ ротъ, черезъ

открытые глаза. Изъ земли, изъ воздуха, изъ свѣта. Собираются въ ея груди, въ ея сердцѣ нерастраченнымъ запасомъ, накопленнымъ богатствомъ. Тогда она только накопляла, собирала силы, готовясь жить. Накопляла, собирала изъ земли, изъ каждой пролетающей минуты, изъ тепла, холода и свѣта. Огромные запасы, цѣлые склады, которые, казалось, бы, нельзя было растратить. Но вотъ прошло только три мѣсяца и она истратила все, что скопила, все, безъ остатка, — проносила до дыръ свою кожу, такъ что чувствуетъ, какъ горячій вѣтеръ дуетъ прямо въ ея сердце.

Жужжаніе аппарата для сушки волосъ, обвѣваетъ голову горячей усталостью. Мысли копошатся, какъ муравьи, строящіе, нѣтъ вѣрнѣе растаскивающіе, раззоряющіе что-то — онѣ разбѣгаются, торопятся, работаютъ впустую. Голова болитъ и нельзя даже понять, что больше мучить — то, что сейчасъ придется сказать Павлику, что она опять уходитъ изъ дома сегодня вечеромъ или то, что до этого выхода изъ дома, до этого вечера еще такъ далеко. Борьба съ временемъ — главное, чѣмъ теперь полна жизнь Люки, борьба съ часами и минутами, которыя надо прожить безъ Тъери въ ожиданіи встрѣчи съ Тъери. Теперь ея дни тяжело громоздятся другъ на друга, лежатъ кучей приплюснутые, разбитые, какъ вагоны послѣ железнодорожной катастрофы. Одного теперешняго дня хватило бы на мѣсяцы той прежней воздушной, голубой жизни. Теперь ея тѣсные, душные, темные дни перегружены спѣшкой, тревогой, работой въ студии и влюбленностью. Главное влюбленностью.

Люка вдругъ видитъ себя на знакомой дорогѣ, около завода мужа. Она стоитъ, закинувъ голову, въ своемъ старомъ клѣтчатомъ платьѣ и смотритъ на небо, на аэропланъ. Онъ пролетаетъ совсѣмъ низко, вотъ сейчасъ онъ опустится здѣсь, около нея. Нѣтъ — онъ поднимается, онъ улетаетъ, она щурится, только бы не

потерять его изъ виду. На немъ, на этомъ аэропланѣ улетаетъ ея судьба, среди бѣлыхъ тучъ въ голубомъ небѣ, въ солнечномъ сіяніи, все выше и выше. И вотъ уже ничего не видно. Пускай улетаетъ судьба. Но аэропланъ продолжаетъ шумѣть. Люка стоитъ на дорогѣ, она ясно видитъ себя, свое огорченное лицо, свою бѣлую шляпу, свои голыя ноги въ запыленныхъ сандаляхъ. Она стоитъ на дорогѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ, въ одно и то же время, сидитъ въ аэропланѣ. Она одна, пилота нѣтъ. Она правитъ аэропланомъ, она судорожно держитъ руль, ей страшно. Страшно, какъ было страшно, когда она училась править автомобилемъ. Нѣтъ, еще страшнѣй. Только бы не налетѣть на тучу, не задѣть звѣзды. Она тормозитъ, она нажимаетъ акселераторъ, она вертитъ руль, она совсѣмъ не знаетъ, что дѣлать. Но все идетъ прекрасно. Аэропланъ слушается ее. Вотъ сейчасъ она благополучно снизится, долетитъ до той грустной Люки, которая стоитъ тамъ внизу на дорогѣ. Но вдругъ въ глазахъ темнѣетъ, руки слабѣютъ и выпускаютъ руль, нѣтъ ни воли, ни силъ. Ужась, глухо ударяетъ въ сердце. Это черная точка. Черная точка, отъ которой пилоты теряютъ сознание.

Люка открываетъ глаза и невидящимъ взглядомъ смотритъ въ зеркало на свое посмертное лицо, на сестру милосердія въ бѣломъ халатѣ. Но это не сестра, это маникюрша.

— У мамъ прекрасныя руки, говоритъ она, глядя на Люку съ разъ навсегда, для всѣхъ кліентокъ, установленнымъ профессиональнымъ восхищеніемъ. Можетъ быть она дѣйствительно восторгается Люкой, но другого выраженія лица, кромѣ этого профессиональнаго, у нея все равно нѣтъ.

Люка кладетъ пальцы въ теплую мыльную воду. Вмѣстѣ съ ощущеніемъ дѣйствительности, возвращается усталость и безпокойство. Который часъ? Скоро

ли она уйдетъ отсюда? Какъ долго, какъ мучительно долго она уже сидитъ здѣсь.

Наконецъ волосы высохли. Парикмахеръ освобождаетъ голову отъ колпака, расчесываетъ волосы, свиваетъ локоны на пальцахъ, укладываетъ ихъ. Долго, мучительно долго. Но вотъ послѣдній волосъ уложенъ и завитъ, съ прической больше дѣлать рѣшительно нечего. Парикмахеръ, наклоняясь, заглядываетъ то слѣва, то справа, отходить на шагъ, даже присаживается на корточки и вдругъ, вытянувшись во весь ростъ, поднимаетъ руку и чертитъ надъ головой Люки кругъ, какъ сіяніе надъ головами святыхъ.

— Готово, мадамъ. Люка встаетъ, вынимаетъ изъ сумочки ключи отъ автомобиля— эмблему свободы и власти надъ пространствомъ, которыми современная женщина гордится совсѣмъ такъ же, какъ ея мать гордилась ключами отъ шкафовъ и комодовъ, — эмблемой домашней власти и несвободы.

Сквозь широко распахнутую дверь парикмахерской, сквозь низкій поклонъ швейцара, на улицу, на воздухъ, къ своему автомобилю. Опять заставили машинами, выбирайся теперь. Она морщась, берется за руль. То, что она только-что причесалась въ одной изъ самыхъ элегантныхъ парикмахерскихъ, то что она ѣдетъ въ собственномъ автомобилѣ, совсѣмъ не радуетъ ее. Если бы это случилось годъ или полъ-года тому назадъ... Но теперь ей не до парикмахерскихъ и автомобилей. Все, всегда, приходитъ не во время. Слишкомъ рано или слишкомъ поздно, когда еще или уже нельзя радоваться. Теперь это все только лишняя нагрузка усталости и парикмахерская и автомобиль. Надо осторожно править, — вѣдь только два мѣсяца, какъ она научилась. Полицейскій останавливаетъ движеніе. Ждать, опять ждать.

Она подѣзжаетъ къ своему дому. Она такъ и не переѣхала изъ него. Ей все равно, а Павликъ привыкъ,

привязался, приросъ къ нему сердцемъ. — Здѣсь я былъ счастливъ. Если мы бросимъ эту квартиру... Нѣтъ, она не бросить, не все ли равно гдѣ жить, гдѣ жить безъ Тъери?

Горничная открываетъ ей дверь. Теперь у нея горничная и квартира заставлена новыми, дорогими, наспѣхъ купленными вещами. Но отъ этого не стало красивѣе. Напротивъ — нарушились какіе-то пропорціи, какіе-то законы уюта и домашности. И главное — новыя вещи не сумѣли прижиться, ужиться здѣсь. Между ними и старыми идетъ вражда, это чувствуется въ воздухѣ. Но Люкѣ все равно, пусть вещи враждуютъ, какое ей дѣло? Пусть Павликѣ не садится въ купленное для него модное кресло, пусть радіо, какъ на зло поетъ только рекламы, когда она случайно откроетъ его. Пусть.

Она отдаетъ прислугѣ шляпу и пальто, она идетъ въ спальню, ложится на постель. — Потушите свѣтъ.

Она лежитъ въ темнотѣ неподвижно, вытянувшись на спинѣ. Сейчас она отдохнетъ. Но отдыха нѣтъ. Такъ же, какъ гордости, какъ радости. Всего того, что она испытывала раньше, больше не существуетъ. Только одно чувство жизни. Она живетъ. Теперь она каждую минуту чувствуетъ, что живетъ, она чувствуетъ всю себя, свои напряженные мускулы, свои кости, свою медленно и тяжело переливающуюся кровь, свое пульсирующее горло. Ощущеніе жизни переполняетъ, душитъ ее, оно какъ огонь горитъ въ ней, сжигая ея жизнь. Тяжесть своего костяка, своихъ мыслей, своего сердца. Невозможность улечься свободно и мягко, освободиться отъ напряженія, отъ себя, отъ влюбленности, свернуться, какъ прежде, теплымъ комкомъ, пакетикомъ, внутрь, сама на себя, невозможность уйти, хотя бы на минуту, въ свою, только себѣ одной, доступную, теплую, мягкую суть, къ самымъ истокамъ своего существа, юркнуть туда, какъ лягушка въ тину,

туда гдѣ такъ еще молодо, зеленоватымъ огнемъ, какъ огонь маяка, свѣтитъ ея жизнь, набраться собственной, ей одной присущей радости, собственного, ей одной присущаго, покоя. Невозможность, какъ прежде, снова вынырнувъ, на поверхность, съ веселымъ нетерпѣніемъ широко развернуться навстрѣчу всего того, что случится. Всего, что случится. Но теперь это „все“ просто не существуетъ. Ничего не существуетъ кромѣ Тьери. Тьери, для Тьери, о Тьери, за Тьери. Она безпокойно двигаетъ головой, никакъ нельзя удобно уложить эту изнемогающую отъ влюбленности, голову. Какъ она устала. Темно, тихо, тревожно. Нѣтъ встать нельзя. Надо лежать, надо отдыхать. Лежать такъ съ закрытыми глазами, съ компрессомъ на усталыхъ вѣкахъ. На широкой постели, какъ на лодкѣ, плывущей по пустой, черной рѣкѣ. Это ощущеніе лодки, аэроплана, поѣзда незнакомое прежде повторяется все чаще и чаще. Будто она плыветъ, будто ѣдетъ куда-то. Покоя нѣтъ, невозможно ни на минуту пристать къ берегу — ее сейчасъ же уносить, она сейчасъ же куда-то улетаетъ. Вѣчное движеніе, вѣчная тревога, вѣчная усталость. И всетаки это счастье, вдругъ вспоминаетъ она. Да. Счастье. Черезъ часъ она будетъ съ Тьери. Она больше не можетъ лежать, она садится на постели и какъ пружина вытягивается и сворачивается до предѣла, до дрожи. Темнота снова приходитъ въ движеніе. Все движется, спѣшитъ, летитъ, уплываетъ. Черныя волны рѣки бѣгутъ передъ глазами, поѣзда пролетаютъ въ искрахъ, кровать раскачивается и вѣтеръ шумитъ въ волосахъ. И она сама движется, бѣжитъ, летитъ куда-то и нельзя остановиться, зацѣпиться, перевести дыханіе.

Дверь тихо отворяется. Полоса свѣта падаетъ на кровать.

— Павликъ, — кричитъ она, пока онъ еще не вошелъ: — Я должна обѣдать сегодня съ Герэномъ и Ри-

вуаромъ. Теперь онъ знаетъ, самое трудное сдѣлано. — Не зажигай свѣта, Павликъ. Это, чтобы не видѣть его глазъ.

Онъ подходитъ къ постели въ темнотѣ. — Ей очень жаль его, она готова на многое, чтобы утѣшить его. — Люка, ты никакъ не можешь остаться? — Нѣтъ, нѣтъ, голосъ ея звучитъ жестоко. Она готова на многое, но не на то, чтобы отказаться отъ встрѣчи съ Тьери.

Онъ молчитъ, онъ сидитъ на краю постели, она чувствуетъ, какъ онъ несчастенъ, какъ ему тяжело. Она въ темнотѣ, ощупью, находитъ его руку, кладетъ ее подъ свою щеку. — Я устала, жалуется она. Она знаетъ, что если онъ пожалѣетъ ее, ему самому станетъ легче. — Я не могу больше, Павликъ, — у меня нѣтъ больше силъ.

— Люка, нельзя такъ утомляться, ты заболѣешь. Она трется щекой о его ладонь. — Теперь уже недолго, Павликъ. Я скоро кончу фильмъ. И тогда мы уѣдемъ съ тобой на югъ, въ Ниццу. Ты возьмешь отпускъ, мы уѣдемъ вдвоемъ на цѣлый мѣсяцъ.

— Да, да соглашается онъ. Мнѣ дадутъ отпускъ, я не бралъ лѣтомъ. Мѣсяцъ вдвоемъ, въ Ниццѣ. Неужели это правда будетъ?

И вдругъ она понимаетъ, что это дѣйствительно такъ и будетъ, что она дѣйствительно уѣдетъ съ Павликомъ на югъ, что она дѣйствительно разстанется съ Тьери на цѣлый мѣсяцъ, что это будетъ разлука, настоящая разлука, настоящее горе.

— Люка, тамъ пальмы, какъ въ Африкѣ и море. И замѣчательно красиво. Люка слушаетъ и уже ненавидитъ это, никогда еще не видѣнное море и пальмы, какъ въ Африкѣ. Неужели придется пережить разлуку? Любовь, разлука. Развѣ бываетъ любовь безъ разлуки? Какъ она раньше не догадалась? Развѣ можно безъ разлуки? Павликъ мечтаетъ вслухъ о

Ницѣ. Да, она утѣшила его. Теперь у него, должно быть, почти веселые глаза. Его горе перешло къ ней черезъ его теплую руку, лежащую подъ ея щекой все до послѣдней капли. Это уже не жалость къ нему, скользкая по ея кожѣ, это боль, врѣзающаяся въ ея грудь, въ ея сердце. Навѣрное у нея, а не у него, сейчасъ глаза собаки, воющей на луну отъ тоски. — Да, Павликъ, мы уѣдемъ съ тобой на югъ. Скоро, очень скоро.

Прислуга тихо стучить — Людмила Алексѣвна, уже половина восьмого.

Половина восьмого. Черезъ тридцать минутъ она увидитъ Тьери. Разлуки можетъ еще и не быть, а Тьери она непременно увидитъ. Она зажигаетъ свѣтъ. — Я отдохнула съ тобой, Павликъ. Она встаетъ. — Все будетъ очень хорошо, общается она ему и себѣ. Очень хорошо, одобряетъ она свое платье и накидку изъ серебристыхъ лисицъ и маленькую забавную шапочку. — Очень хорошо, говоритъ она, спускаясь съ лѣстницы. И это послѣднее „очень хорошо“ означаетъ, что минута встрѣчи съ Тьери наконецъ наступила. Она выходитъ изъ подъѣзда, но автомобиля Тьери нѣтъ. Сотни случаевъ катастрофъ, сломанныхъ рукъ, раздробленныхъ череповъ, кровавыхъ лужъ смѣшиваются съ надеждой — „просто опоздалъ“. Чувство горькаго сиротства, потерянности. Боль во лбу, какъ звѣзда, освѣщающая все страхомъ. Десять, двадцать лѣтъ жизни отдать, только бы... Но ни двадцати ни десяти лѣтъ жизни не приходится общаться судьбѣ. Тьери останавливаетъ автомобиль у тротуара. — Давно ждешь? Онъ не извиняется, не объясняетъ причины опозданія. Онъ тутъ передъ ней, живой, цѣлый, улыбающийся. Радость, какъ удавъ кролика, проглатываетъ остатки волненія. Она садится рядомъ съ Тьери. Она совсѣмъ спокойна, совсѣмъ счастлива, совсѣмъ неподвижна. Движеніе, спѣшка, время, — все останови-

лось. Автомобиль вросъ въ землю, пустиль глубоко корни. Съ двухъ сторонъ въ окнахъ бѣгутъ дома, фанари и прохожіе. Но автомобиль неподвиженъ въ статическомъ счастьи. Цѣль достигнута. — Люка рядомъ съ Тъери. Ни времени, ни движенія больше нѣтъ. Пространство, загроможденное домами, людьми и машинами летить мимо окна. Но они — Люка, Тъери и автомобиль, не участвуютъ въ этомъ полетѣ. Они на островѣ неподвижности и счастья. Тъери мелькомъ взглядываетъ на нее. — „Хорошо“. Это „хорошо“ относится къ ея платью, ея шляпѣ, къ ней. Хорошо. Счастье это полное отсутствіе ожиданья, движенія, желанія. Счастье — это покой. Она молчитъ, ей даже нечего сказать.

— Что же ты? Выходи. Тъери открываетъ дверцу автомобиля. Ей не хочется выходить, приводить въ движеніе всѣ рычаги воли и мускуловъ. Но она уже послушно входитъ въ ресторанъ, осторожно ступая, чтобы не вспугнуть чувство покоя, какъ голубь, сидящаго на ея плечѣ.

Герэнъ уже ждетъ. Онъ преувеличенно вѣжливо кланяется, преувеличенно вѣжливо цѣлуетъ ея руку. Маленькая обида. Тъери, здороваясь съ ней, никогда не цѣлуетъ ей руку и снова радость, какъ удавъ кролика, сразу проглатываетъ еще не успѣвшую зашевелиться обиду. Люка садится и улыбаясь, смотритъ на Герэна. Вотъ она сидитъ здѣсь на желтомъ бархатномъ диванѣ, рядомъ съ Тъери. Совсѣмъ счастливая, совсѣмъ спокойная. Вся здѣсь со всѣми своими мыслями и надеждами, со всей своей сконцентрированной на этой минутѣ, жизнью, въ своей лучшей шляпѣ и пакидкѣ изъ серебристыхъ лисиць.

Вотъ она сидитъ съ Тъери, здѣсь въ ресторанѣ и сейчасъ будетъ обѣдать. Сидитъ на диванѣ, не летитъ, не плыветъ. Тревога остановилась. Жизнь прекрасна. Ничего больше не надо. Тъери здѣсь рядомъ. Его руки,

его лобъ, его голосъ, его колѣни, все, по чему она такъ томилась и скучала, здѣсь. И ея колѣни, ея локти, ея руки счастливы, спокойны. Ничего, что Герэнь тоже здѣсь. Онъ не мѣшаетъ, ничто не мѣшаетъ, разъ Тъери рядомъ съ ней. Покой продолжается. Легко, спокойно, привольно, не спѣша возникаютъ ощущенія. Приятны цвѣты на столѣ и томительныя гавайскія гитары и то, что хочется ѣсть и то, что все видишь, понимаешь и слышишь не хуже, даже лучше, чѣмъ кто другой. Оттого, что Тъери тутъ рядомъ. Неподвижность, покой, тишина, несмотря на музыку, на разговоръ. Какъ будто времени больше нѣтъ. Она выпала изъ него въ восхитительную паузу въ прозрачную остановку, въ сіяющій полетъ счастья.

Герэнь говоритъ и Тъери тоже говоритъ. Ихъ слова скользятъ какъ вѣтеръ по перьямъ ея шляпы, по шерсти ея лисицъ не проникая въ нее, не тревожа, не перемѣщая покоя ея сознанія. Она слушаетъ улыбаясь.

Они обѣдаютъ, спѣшить некуда, волноваться не о чемъ. Она молча слушаетъ разговоръ Ривуара и Герэна. У Герэна гладкій, голый, совсѣмъ не противный черепъ, ясные глаза. Онъ постоянно касается лѣвой стороны пиджака, не то, чтобы провѣрить не украли ли бумажникъ, не то, чтобы убѣдиться, что сердце на мѣстѣ. Этотъ жестъ она запомнила въ первый же вечеръ знакомства, но о чемъ онъ беспокоится о сердцѣ или о бумажникѣ, такъ и не выяснила. Онъ очень богатый этотъ Герэнь, у него миллионы, прожить, истратить ихъ невозможно. Даже трудно представить себѣ столько денегъ — гора серебряныхъ двадцати-франковыхъ монетъ, гора тысяча-франковыхъ билетовъ и между ними, какъ мышъ, бѣгаетъ юркій, лысый, молодежавый Герэнь въ черномъ костюмѣ съ свѣтлыми гетрами на быстрыхъ, немного кривыхъ ногахъ. Гора родила мышъ, нѣтъ, мышъ родила гору. Трудно представить себѣ ве-

личину этой горы. Но какое дѣло ей, Люкѣ, до Герэна и до его денегъ.

Герэнь, улыбаясь, смотреть на нее, онъ кончилъ дѣловой разговоръ. — Это странно, говорить онъ ей, но мнѣ всегда кажется, что вы освѣщены прожекторомъ. Гдѣ бы вы ни были, весь свѣтъ сосредоточенъ на васъ, вы всегда въ свѣтломъ кругѣ, а все остальное въ тѣни и васъ сразу видно, сколько бы людей ни было. И еще вы видны сами — ваше лицо, ваши волосы, ваши глаза, руки. А у другихъ женщинъ видны ихъ шляпы, ихъ платья, даже цвѣты на столѣ передъ ними, а не онѣ сами. Тьері спорить — у него нѣтъ этого ощущенія свѣта, связаннаго съ Люкой. — Самое удивительное въ васъ (онъ такъ и говоритъ „самое удивительное“ и значитъ въ ней еще много удивительнаго, если это самое удивительное), что вы всегда такая, какъ ждешь, какъ надо въ данную минуту, въ данномъ случаѣ, что вы не разочаровываете, какъ всѣ, что о васъ никогда не говоришь себѣ — „вчера она была лучше“ или—„она казалась мнѣ красивѣе“, не думаешь даже—„какимъ она была прелестнымъ подросткомъ“, ни — „какой очаровательной она будетъ черезъ десять лѣтъ“. Нѣтъ, вы сегодняшній день, вы самое современное существо, которое можно себѣ представить. Ни вчера, ни завтра, а сегодня. Безъ всякой необходимости въ поправкѣ, безъ жалости о вчерашнемъ, безъ ожиданія завтрашнихъ добавленій, украшеній, вполне совершенное сегодня. Онъ отпиваетъ глотокъ вина и смотритъ Люкѣ прямо въ глаза. — И всетаки вы не талантливы. Я ошибся въ васъ. Да, ошибся, какъ это ни странно.

Она чувствуетъ легкій стукъ въ лобъ, будто слова о ея неталантливости, соскользнувъ съ перьевъ шляпы, стучатся въ ея лобъ. Но стукъ совсѣмъ легкій. Можно не открывать, не впускать въ мысли это извѣстіе о неталантливости. И вѣдь оно не ново. Она сама зна-

еть, что она неталантлива. Все началось съ ошибки. Въ началѣ была ошибка, въ началѣ была ложь. Да, она неталантлива. Она, играя, никогда не испытывала чувства вдохновенія, когда кажется, что достаточно протянуть къ окну руку, чтобы сорвать съ неба звѣзду. Въ студіи, на плато, она ни на минуту не перестаетъ видѣть свѣтлые глаза Тьерри. Его глаза, какъ цѣпь, къ которой она привязана. Она чувствуетъ себя собакой на цѣпи. Она старается только, какъ можно точнѣе исполнить его приказанія. Какое ужъ тутъ вдохновенье.

— И всетаки, говорить Тьерри, я сдѣлаю васъ знаменитостью. Вотъ увидите... Теперь они сидятъ на низкомъ диванѣ, покрытомъ ковромъ. Свѣтъ идетъ отъ столовъ, освѣщая ведро съ шампанскимъ и стаканы — самое нужное здѣсь. И еще руки, наливающія шампанское въ стаканы, поднимающіе стаканы къ губамъ. Но головы и лица тонуть въ тѣни. Покой все еще длится. Его не можетъ нарушить даже гортанное, страстное цыганское пѣнье. О горѣ, о разлукѣ. Но для Люки это сейчасъ ничего не значить. На островѣ покоя, на которомъ она съ Тьерри все еще живетъ, такихъ словъ просто не знаютъ. Островъ окруженъ стеклянной стѣной, о его стеклянную стѣну разбиваются крики горя и разлуки, доходятъ сюда очищенные, освобожденные отъ боли, нѣжной воздушной пѣсней. За стеклянной стѣной, растекаясь по ней узорами, какъ дождь, падаетъ электрической свѣтъ, освѣщая то трѣнь бѣлаго платья пѣвицы, то лицо, то кусокъ жизни сидящихъ за столиками. О нихъ, о сидящихъ за столиками, можно сейчасъ все угадать, почувствовать, можно понять, почему плачетъ эта женщина и улыбается та. Все узнать — ихъ настоящее и даже будущее. Но Люкѣ неинтересно. Она поворачивается къ Тьерри. Только онъ и она. Ничего, кромѣ нихъ двоихъ и этого покоя. Герэнъ требуетъ счетъ. Еще немножко. Еще

минутку. „Еще минутку господинъ, палачъ“. Но минутка проходитъ и стеклянная стѣна падаетъ въ шумъ отодвигаемаго столика. Люка идетъ къ темному выходу и у самой двери, какъ ножъ, предательски брошенный въ спину, ее настигаетъ гортанный голосъ, вдругъ ставшій понятнымъ и страшнымъ:

Было горе, будетъ горе,
Горю нѣтъ конца...

Люка вздрагиваетъ и переступаетъ порогъ въ ночь, въ дождь, въ тоску. Отъ покоя не осталось даже легкаго слѣда въ мокромъ темномъ небѣ.

И автомобиль сразу приходитъ въ бѣшенное движеніе и время, входя въ свои права, заявляетъ о себѣ голосомъ Герэна:

— Какъ поздно. Три часа. До завтра. Будто стараясь еще ускорить бѣгъ времени, приблизить завтра, зачеркнуть сегодня. Неужели сегодня уже совсѣмъ кончено и Тьерри сейчасъ отвезетъ ее домой?

Отъ фонаря, на мокрую мостовую, ложатся мокрыя пятна свѣта, шины, съ шелковымъ шуршаньемъ скользятъ по лужамъ. Ожиданіе — куда свернетъ Тьерри. Направо — значить къ ней, — на сегодня всему конецъ, налево — значить къ нему и жизнь еще продолжается. Автомобиль заворачиваетъ налево. Она вздыхаетъ, сцѣпившіеся пальцы слабѣютъ и руки соскальзываютъ съ колѣнъ, напряженіе падаетъ, она прислоняется къ плечу Тьерри и закрываетъ глаза. Дождь стучитъ матовымъ успокоительнымъ стукомъ. Автомобиль останавливается. Они выходятъ. Она ступаетъ въ воду и туфля сразу промокаетъ. — Осторожно, говоритъ Тьерри, но она не чувствуетъ ни воды, ни холода, не понимаетъ къ чему это „осторожно“ относится.

Его квартира, его „дома“—единственное „дома“—на землѣ. Онъ живетъ здѣсь, каждый вершокъ пола исхоженъ его ногами, на каждомъ клочкѣ обоевъ оста-

навливались его глаза. Его кабинетъ съ песочнымъ ковромъ, съ песочными стѣнами, большой, пустоватый, металлическими креслами и колючими кактусами, почему то всегда напоминающій о Сахарѣ и сейчасъ же вызывающій, связанную съ воспоминаніемъ о Сахарѣ — жажду. Всегда, входя сюда, ей хочется пить и всегда она сейчасъ же забываетъ объ этомъ. Она сидитъ на широкомъ диванѣ въ его спальнѣ, она сняла платье, сбросила мокрая туфли, чулки. Изъ ванной доносится шумъ воды. Она прислушивается къ восхитительному шуму воды. Тъери купается. Она не смѣетъ войти къ нему. Онъ не торопится, какъ будто она не должна будетъ сейчасъ уйти отъ него, какъ будто они вмѣстѣ живутъ здѣсь. Сейчасъ онъ придетъ. Ей кажется, что она дѣйствительно живетъ здѣсь съ нимъ, что это ея жизнь и другой жизни — жизни съ мужемъ у нея нѣтъ. Только съ Тъери, вокругъ Тъери, для Тъери. Ей хочется лечь на полъ, чтобъ онъ прошелъ по ней, какъ по коврику. Собачья любовь. Она прежде смѣялась надъ рабскими женскими чувствами, а теперь... Она вытягивается на диванѣ подъ пуховымъ одѣяломъ. Она дома, Тъери сейчасъ придетъ, завтра утромъ они будутъ вмѣстѣ пить кофе. А въ студию она совсѣмъ не хочетъ. Ни студию, ни карьеры. Они живутъ такъ, какъ съ Павликомъ, но съ Тъери. Такъ просто, такъ скромно, такъ вдвоемъ. Она хозяйничаетъ, она сама готовитъ обѣдъ, сама убираетъ комнаты, сама стелетъ постель. Больше ей ничего не надо. А лѣтомъ они вдвоемъ уѣдутъ, все равно куда, но вдвоемъ. И никогда никакой разлуки. Даже на день.

Въ открытую дверь входитъ Тъери въ своей бѣлой шелковой пижамѣ съ газетой въ рукѣ. Такой, какъ всегда — „въ сіяніи и славѣ“, несмотря на пижаму. На немъ даже пижама сидитъ, какъ фракъ, совсѣмъ не домашне, неуютно-мѣшковато, а элегантно, подтянуто, официально. Онъ кладетъ газету на столикъ. — За

цѣлый день не успѣешь и прочесть. Знаешь, я думалъ о тебѣ. Ты не спишь? Она приподнимается и качаетъ головой. Онъ ложится рядомъ съ ней. — Я думалъ о тебѣ, повторяетъ онъ. Да, очень серьезно думалъ. Знаешь, съ тѣхъ поръ, какъ ты со мной, мнѣ во всемъ везетъ. Онъ цѣлуетъ ее въ губы. — Ты приносишь мнѣ счастье. Онъ обнимаетъ ее и она, прижимаясь къ нему, вдругъ начинаетъ дрожать, какъ отъ страха, какъ отъ лихорадки. Все темнѣетъ передъ глазами и вдругъ бѣлый ослѣпительный свѣтъ, зажигается передъ нею. Это совсѣмъ другой, это новый, восхитительный міръ. Все въ немъ ново, чисто, прозрачно. Деревья высоко поднимаютъ въ воздушномъ небѣ, тонкія вѣтки съ легкими, прекрасными листьями. Стволы деревьевъ тоже прозрачны, видно какъ въ нихъ, какъ по каналу, переливается сокъ жизни, какъ онъ поднимается въ вѣтки, въ тонкія прожилки листьевъ, блестящій и густой. И земля тоже прозрачна, корни деревьевъ глубоко переплетаются между собой. Въ землѣ, подъ корнями спитъ бархатный, слѣпой кротъ, подогнувъ когтистыя лапки, уткнувшись мордочкой въ землю, большіе бѣлые черви медленно сворачиваются и разворачиваются надъ нимъ. Корни какъ цвѣты, — будто это не корни, а цвѣты, цвѣтушіе въ прозрачной легкой, свѣтящейся землѣ. На вѣткѣ дерева сидитъ маленькая птица. Она ясно видна, сквозь ея сѣрыя прозрачныя перышки видно, какъ бьется ея маленькое сердце, какъ кровь бѣжитъ по ея венамъ. Ея горлышко напрягается и движется, ея клювъ открытъ, она поетъ. Но пѣсни нѣтъ, звука нѣтъ. Никакихъ звуковъ нѣтъ, въ этомъ новомъ, непроявившемся, неосуществившемся мірѣ. Звукъ еще не родился. Еще нѣтъ звука, какъ нѣтъ еще силы, плотности, старости. Все еще ново, нѣжно, безсмертно. Это первый день, первый часъ творенія. И все ждетъ звука, требуетъ одобренія. Этотъ міръ созданъ только для Люки, она одна можетъ навсегда

закрѣпить, утвердить, сохранить его. Ей надо найти слово и она находитъ его. Она должна сказать „да“. Только „да“. Согласіе, утверженіе. Этого довольно — Да, да, да. Все ея восхищеніе, вся ея радость, ея благодарность — да, да. Вотъ сейчасъ она скажетъ да, и птица на вѣткѣ запоетъ и, вѣтеръ нѣжно зашумитъ листьями. Но вмѣсто „да“, вмѣсто ея голоса, говорящаго это „да“, она слышитъ рѣзкій, длинный, хриплый крикъ, будто это не она, а затравленный, раненый заяцъ, кричить — Е-и, е-и. Тье-ри. Она открываетъ глаза — прямо надъ ней бѣлый, выкрашенный масляной краской, потолокъ, освѣщенный снизу лампой-рефлекторомъ, бѣлый, блестящій. Съ этого ледяного, блестящаго потолока въ ея, еще открытое, потрясенное, беззащитное сердце, смотритъ тоска. Она одна. Она слышитъ свое дыханіе, свое одиночество. Куда исчезъ Тьери? Она медленно поворачиваетъ голову и видитъ его. Онъ спитъ, онъ тихо лежитъ рядомъ съ ней. Какъ мертвый. Нѣтъ, мертвый все таки существуетъ, а его точно нѣтъ въ этой комнатѣ, нѣтъ въ этомъ городѣ, нѣтъ въ этомъ мірѣ. Подушка подъ его головой, одеяло, покрывающее его, газета на столикѣ, всѣ предметы вокругъ настоящіе живые, реальные. И они, заявляя о себѣ, только еще больше подчеркиваютъ отсутствіе, нереальность Тьери. Ей становится страшно, какъ тогда, въ первую ночь въ гостинницѣ. — Тьери, кричитъ она, Тьери! И сразу, какъ будто щелкнулъ выключатель, къ Тьери возвращается жизнь. Никакого перехода отъ сна къ дѣйствительности, онъ смотритъ на нее ясными, сознательными глазами. — Я, кажется, заснулъ, говоритъ онъ трезвымъ, разсудительнымъ голосомъ. Страхъ исчезаетъ, но тоска остается. Она прижимается къ его плечу.—Мнѣ надо уходить, Тьери. Ей всегда тяжело говорить объ уходѣ, но сейчасъ это даже какъ-то облегчаетъ тоску, объясняетъ ее, служитъ причиной тоски. Будто ей, Люкѣ, грустно оттого,

что она должна уходить и только оттого. — Уже четыре часа, Тъери.

Онъ садится на диванъ, онъ крѣпко беретъ ее за плечи. — Ты хочешь уйти? спрашиваетъ онъ, какъ будто она не уходитъ такъ каждую ночь. Онъ говоритъ быстро и громко. Нѣтъ, онъ не хочетъ, чтобы она уходила. Она должна остаться съ нимъ. Совсѣмъ, жить съ нимъ. Онъ сегодня понялъ это. Она приноситъ ему счастье, онъ не хочетъ дѣлить свое счастье съ другимъ. Она нужна ему. Она должна быть его женой. Его руки крѣпко держатъ ее за плечи, — Ты должна быть моей женой. Она ничего не отвѣчаетъ, она лежитъ тихо и смотритъ въ его взволнованное, склонившееся надъ ней, лицо. Она молчитъ. Ей кажется, что если бы онъ сейчасъ потушилъ свѣтъ, онъ увидѣлъ бы свѣтящійся кружокъ. Кружокъ, который парикмахеръ очертилъ сегодня надъ ея головой. Онъ навѣрно свѣтится, какъ у святыхъ на иконахъ. Не отъ святости, — отъ счастья.

Она выходитъ на улицу. Дождь все еще продолжается. Она жадно, съ наслаждениемъ подставляетъ свое разгоряченное лицо подъ дождь, съ наслаждениемъ, жадно прижимаетъ мокрыя руки къ щекамъ. И это такъ странно, что она останавливается и громко смѣется.

— Ты рысь, дикая лѣсная рысь, Люка, говоритъ она сама себѣ и слизываетъ капли дождя съ губъ и съ пальцевъ. Какъ чудно, что идетъ дождь. Она останавливаетъ такси. Впервые за три мѣсяца она возвращается счастливой. Впервые она возвращается совсѣмъ невѣроятно счастливой. Счастливой оттого, что скоро совсѣмъ не надо будетъ возвращаться. „Я хочу, чтобы ты стала моей женой“.

Она поднимается по лѣстницѣ, перепрыгивая черезъ ступеньку: я—хочу—чтобы—ты—стала—моей—

женой, — семь ступенекъ, по слову на ступеньку, семь — счастливое число. Она счастлива и всѣ остальные должны быть счастливы — она только что дала шоферу такси десять франковъ на чай, она завтра подарить прислугѣ почти новое платье, она скажетъ въ студіи, попавшейся ей подъ ноги, статисткѣ: „Вы навѣрное сдѣлаете карьеру” и остальные будутъ счастливы. Но тотъ остальной, самый остальной, который ждетъ ее въ этомъ домѣ, которому она должна объяснить это — „Я—хочу—чтобы—ты—стала—моей—женой”... Она останавливается передъ дверью, не рѣшаясь вставить ключъ въ замокъ. Ей хочется повернуть обратно, на носкахъ сбѣжать съ лѣстницы, сбѣжать изъ этого дома, изъ жизни этого Павлика. Сбѣжать, скрыться, смыться. Совсѣмъ. Безъ объясненій, безъ истерикъ. Но онъ все равно узнаетъ. Ей все равно придется сказать ему. Не сегодня только не сегодня. Она счастлива, отъ счастья у нея нѣтъ ни храбрости, ни жестокости. Она слаба, подла и труслива отъ счастья. Только это еще не та стадія счастья — жестокая, безразсудная, воинственная, когда „только я, а до остальныхъ мнѣ дѣла нѣтъ”. Это еще жалость, доброта, щедрость — пусть всѣ будутъ счастливы, какъ я“.

Она входитъ въ прихожую. Въ спальнѣ Павликъ лежитъ въ кровати и читаетъ книгу. — Люка, я уже безпокоился. Слава Богу. Славить Бога ему сейчасъ не за что, вѣдь онъ еще не знаетъ, что Богъ отступился отъ него. — Да, Павликъ, очень поздно. Онъ рассказываетъ, какъ провелъ вечеръ. Встрѣтилъ товарища, вмѣстѣ пообѣдали. — Ты была такая милая сегодня, я даже почти не скучалъ. Онъ улыбается. — Ужъ когда ты милая, такъ ты милая, Люка, „Ужъ когда ты милая...” Фраза изъ ихъ прежней, до кинематографической, до-Тьерри-ийской жизни. Значитъ онъ дѣйствительно очень доволенъ. — Я все время думала,

какъ мы, Павликъ, поѣдемъ на Ривьеру. Глаза его немного шуряты, вокругъ нихъ собираются тонкія морщинки. Должно быть онъ сейчасъ видитъ этими прищуренными глазами солнце, голубое небо, голубое море и ее, Люку, въ голубомъ платьѣ. — Отчего ты не ложишься?—спрашиваетъ онъ. Отчего? Оттого, что, какъ всегда, возвращаясь отъ Тьери, ей стыдно, ей мучительно раздѣваться при мужѣ. Она боится — платье неправильно застегнуто, рубашка надѣта на-изнанку, на плечѣ красное пятно отъ поцѣлуя. Всего этого конечно нѣтъ, но она плотнѣе запахиваетъ накидку. — Сейчасъ, сейчасъ, Павликъ. Она протягиваетъ руку, тушитъ свѣтъ и въ темнотѣ торопливо сбрасываетъ съ себя накидку, платье, бѣлье, чулки. Прямо на полъ Мѣхъ влажный и платье помнется. Ахъ, все равно, не до мѣха, не до тряпокъ. Она быстро ложится въ кровать къ мужу, она обнимаетъ его. — Мнѣ холодно, жалуется она. Ей совсѣмъ не холодно, ей скорѣе жарко отъ волненья, отъ жалости, отъ доброты. Но онъ долженъ быть счастливъ непременно. Она цѣлуетъ его, она смѣется... Она никогда не поѣдетъ съ нимъ на Ривьеру. Но пусть онъ будетъ счастливъ сегодня. — Ты развѣ не хочешь спать, Люка? Ты развѣ не устала?

— Нѣтъ, нѣтъ, — волна великодушія, жертвенности, жалости захлестываетъ, поднимаетъ, уноситъ ее. — Нѣтъ, я всю дорогу думала о тебѣ... Пусть только онъ будетъ счастливъ.

— Какая ты нѣжная, милая. Ты давно не была такой. Да, очень давно. Въ первый годъ послѣ свадьбы, въ первые полъ-года, когда она еще надѣялась, что можетъ полюбить Павлика, за то, что онъ такой добрый. — Люка, отчего ты такая, сегодня? — Оттого, что я хочу, чтобы ты былъ счастливъ, говоритъ она и слезы текутъ по ея щекамъ, но темно и онъ не видитъ. Онъ наконецъ засыпаетъ, все еще держа Люку за пле-

чо. Его спящая рука тяжело лежит на ней, ей кажется, что она лежит не на ее плечѣ, а на ее сердцѣ и сердце сжимается и болитъ. Какъ сказать ему? Какъ? Все равно завтра или черезъ недѣлю придется сказать ему. Для него это будетъ горемъ. Да, это она знаетъ. Такимъ горемъ, что она даже не увѣрена переживетъ ли онъ его. Она морщится въ темнотѣ — какъ мучительно, какъ несправедливо, какъ беспомощно онъ любить ее. Зачѣмъ, кому это нужно? Другого выхода нѣтъ. Онъ спитъ спокойно, довѣрчиво, его рука благодарно лежитъ на ее плечѣ. И она, какъ убійца, сторожить его. Какъ убійца, хуже убійцы. Если бы она убила его, все было бы кончено сразу, онъ бы не узналъ. У нея хватило бы храбрости убить его? Она вспоминаетъ пьесу — они видѣли ее вмѣстѣ. Жена, чтобы не бросать, не огорчать мужа, отравляетъ его понемногу. Да, она тоже могла бы отравить, убить Павлика — подливать ему ядъ въ чай, понемногу, съ выдержкой... Она держала бы его за руку, она закрыла бы ему глаза. У нея хватило бы силы, хватило бы храбрости. Преступленіе? Нѣтъ, это скорѣе подвигъ. Онъ умеръ бы счастливый. А такъ? Въ пьесѣ все открывается и жена отравляется сама. Но ей ни на минуту не приходится въ голову умереть, вѣдь она нужна Тьери. Она готова для Павлика почти на все, даже на преступленіе, но никакого выбора между Тьери и Павликомъ быть не можетъ. Въ сравненіи съ Тьери Павликъ просто не существуетъ. Ничего придумать нельзя. Одной храбрости, одной жалости мало. Она должна будетъ сказать ему. Полоски въ ставняхъ понемногу свѣтлѣютъ и вещи снова возникаютъ изъ темноты со всей отвратительной жестокостью жизни.

За стѣнной, въ столовой, прислуга уже чиститъ коверъ. Скрипъ щетки, какъ вздохъ врывается въ мысли Люки. Кажется, что это она, Люка вздыхаетъ. Оттого, что ночь прошла, оттого, что она не спала ни минуты,

что она чувствует себя разбитой на куски, безсердечной, жестокой, несчастной, подлой. Она громко вздыхает и въ столовой сразу становится тихо. Будто робкіе вздохи щетки всѣ сразу воплотились въ громкій вздохъ Люки и щетка замолчала.

— Вы сказали мужу? Она качаетъ головой — Я не могла еще. Они при другихъ на „вы“. Они стоятъ въ студіи. Ихъ могутъ услышать. Она краснѣетъ. — Когда же? спрашиваетъ онъ раздраженно. Она видитъ, что онъ сердится. Ея сердце начинаетъ стучать. Она почти забыла о безсонной ночи, о жалости, о Павликѣ.

— Послѣзавтра, отвѣчаетъ она тихо. Онъ довольно пожимаетъ плечами и она поправляется — Завтра.

Она работаетъ въ студіи до вечера, ей больше не удается поговорить съ Тьери. Завтра праздникъ. Въ праздникъ она уйдетъ отъ Павлика.

Тьери привозитъ ее изъ студіи. Онъ уѣзжаетъ на сутки къ знакомымъ. Нѣтъ, онъ не собирался. Онъ хотѣлъ провести этотъ день съ Люкой, но разъ она еще ничего не сказала мужу... У него обиженный видъ, будто она очень виновата передъ нимъ. Онъ довольно ждалъ, довольно терпѣлъ. Онъ больше не намѣренъ дѣлать ее съ мужемъ. Онъ теряетъ, распыляетъ свою удачу, отпуская ее къ мужу. Этотъ мужъ обкрадываетъ его. По какому праву? Люка молчитъ. Она не знаетъ что отвѣтить ему. — Даю тебѣ лишній день, но послѣзавтра, въ шесть, ты непременно должна быть у меня. Она киваетъ — непременно. Ей грустно, что онъ уѣзжаетъ, она не смѣетъ попросить его остаться. Она беретъ съ сидѣнья автомобиля его сѣрую перчатку и молча гладитъ ее. Перчатка мягкая, пушистая, какъ лѣсной мохъ. Ей кажется, что перчатка прижимается къ ея ладони. Она незамѣтно прячетъ ее въ карманъ пальто, чтобы не быть такой одинокой завтра. — До

свиданья, сухо говоритъ онъ, останавливая автомобиль у ея дома. — Но если ты послѣзавтра не переѣдешь ко мнѣ со своими вещами... — Я буду у тебя въ шесть, перебиваетъ она. Пожалуйста не сердись. Онъ улыбается своей электрической улыбкой. — Веселись. До послѣзавтра. И онъ уѣзжаетъ, даже не оглянувшись. Она стоитъ на тротуарѣ, сжимая его перчатку въ рукѣ.

Павликъ уже дома, но онъ не ждалъ, не надѣялся, что она вернется такъ рано. Онъ снимаетъ съ нея пальто. Она садится въ кресло, тутъ же, въ прихожей, все еще держа перчатку въ рукахъ.

— Я очень устала, жалуется она. И онъ виновато извиняется. — Это я утомилъ тебя ночью. — Ахъ, нѣтъ, Павликъ, цѣлый день въ студии. Ей вдругъ становится стыдно. Онъ еще извиняется. — Павликъ, завтра праздникъ и мы цѣлый день будемъ вмѣстѣ. Ея голосъ срывается отъ грусти. Это вѣдь ихъ послѣдній день. И завтра она не увидитъ Тьери — ей очень грустно. Но Павликъ бурно радуется. Цѣлый день вмѣстѣ! Онъ беретъ ее на руки, относитъ на диванъ, кладетъ ей подъ голову подушку. — Тебѣ удобно, Люка? Тебѣ хорошо? Нѣтъ, ей совсѣмъ не хорошо, совсѣмъ не удобно, но она киваетъ — Очень.

Тьери уѣхалъ, отъ него осталась только эта мягкая перчатка.

— Посмотри, Павликъ. Я нашла на улицѣ у подъѣзда. Онъ внимательно разглядываетъ перчатку. — Кожа замѣчательно мягкая, дорогая, должно быть. — Да, очень дорогая. Онъ хочетъ примѣрить перчатку, но Люка отнимаетъ ее — Не надѣвай, неизвестно кто носилъ и она прячетъ ее подъ подушку. Ей кажется, что она говорила не о перчаткѣ, а о Тьери, отъ этого становится легче.

— Я сейчасъ отдохну, только немножко полежу и пойдемъ куда хочешь. Но въ этотъ вечеръ больше ни-

куда не идутъ. Люка засыпаетъ и спать долго. Когда она открываетъ глаза, мужъ сидитъ передъ ней и съ непонятнымъ выраженіемъ старческаго умиленія и дѣтскаго любопытства смотритъ на нее. — Больше всего я люблю, когда ты дома, Люка. И когда ты спишь. Она смѣется. Онъ старается объяснить — Ты дома и ты никуда не спѣшишь.

Люка выпалась, она нѣжная и добрая. Жалость, какъ кошка, снова мурлычетъ у нея въ груди. Пусть нечаянно, но она уже доставила мужу удовольствіе своимъ сномъ. И весь завтрашній день долженъ быть праздникомъ и сегодняшній вечеръ тоже.

— Что же мы будемъ ѣсть? Они идутъ на кухню, шарятъ по полкамъ. — Какіе мы богатые, сколько запасовъ удивляется она, и я и не знала. Она отворачивается къ плитѣ, чтобы не видѣть его счастливаго лица. Они вмѣстѣ жарятъ яичницу, открываютъ консервы, накрываютъ на столъ. Гораздо вкуснѣе, чѣмъ въ ресторанѣ, увѣряетъ Люка, хотя ей не вкусно и не хочется ѣсть. — Дома лучше всего, соглашается онъ. Я хотѣлъ бы цѣлую недѣлю не выходить съ тобой изъ дома. Не надо даже стараться, онъ и такъ весель, онъ и такъ радъ. Очень легко, слишкомъ легко сдѣлать его довольнымъ. И всетаки она изо всѣхъ силъ старается, поетъ ему пѣсенку про сороку, говоритъ съ нимъ на полу-дѣтскомъ, выдуманномъ, ихъ собственномъ языкѣ, какъ они говорили въ первые мѣсяцы общей жизни. Это было ея второе дѣтство, начавшееся съ дня ихъ свадьбы. Тогда же онъ подарилъ ей плюшеваго медвѣдя. Безъ этого медвѣдя она никогда не ложилась, онъ всегда спалъ рядомъ съ ней, положивъ голову на подушку. Даже теперь. Впрочемъ теперь его укладывавалъ Павликъ и она, чаще всего, не замѣчала медвѣдя, какъ не замѣчала и мужа. Но сейчасъ они сидятъ всей семьей — мужъ, она и медвѣдь, Тролль и

разговариваютъ на собственномъ языкѣ, совсѣмъ какъ когда-то.

— Ты знаешь, мнѣ кажется, что сегодня Рождество. Когда мнѣ очень хорошо, мнѣ всегда кажется, что Рождество и сейчасъ зажгутъ елку. Люка киваетъ. — Да, конечно, но елки еще нѣтъ. Троль ночью сбѣгаетъ въ лѣсъ и принесетъ елку. Онъ съ благодарностью входитъ въ дѣтскій, сказочный разговоръ.

— Ты, Люка, попроси во снѣ у зайцевъ золотыхъ орѣховъ, пусть не спуются. — Да, но какъ ихъ вынести изъ сна? На границѣ таможенники все отнимаютъ. Но я попробую, только для этого надо скорѣе лечь.

Павликъ, стягиваетъ съ нея чулки. — Больше всего я люблю кормить тебя, купать, укладывать спать. Я хотѣлъ бы, чтобы ты была не моей женой, а дочкой. Она вздыхаетъ. Да, этого и она хотѣла бы. Но она разсудительно говоритъ — Въ двѣнадцать лѣтъ никто не имѣетъ дѣтей. — Я могъ быть на три года старше, ты на три года моложе, вотъ все и устроилось бы. Да, все устроилось бы. И теперь, онъ, ея отецъ, радовался бы, что она дѣлаетъ блестящую партію. Вѣдь Тьері, кромѣ всего еще и „блестящая партія”.

На слѣдующій день они просыпаются поздно. Торопиться некуда — праздникъ, ихъ послѣдній праздникъ, послѣдній день ихъ жизни. Прислуга открываетъ ставни, въ окнахъ праздничное голубое небо. — Если везетъ, то во всемъ везетъ, говоритъ мужъ и Люкѣ кажется, что онъ смѣется надъ ней. Ей такъ грустно, такъ тяжело, она хотѣла бы пролежать весь этотъ послѣдній день, покрывшись съ головой одѣяломъ. Но этотъ день принадлежитъ Павлику и она должна сдѣлать изъ него праздникъ. — Давай одѣваться на пари, — кто быстрѣе. Разъ, два. И она выскакиваетъ изъ кровати. Она спѣшитъ, она смѣется, чтобы скрыть свою грусть. Такой шумной, такой утомительно весе-

дой она никогда не бываетъ. Неужели онъ не видитъ, что она притворяется? Нѣтъ, онъ ничего не видитъ.

Послѣ завтрака они ѣдутъ въ Версаль смотрѣть фонтаны, втроемъ съ Троллемъ. Она старательно править, она молчитъ. На дорогѣ столько машинъ, что можно молчать. Онъ самъ совѣтуетъ: — Не болтай, будь внимательна. Вѣдь она такъ недавно научилась править. Они оставляютъ автомобиль у воротъ парка. — Смотри, чтобы васъ не украли, говоритъ она медвѣдю и, запирая дверцу автомобиля, подмигиваетъ мужу — пусть Троллъ думаетъ, что онъ сторожитъ. Только бы Павликъ не началъ говорить о своей любви, о ихъ будущемъ. Но онъ беретъ ее подъ-руку, онъ шагаетъ съ ней нога въ ногу, онъ говоритъ о фонтанахъ, о деревьяхъ, о томъ, что тепло, какъ лѣтомъ и что праздникъ удался на славу. На славу... Такая давка, такая тоска! Сколько смѣющихся вульгарныхъ лицъ, крикливыхъ дѣтей, уродливыхъ шляпъ. И даже фонтаны противны. Тѣмъ, что слишкомъ чисты и строги, тѣмъ, что прекрасны. Нѣтъ, она больше не можетъ топтаться въ толпѣ. — Уѣдемъ, Павликъ, проситъ она. И онъ, хотя ему здѣсь очень нравится, сейчасъ же соглашается.

Они снова въ машинѣ. И ѣдутъ по темнѣющей дорогѣ. Вотъ незнакомый маленькій городъ. Хочешь пообѣдаемъ здѣсь. Осмотримъ сначала соборъ?—предлагаетъ онъ. — Нѣтъ, что ты?—пугается она. Она чувствуетъ себя какой то безгрѣшной грѣшницей, виноватой безъ вины. Трудно разобраться, но лучше не ходить въ церковь. На площади передъ рестораномъ ярмарка. — Какъ хорошо, ты вѣдь любишь ярмарку, Люка.

Что сейчасъ дѣлаетъ Тьерри? Но о Тьерри нельзя думать. Каждая мысль, каждая минута принадлежитъ Павлику. Послѣдній день. И уже восемь часовъ. И

день почти конченъ. Она пьетъ вино, она смѣется. — Мнѣ такъ весело, Павликъ.

— Когда мы поѣдемъ въ Ниццу, начинается онъ, но о будущемъ она не можетъ слышать. — Какъ хорошо тутъ, Павликъ. А помнишь въ Бордо... Пусть ужъ лучше вспоминаетъ, это не такъ больно. Она открываетъ ему дорогу воспоминаній и онъ, какъ съ горы, катится по ней. — Помнишь? За три года ихъ жизни накопилось столько, чего помнить не стоило, но что онъ запомнилъ, какъ историческія даты.

Она смотритъ въ его лицо. Лампочка на столѣ освѣщаетъ его снизу и она снова видитъ на его лицѣ, поразившее ее вчера выраженіе. И вдругъ она узнаетъ его. Она уже видѣла его. Она видѣла его въ зеркалѣ на своемъ собственномъ лицѣ. Видѣла стоя рядомъ съ Тъери противъ зеркала. Та же смѣсь восторга, и грусти, и страха. Та же робкая, рабская, заячья улыбка. Но неужели Павликъ любить ее такъ сильно, какъ она — Тъери? Сердце снова сжимается. А онъ говоритъ: — Знаешь, Люка, я думалъ, ты никогда не будешь со мной такой, какъ сейчасъ. Я думалъ это уже кончено. И я такъ счастливъ. Вотъ сейчасъ если бы у нея былъ ядъ... Да, совершенно спокойно, безъ угрызений, безъ колебаній. Она беретъ его стаканъ, наливаетъ ему вино. Такъ же она налила бы ему яду. Изъ милосердія, чтобы спасти его. Она чокается съ нимъ. — Выпей Павликъ все, до дна. Она пьетъ. Но вѣдь это вино, это не ядъ. Какъ жаль, что она не можетъ помочь ему ничѣмъ. Даже сейчасъ. Ей вдругъ становится стыдно. Она ошиблась. Такъ не только не лучше, такъ еще хуже, еще болѣе жестоко. Но теперь надо продолжать — праздникъ еще не конченъ, праздникъ долженъ кончиться празднично.

Они возвращаются домой. — Праздникъ продолжается: ея веселость переходитъ въ нѣжность, нѣж-

ность трудно отличить отъ влюбленности. Да, ему можетъ казаться, что она опять влюбилась въ него.

Домой они прїѣзжаютъ усталые, немного пьяные. Она не заснетъ первая. Пусть праздникъ продолжается, сколько захочетъ Павликъ. Завтра все равно настанетъ слишкомъ рано.

Она ложится. — Потуши свѣтъ, говоритъ она. Она обнимаетъ его, она тайкомъ вытираетъ мокрая отъ слезъ щеки. Только бы онъ не замѣтилъ. Но онъ ничего не замѣчаетъ, онъ счастливъ. Она не можетъ сдержатъ вздоха, но онъ не удивляется, онъ думаетъ, что это отъ счастья. Она прижимается къ нему съ безнадёжною нѣжностью, она цѣпляется за него, будто ее хотятъ оторвать отъ него. Такъ обнимаются на тонущемъ кораблѣ, такъ прощаются съ приговореннымъ. Но онъ ничего не замѣчаетъ. Онъ говоритъ въ темнотѣ надъ самымъ ея ухомъ: — Я такъ счастливъ, что хотѣлъ бы умереть.

— Павликъ, вскрикиваетъ она, Павликъ! Сейчасъ она все скажетъ ему. Она не можетъ больше молчать... Нѣтъ, лучше потомъ, завтра... Горе и такъ всегда приходитъ слишкомъ рано. Пусть онъ будетъ счастливъ эту послѣднюю ночь.

Люка открываетъ глаза и сразу вспоминаетъ все. Не когда нибудь, не гдѣ-нибудь, не завтра, а здѣсь и сейчасъ она скажетъ мужу. Нельзя ни откладывать, ни прятаться за жалость. Она поворачиваетъ голову — Павликъ! Но постель пуста, онъ уже въ ванной. — Павликъ! громко зоветъ она. Дверь отворяется, входитъ горничная. — Павелъ Николаевичъ не велѣлъ васъ будить, объясняетъ она.

— Какъ? Ушелъ? — Павелъ Николаевичъ просилъ вамъ передать, что не будетъ завтракать и вернется къ семи. — Къ семи? Что же теперь дѣлать? Онъ уѣхалъ, а въ шесть она должна быть у Тъери. Она снова опу-

скаетъ голову на подушку и закрываетъ глаза. Изъ закрытыхъ глазъ текутъ слезы. Она даже не вытираетъ ихъ — ей все равно, пусть прислуга видитъ. Объясненія не будетъ. — Который часъ? — Четверть перваго. Надо одѣваться, укладываться. — Принесите, пожалуйста, чемоданъ. Она плачетъ. Она плача открываетъ шкафъ, бросаетъ платья и бѣлье на диванъ. Всѣ эти тряпки, казавшіяся ей, когда-то, необходимыми... А теперь она оставитъ ихъ здѣсь, всѣ, кромѣ новыхъ, купленныхъ на собственныя шалыя деньги и бѣлаго платья, въ которомъ она встрѣтилась съ Тьері.

Прислуга упаковываетъ чемоданъ. — Вы надолго уѣзжаете, Людмила Алексѣевна? Она киваетъ — слезы все еще текутъ по ея лицу и мѣшаютъ говорить. — Павелъ Николаевичъ будетъ очень скучать.

— Это пальто возьмите себѣ и шляпу тоже. Люка вытираетъ глаза — И вообще все, что вамъ подойдетъ. Горничная благодаритъ ее почти испуганно, безо всякой радости. Люка обходитъ квартиру. Вотъ тутъ она жила три года. Ей совѣмъ не жалко уѣзжать, она ни къ чему не привязана здѣсь и ничто, она это ясно чувствуетъ, не привязано къ ней. Ни кресло, ни столъ, ни диванъ. И стѣны не любятъ ее и коверъ радъ, что она больше не будетъ топтать его. Зеркала и тѣ враждебные, туманные, холодные. И какой жалкой, какой некрасивой, съ красными глазами отражаютъ они ее. Будто на зло въ послѣдній разъ. Они всѣ на сторонѣ Павлика, они его друзья и прислуга тоже. И они, конечно, правы. Противъ нее, за Павлика. Вѣдь она сама за Павлика, противъ себя. Но что же ей дѣлать? Что дѣлать? Поскорѣе уйти отсюда. Другого отвѣта нѣтъ. Прощайте, говоритъ она и гладитъ стулья, трогаетъ занавѣски на окнахъ. — Мы всетаки жили такъ долго вмѣстѣ и за то спасибо. Прощай, прощай звенить въ воздухъ. Солнечный столбъ полосой перечеркиваетъ комнату, перечеркиваетъ прошлое. Въ немъ, въ этомъ

пыльномъ свѣтѣ свѣтится и трепещеть вся боль разставанія. Пора, пора.

Она идетъ въ спальню, беретъ медвѣдя съ кровати и сажаетъ его на шляпную коробку — Ты поѣдешь со мной. Прислуга уже уложила вещи. Она стоитъ грустная надъ чемоданомъ, опершись головой на руку въ классической бабьей позѣ. Весь парижскій лоскъ сразу сошелъ съ нея отъ горя. — Барыня... не Людмила Алексѣевна по имени-отчеству, какъ всегда называла, и это приниженное, жалобное „барыня” звучитъ, какъ мольба. Она смотритъ на нее мигающими, понимающими бабьими глазами — Неужели вы совсѣмъ, барыня?... Люка обрываетъ ее — Снесите вещи въ автомобиль.

Надо еще написать Павлику. Сколько разъ она мысленно повторяла объясненіе съ нимъ, а теперь надо писать. Но что можно сказать въ письмѣ?

„Прости меня, Павликъ. Я не могу иначе”. Такъ, кажется, пишутъ самоубійцы, значитъ подходит. Она задумывается. Слезы падаютъ на бумагу, чернила расплываются. Все равно. „Я была тебѣ плохой женой, Ты всегда былъ слишкомъ добръ. Спасибо тебѣ. Прости меня”.

Но развѣ дѣло въ прощеніи и въ ней? Дѣло въ немъ, чтобы онъ пережилъ, чтобы онъ не былъ слишкомъ несчастнымъ, если переживетъ. Но какъ это напишешь? „Я оставляю тебѣ Тролля. Береги его”. „Береги” это значитъ живи для плюшеваго медвѣдя. Медвѣдь, можетъ быть, хоть немного утѣшитъ его. Ей утѣшенія не надо, вѣдь она будетъ счастлива. Она открываетъ чемоданъ, достаетъ уже уложеннаго съ платьями медвѣдя, цѣлуетъ его въ мягкую, пахнущую ванилью, морду, усаживаетъ на столъ рядомъ съ письмомъ. — Береги Павлика. Прощай Тролля.

Она надѣваетъ дорожное пальто, и, сутулясь отъ тоски, тихо выходитъ въ прихожую. Вотъ сейчасъ она

перешагнетъ порогъ своего дома въ послѣдній разъ. Она останавливается. Она когда то уже видѣла все это — и раскрытый шкафъ, и груды платьевъ на постели и себя, уходящую изъ дому. Она видѣла все это годъ назадъ и только забыла тогда. Она сидѣла у окна и читала книгу. Ей не было ни весело, ни грустно, только немного скучно, привычной уютной скукой. Она сидѣла въ сумеркахъ у окна и читала. Спальня была убрана, все было въ порядкѣ — уборщица только-что ушла. Дверь въ прихожую осталась открытой. День былъ совсѣмъ обыкновенный и книга была совсѣмъ обыкновенной. Люка долго читала, потомъ равнодушно подняла голову и вдругъ увидѣла, да, ясно увидѣла неприбранную постель, разбросанныя платья, чемоданъ на полу и себя плачущую, уходящую... Съ этимъ самымъ несчастнымъ жалкимъ лицомъ, въ этомъ самомъ незнакомомъ дорожномъ пальто. И совсѣмъ, какъ сейчасъ, она остановилась, беспомощно оглянулась, открыла входную дверь и вышла. Но тогда дверь не хлопнула, тогда была тишина.

Люка спускается по лѣстницѣ. Когда Павликъ будетъ спускаться по этой лѣстницѣ, онъ уже будетъ знать.

Тъери спитъ съ широко открытыми окнами. Онъ такъ привыкъ и Люка не спорить, хотя привыкла спать въ темной, теплой спальнѣ. Она просыпается утромъ отъ свѣта, холода и счастья. Конечно, больше отъ счастья, чѣмъ отъ холода и свѣта, но въ комнатѣ все-таки очень свѣтло, очень холодно. Она просыпается и видитъ рядомъ на подушкѣ черную голову Тъери. За ночь его волосы, такъ гладко причесанные днемъ, закручиваются волнами аккуратно и правильно, будто ихъ завиваль парикмахерь. Люка смотритъ на него прищурясь, какъ смотрятъ на солнце и снова закрываетъ глаза. Она лежитъ съ закрытыми глазами. Она вспоминаетъ, переживаетъ все. Она помнитъ каждый день, каждый часъ во всѣхъ мелочахъ, во всѣхъ подробностяхъ. Не только все что они дѣлали, что говорили, что она чувствовала, думала, но и какое было небо, который былъ часъ, было ли холодно или тепло, какой на Тъери былъ галстукъ.

Весь окружающій міръ, котораго она почти не замѣчала въ томительные мѣсяцы влюбленности, снова сталъ теперь, какъ фонъ, участвовать въ ея счастья. Это была полнота жизни, — погода, природа, вещи, люди, — все и всѣ участвовали въ ней. Каждая мелочь, каждая подробность имѣла свое особое значеніе, еще увеличивающее, углубляющее счастье. Это уже не было мучительное, тревожное, изводящее ощущение жизни, это была гармонія счастья и жизни. Любовь ко всему міру, какъ тепло, исходящее изъ ея рукъ,

любовь міра къ ней, какъ свѣтъ, ложившійся на ея сердце. Любовь, дружба, родство со всѣмъ міромъ, всѣми людьми, животными, вещами. Особенная нѣжная внимательность. Она брала предметы, какъ будто гладила ихъ. Улыбалась людямъ, какъ будто, желала имъ удачи или утѣшала ихъ.

Она еще не привыкла къ счастью за эти два мѣсяца. Тьері тутъ, рядомъ съ ней. Стоитъ протянуть руку и она дотронется до него, до его теплой щеки. Онъ всегда, всегда рядомъ, онъ крѣпко обнимаетъ ее во снѣ и ей неудобно, но она не смѣетъ пошевелиться, ноги ея затекаютъ, боль заставляетъ ее помнить, что онъ здѣсь, рядомъ. Никогда не надо прощаться съ нимъ, даже на часъ. Ей не приходится говорить „до свиданья“. Они вмѣстѣ спятъ, вмѣстѣ ѣдутъ въ студию, проводятъ вмѣстѣ вечера.

Онъ беретъ ее съ собой даже въ контору. Она сидитъ рядомъ съ нимъ, когда онъ пишетъ, когда онъ ведетъ переговоры. Цѣпь, связывающая влюбленныхъ, какъ каторжанъ, нисколько не тяготитъ его. Напротивъ онъ старается еще укоротить ее, такъ, чтобы нельзя было сдѣлать шага другъ безъ друга.

Люка боязливо слѣдитъ за нимъ — не утомляетъ ли она его, не хочетъ ли онъ побыть одинъ. Нѣтъ, стоитъ ей выйти изъ комнаты, какъ онъ зоветъ ее. Онъ хочетъ быть съ ней всегда и какъ можно больше, какъ можно ближе. — Оттого, что ты приносишь мнѣ удачу, объясняетъ онъ, — съ тобой во всемъ везетъ. Вотъ кончимъ крутить, поѣдемъ въ Монте-Карло и я сорву банкъ. — Съ тобой везетъ, повторяетъ онъ по десять разъ въ день. — Безъ тебя я боялся, что картина провалится, но теперь я увѣренъ въ успѣхѣ. Я совсѣмъ спокоенъ. Онъ гладитъ ея волосы, закладываетъ ихъ ей за уши. — Знаешь мнѣ было очень тяжело безъ тебя. Я только теперь это хорошенько понялъ. Я никого никогда не любилъ. Только энергія и честолюбіе.

Прежде Тьері говорилъ мало. Короткими отрывочными фразами. И всегда не о себѣ. О ней, о работѣ въ студіи, о ѣдѣ, о ѣздѣ. Всегда о постороннемъ, о внѣшнемъ. Тогда и она была для него посторонней. А теперь онъ говорить часами „обо мнѣ“, о „насъ“, съ трудомъ объясняя съ непривычки не находя нужныхъ словъ, нужныхъ мыслей, путаясь и смущаясь. Но она все понимаетъ. Она слушаетъ и слова его легко и плавно, навсегда входятъ въ ея память. — Я, какъ будто воевѣ не существовалъ. Она вздрагиваетъ. — Не существовалъ. Вѣдь и ей иногда казалось это. И опять онъ говорить, объясняетъ ей — Я всегда зналъ, что для того, чтобы жить, надо любить. И я начинаю любить тебя. Онъ смотритъ ей въ глаза, онъ гладитъ ея лобъ, ея щеки. — Ты такая молодая, такая настоящая, не выдуманная. Знаешь, я всегда сознаю смертность людей, даже молодыхъ и очень здоровыхъ. Я думаю — а вѣдь онъ умретъ и эта его будущая смерть, какъ тѣнь, ложится на него и вотъ человекъ уже какъ будто не весь, а калѣка, будто онъ потерялъ ногу или руку, и я уже не могу имъ любоваться. Эта его будущая смерть, какъ уродство, проступаетъ сквозь молодость, красоту, здоровье. Но ты... Я не могу, какъ ни стараюсь, вообразить себѣ, что ты умрешь. Я не могу даже представить себѣ тебя больной. Ты болѣла когда нибудь? Она качаетъ головой — Нѣтъ, не помню. Кажется никогда. Его рука сжимаетъ ея плечо — Знаешь, я не вѣрю даже, что кто нибудь кто связанъ съ тобой можетъ умереть.

Его лицо блѣднѣетъ, его свѣтлые, свѣтящіеся глаза гаснутъ, нижняя губа слегка отвисаетъ. — Тьері, зоветь она громко, будто онъ уснулъ, будто онъ ушелъ, будто онъ не рядомъ съ ней. Но его рука нѣжно и крѣпко сжимаетъ ея шею.— Я никогда никому не говорилъ этого. Но тебѣ я все могу сказать. Ты не только моя удача, говорить онъ совѣмъ тихо, будто довѣряя ей

тайну, ты моя жизнь, ты моя защита отъ смерти. Съ тобой мнѣ не страшно.

Да, она необходима ему, онъ держится за нее. Онъ говоритъ „мы никогда не разстанемся“. Она счастлива. Она не боится даже, что ему перестанетъ „везти“ съ ней. Разъ онъ вѣритъ, что она приноситъ ему удачу, значитъ она дѣйствительно приноситъ удачу. Она такъ счастлива, что не можетъ не приносить счастья.

— Только люби меня, повторяетъ онъ и каждый вечеръ рассказываетъ о своей любви, какъ о чемъ то постороннемъ. — Знаешь, она еще немного выросла, скоро я буду совсѣмъ по настоящему любить тебя. Больше себя.

— А женщины? Вѣдь у него было такъ много женщинъ. Ей рассказывали. Какія женщины? Онъ не помнить ни объ одной изъ нихъ. — Только избытокъ энергіи и честолюбіе, борьба и побѣда, объясняетъ онъ и она не смѣетъ настаивать, спрашивать.

Тьері просыпается. Онъ проводитъ рукой по волосамъ и вотъ онъ уже причесанъ. Онъ приподнимается, свѣтлые блестящіе глаза смотрятъ въ глаза Люкѣ.— Я чудно выпался. Нельзя повѣрить, что минуту тому назадъ, онъ еще спалъ. Ничего мятаго, заспаннаго, лѣниваго. Онъ откидываетъ одѣяло и вотъ онъ уже стоитъ въ своей бѣлой шелковой, разутюженной пижамѣ — ни складочки, ни морщинки,— веселый, бодрый, какъ послѣ душа. Такъ просыпаются, такъ встаютъ на сценѣ, а не въ жизни.

Тьері смѣется отрывочнымъ, рѣзкимъ смѣхомъ. Прежде она не слышала, какъ онъ смѣется. Ей не нравится его смѣхъ, но разъ онъ смѣется, значитъ ему весело. И она отвѣчаетъ на его смѣхъ широкимъ, легкимъ, неестественнымъ смѣхомъ. Ей совсѣмъ не хочется смѣяться, ей никогда не хочется смѣяться теперь.

Она часто улыбается. Ей иногда хочется плакать не отъ грусти, а отъ волненія, оттого, что нельзя вынести такого счастья, не заплакавъ. Но смѣяться ей никогда не хочется и ничто не кажется ей смѣшнымъ. Смѣшного, какъ мелкаго, безобразнаго, скучнаго она просто не замѣчаетъ теперь. Оно не доходитъ до ея сознанія.

Они идутъ въ ванную вмѣстѣ. Люка садится на плетеное кресло и смотритъ на Тъери. Онъ сбрасываетъ бѣлую шелковую куртку, онъ бреется. Мыльная пѣна покрываетъ его щеки и подбородокъ, какъ сѣдая борода. Онъ будетъ старый, сѣдой, съ бѣлой бородой и они все еще будутъ вмѣстѣ, будутъ такъ же любить другъ друга. Ей, которая такъ цѣнитъ каждую минуту ихъ жизни, вдругъ страстно хочется, чтобы эта жизнь, эта молодость уже прошла, чтобы они были старые и огромная часть жизни и счастья была бы позади. Она смотритъ на его крѣпкую шею, на его сильныя руки, на его мускулистую спину. Онъ уже побрился и стеръ пѣну съ лица. Нѣтъ, нѣтъ, пусть онъ будетъ молодымъ, какъ можно дольше молодымъ. Тъери открываетъ кранъ, становится подъ душъ. Душъ, какъ дождь. Она вспоминаетъ звѣриное наслажденіе отъ дождя въ ту первую ночь, когда онъ сказалъ „ты должна быть моею женою“. Она встаетъ, она подходитъ къ нему и сквозь дождь душа цѣлуетъ его плечо.

Они вмѣстѣ одѣваются, вмѣстѣ пьютъ кофе, вмѣстѣ выходятъ изъ дому. Металлическій зеркальный лифтъ стремительно уноситъ ихъ внизъ. Ея взволнованное, взвинченное, переполненное сознаніе камнемъ падаетъ въ пролетъ лифта. Но мягкая увѣренность, какъ сѣтка, подхватываетъ его. Нѣтъ, совсѣмъ не страшно уходить. Сегодня вечеромъ они снова вернутся сюда обратно, и ничто не можетъ помѣшать этому.

День проходитъ въ студіи, въ работѣ, въ суетѣ. Но вѣдь Тъери здѣсь, рядомъ. Она видитъ, она слы-

шить его. И скоро все это кончится и они поѣдутъ домой. Скоро, сейчасъ, уже кончилось. Они ѣдутъ по бульварамъ въ его автомобилѣ. Она прижимается къ его плечу. Онъ усталъ, не надо говорить. И о чемъ говорить? Развѣ и такъ не все понятно?

Они снова поднимаются въ лифтѣ. И лифтѣ, какъ другъ жужжить: А что я говорилъ? Вѣдь вернулись. И теперь уже до утра. День прошелъ. Они одни. Ничего уже не случится до утра, кромѣ радости. На письменномъ столѣ большая ваза съ бѣлыми тюльпанами — цвѣтами, которые любитъ Тъери. Люка задергиваетъ шторы. Уже темно, уже вечеръ, а когда шторы задернуты, совсѣмъ похоже на ночь. Люка проситъ — Пожалуйста не пойдемъ никуда, будемъ обѣдать дома. И Тъери, хотя онъ этого и не любитъ, соглашается. — Только закажи обѣдъ повкуснѣе. Она звонитъ въ ресторанный, долго составляетъ меню. Тъери, конечно, совершенно безразлично, что ѣсть. Это она знаетъ давно. Но онъ почему-то притворяется гастрономомъ. Это входитъ въ программу его поведения — интересоваться и говорить о ѣдѣ, даже о приготовленіи нѣкоторыхъ блюдъ, объ автомобиляхъ, о скачкахъ, никогда не бывать въ Оперѣ, не читать ни одной книги, дѣлать видъ, что любитъ живопись.

Лакей затапливаетъ каминъ. Хотя въ комнатѣ и тепло, но Тъери любитъ смотрѣть въ огонь. Люка съ наслажденіемъ переодѣвается юнгой — вѣдь это значить, что она дома, что больше никуда идти не надо. — Я хотѣла бы недѣлю не выходить изъ дому, кричить она Тъери изъ ванной. Гдѣ она слышала эту самую фразу? Ахъ да, это говорилъ Павликъ въ ихъ предпоследній день. Но о Павликѣ вспоминать нельзя. Ему, какъ всему грустному, неприятному, нѣтъ мѣста въ ея жизни, въ ея памяти. Потомъ, когданибудь, не сейчасъ она вспомнить, она разберется въ воспоминаніяхъ. Она пожалѣетъ Павлика.

Она вбѣгаетъ въ кабинетъ. Тьері сидитъ въ креслѣ, протянувъ длинныя ноги къ огню. Она садится на коверъ у его ногъ. — Какъ у насъ хорошо, Тьері. — Очень, говоритъ онъ съ отсутствующимъ лицомъ и, черезъ минуту, улыбается своей свѣтящейся улыбкой. Это отъ усталости. Она знаетъ что когда онъ устанетъ или волнуется, выраженіе его лица не совпадаетъ съ его словами, слова спѣшатъ, лицо опаздываетъ. Люка нѣжно кладетъ руку на его колѣно — Ты усталъ Тьері. — И онъ, все еще сіяя улыбкой, отвѣчаетъ. — Да. Очень. За два года ни дня отдыха. Улыбка гаснетъ, и онъ продолжаетъ — Какъ я радъ, что конецъ фильма будемъ крутить въ Венеціи. Мы останемся тамъ на двѣ недѣли и отдохнемъ. Лицо его устало и грустно, но это выраженіе усталости относится къ его прежней фразѣ — За два года ни дня отдыха — и, замолчавъ онъ снова улыбается. Запоздавшая улыбка въ честь Венеціи.

Венеція. Въ счастливой жизни Люки, гдѣ все такъ хорошо, что даже мечтать не о чемъ, Венеція все таки сіяющая цѣль, къ которой все таки летятъ желанія. Оттого, что она съ дѣтства знала, что въ Венеціи нельзя не быть счастливой (...свадебное путешествіе ея матери, преувеличенно романтическіе восторги и воспоминанія), оттого главное, что въ Венеціи, когда будетъ окончена картина, они останутся еще одни на цѣлыхъ двѣ недѣли, а потомъ на автомобилѣ не торопясь вернутся домой.

Они обѣдаютъ и Тьері доволенъ. Отъ вина, отъ усталости, отъ камина, счастье еще увеличивается, заполняетъ и вытѣсняетъ всѣ другія мысли, всѣ чувства. Люкѣ кажется, что если бы сейчасъ она упала и разбила себѣ колѣно или порѣзала руку, она даже не почувствовала бы. Она ничего не можетъ чувствовать, кромѣ счастья. Ничего вообще нѣтъ, кромѣ счастья. И ея, Люки тоже нѣтъ. Ея мѣсто заняло счастье. Она

смотреть на себя въ зеркало. Это у счастья такіе завитые свѣтлые волосы и свѣтлые прозрачные глаза и накрашенныя губы. — Оно кажется немного пьяное, это счастье? Но это ему ничуть не мѣшаетъ слышать все что говорить Тъери.

— Я хочу имѣть сына, говоритъ Тъери. — Я сегодня весь день думалъ объ этомъ. Я хочу имѣть сына отъ тебя. Я никогда не могъ подумать ни объ одной женщинѣ, какъ о матери моего сына — для этого онѣ всѣ не годились. Но ты именно такая, именно та. Сына? Люка всегда больше всего на свѣтѣ боялась ребенка. Больше тифа, больше бѣдности, больше пожара. Но онѣ говоритъ о своемъ желаніи имѣть сына и она слушаетъ. — Ты понимаешь, это утвержденіе и продолженіе себя — безсмертіе. Нѣтъ, она не понимаетъ — ей не надо утверждать себя черезъ ребенка, это уже сдѣлало счастье и безсмертіе уже тоже достигнуто счастьемъ. Но она не споритъ съ Тъери. Она слушаетъ. — Я хочу, чтобы мой сынъ былъ очень похожъ на меня, но чтобы онѣ былъ такой же живой и настоящей, какъ ты, чтобы у него была твоя веселость и твоя удача.

Отъ жары одинѣ изъ бѣлыхъ лепестковъ тюльпана отрывается и падаетъ на скатерть. Онѣ падаетъ съ легкимъ шорохомъ утвержденія будто отвѣтъ — Да. Да, она согласна. Она смотритъ на оторвавшійся бѣлый лепестокъ и чувствуетъ, что она не только согласна, что она давно сама желала этого. Она встаетъ, она молча подходитъ къ Тъери и видитъ — глаза Тъери сіяютъ совсѣмъ особымъ слѣпымъ, стекляннымъ блескомъ, оттого, что въ нихъ стоятъ слезы.

Теперь они лежатъ на диванѣ и она, закинувъ голову, смотритъ вверхъ, какъ смотрятъ въ небо, въ его голубые глаза. Мучительное ожиданіе блаженства, которое трудно вынести, тоски, которой нельзя вынести, уже сдавливаетъ ея сердце. Вотъ сейчасъ, сей-

часть. Блаженство, какъ огонь обжигаетъ ея лицо. Она кричитъ, но крикъ ея, начавшійся высоко на восторгѣ, чтобы сорваться въ тоску, обрывается. Они лежатъ на диванѣ тѣсно обнявшись. Впервые обнявшись и вмѣстѣ, а не каждый самъ по себѣ, какъ всегда „послѣ”. Тъери не самъ по себѣ, отчужденный, почти враждебный, какъ всегда „послѣ”. Пусть только одну минуту — враждебный, пока не закуритъ папиросу, пока не посмотритъ на часы, пока вздохнувъ, удобнѣе не уляжется рядомъ. Пусть только одну минуту — но такой враждебный, чужой. И эта отчужденность, эта враждебность, это одиночество всегда — расплата. Но сейчасъ расплаты нѣтъ. Блаженство продолжается. Оно уже не можетъ кончиться крикомъ, спазмой. Оно требуетъ продолженія, того, что сильнѣе этого блаженства, того, для чего оно только средство. Ея тѣло напряженно, жадно, нетерпѣливо, требуетъ тяжести, ждетъ уродства, проситъ боли. Тяжести, уродства, боли — всего, что она такъ боялась — материнства.

Она поднимаетъ голову и губами касается его теплой руки и ей кажется, что она цѣлуетъ не его, а свою руку, что граница между нимъ и ей исчезла.

Тъери наклоняется надъ ней такъ низко, что она уже не видитъ его глазъ. — Какъ будто въ первый разъ, тихо говоритъ онъ и цѣлуетъ ее въ шею, около уха. Онъ кладетъ голову на ея плечо, она чувствуетъ его теплое дыханье. „Какъ будто въ первый разъ”. Да, въ первый разъ. Она никогда еще не слышала этого магическаго, преображающаго міръ сочетанія словъ, сказанныхъ измѣнившимся, тихимъ голосомъ Тъери. — Какъ будто въ первый разъ.

И міръ дѣйствительно преображается, становится воздушнымъ, тихимъ и нѣжнымъ. Главное нѣжнымъ, нѣжнымъ, нѣжнымъ. Она тонетъ, таетъ, растворяется въ этой нѣжности. — Тъери, вздыхаетъ она, зовя его на помощь, но отвѣта нѣтъ. Она приподнимается на

локть, чтобы посмотреть на него. Онъ лежитъ съ закрытыми глазами. Онъ улыбается. Чуть-чуть. Не своей обычной электрической улыбкой — сияніемъ зубовъ и глазъ, а притушенно, одними уголками губъ, почти грустно. Почти грустно и совсѣмъ счастливо. Такимъ грустнымъ, нѣжнымъ и тихимъ она еще никогда не видѣла его. Онъ открываетъ глаза и, потянувшись къ ней, цѣлуетъ ее въ щеку легко, безо всякой страсти и настойчивости, какъ цѣлуютъ дѣти.

— Теперь я люблю тебя совсѣмъ, говоритъ онъ шепотомъ, будто довѣряя ей тайну.

Она протягиваетъ руку и тушитъ лампу, чтобы слышать его голосъ въ нѣжной темнотѣ вдругъ наступившей нѣжной ночи.— Теперь совсѣмъ. Онъ довѣрчиво прижимается къ ней.— Теперь мы съ тобой одно. Ты — это я и я -- это ты. Люка вздрагиваетъ. Неужели это онъ говоритъ, а не она? Вѣдь она только-что думала то же самое. И значить это правда. Они дѣйствительно одно и то же. Она молча гладитъ его волосы, вьющіеся, мягкіе, какъ у ребенка. Да, онъ сейчасъ напоминаетъ ей ребенка, такой довѣрчивый, теплый, откровенный.

— Расскажи, какой ты былъ маленькій, просить она. И онъ не удивленъ. Онъ какъ будто ждалъ этой просьбы, самъ хотѣлъ рассказать о своемъ дѣтствѣ. Она раньше не смѣла спросить, но это именно то, о чемъ они должны поговорить. — Вѣдь все начинается съ дѣтства и такъ трудно вырости изъ него, отдѣлаться, вылечиться отъ него.

— Ты былъ счастливымъ мальчикомъ? Но онъ молчитъ, значить онъ не былъ счастливымъ. Она спрашиваетъ прерывающимся отъ жалости голосомъ: — Неужели ты въ дѣтствѣ былъ несчастнымъ?

— Нѣтъ, я не былъ несчастенъ. Если бы несчастье. Но было хуже, гораздо хуже. Онъ останавливается. Онъ вздыхаетъ, она чувствуетъ его вздохъ на своей

щекѣ. — Я еще никогда никому не говорилъ, какъ плохо мнѣ было въ дѣтствѣ. Знаешь, я стыдился. Стыдился своего отца. Онъ былъ парикмахеръ. — Но что же тутъ стыднаго? не понимаетъ Люка. — Да, парикмахеръ, объясняетъ Тъери. Такой типичный, съ завитымъ кокомъ и гребешкомъ за ухомъ. Съ отвратительной профессиональной красотой и любезностью. Добродушный, надушенный, веселый. Я его ненавиждѣлъ. Я могъ бы его зарѣзать его же собственной бритвой. У него была большая дамская и мужская парикмахерская. Онъ былъ состоятельный, уважаемый человекъ. Учителя въ школѣ говорили мнѣ — „Кланяйтесь вашему отцу. Я завтра приду къ нему стричься“. Я кусалъ себѣ руки отъ злости. Я ни съ кѣмъ не дружилъ, я стыдился товарищей, а они считали меня гордымъ. Я былъ озлобленъ, меня мучилъ позоръ. Я предпочелъ бы быть сыномъ палача или убійцы. Когда мнѣ исполнилось шестнадцать лѣтъ, я удралъ въ Парижъ съ пятьюдесятью франками и больше никогда не возвращался домой.

Люка слушаетъ. О, какой странный, какой странный. Она не понимаетъ. Но отъ непонятности, отъ странности, Тъери ей еще ближе. — Бѣдный, бѣдный, бѣдный. Она цѣлуетъ его, жмурясь отъ жалости. — И ты никого не любилъ? Даже мать? — Только не ее. Она была околдована своимъ парикмахеромъ, она была его рабой. Она говорила мнѣ — Ты будешь такимъ же красивымъ и умнымъ, какъ твой отецъ. Я ее презиралъ. Они оба были мучительно добры ко мнѣ. Вѣдь я былъ ихъ сыномъ, наследникомъ ихъ парикмахерской. Они гордились мной, какъ парикмахерской, какъ другъ другомъ, какъ всѣмъ, что имъ принадлежало. Они никогда не бранили меня. Я часто уходилъ на всю ночь и они не знали гдѣ я. Я прятался въ лѣсу. Я садился подъ дерево, я давалъ себѣ слово, что не сдвинусь съ мѣста до утра. Мнѣ было очень

страшно. Въ лѣсу жили кабаны и олени. Они иногда выбѣгали на меня. И филины кричали. Я зажигалъ костерь и грѣлся у огня. Я боялся кабановъ и разбойниковъ, темноты и ночного шума лѣса. И всетаки эти ночи въ лѣсу было единственное, что я любилъ.

Онъ поворачиваетъ голову къ камину. — Знаешь, я такъ люблю огонь оттого, что онъ напоминаетъ мнѣ мои костры въ лѣсу. Да, всегда, въ особенности сейчасъ. Этотъ гаснущій каминь, какъ мой костерь. Какъ будто мы съ тобой въ лѣсу, въ моемъ лѣсу. Люкѣ тоже начинаетъ казаться, что они лежатъ ночью подъ деревомъ обнявшись, какъ усталые дѣти. Она легко, какъ когда-то съ Павликомъ, входитъ въ игру.

— Кончено, мы съ тобой въ лѣсу, Тьери. Слышишь какъ шумитъ вѣтеръ? Видишь тамъ, за кустомъ что-то шевелится. Это волки — Ты не боишься?

— Нѣтъ, я не боюсь. Я ничего не боюсь съ тобой. Съ тобой мнѣ никогда не страшно. Ты моя тоненькая, бѣленькая дѣвочка. Ты умѣешь заклинать и деревья, и молнію, и звѣрей, чтобы они не дѣлали намъ зла.

— Да, правда, отвѣчаетъ она въ тонъ ему. Когда я зову звѣрей, они бѣгутъ ко мнѣ и ласкаются — и олени, и кабаны, и волки и даже зайцы, хотя они такіе трусы зайцы. Я ихъ глажу. Но тебя, Тьери, они дичатся еще.

Они лежатъ въ темнотѣ и обнявшись, смотрятъ въ огонь. Они шопотомъ, дѣтскими голосами говорятъ о кострѣ, о звѣряхъ, о врагахъ звѣрей — охотникахъ, о врагахъ людей — разбойникахъ. Довѣрчиво, наивно, какъ въ дѣтствѣ, какъ играющіе въ дѣтство любовники на минуту дѣйствительно ставшіе дѣтьми. И это дѣйствительно лѣсъ, это дѣйствительно дѣтство. Ихъ общее дѣтство съ Тьери.

И вдругъ въ ихъ лѣсъ, въ ихъ дѣтство врывается телефонный звонокъ. Звонокъ изъ взрослога, враждеб-

наго міра. Страшный,— страшнѣе, чѣмъ рога охотниковъ, чѣмъ лай гончихъ, чѣмъ выстрѣлы разбойниковъ. И Тьері уже съ механической покорностью вскакиваетъ.

Люка тянетъ его за рукавъ — Не надо, оставь. Но онъ уже снимаетъ трубку и враждебный, чужой міръ уже бѣжитъ по телефонному проводу, доносясь хриплымъ щелканьемъ до Люки. Тьері говоритъ:

— Ничего. Хотѣли уже спать. Но съ удовольствіемъ. Кто еще съ вами? Люка тоже встаетъ, подходитъ къ нему. — Не надо, не пойдѣмъ, шепчетъ она, дергая его за рукавъ, но онъ не слушаетъ.

— Черезъ полчаса. До свиданья — онъ вѣшаетъ трубку и оборачивается къ ней. — Одѣвайся скорѣй. Сейчасъ очень кстати послушать цыганъ, выпить шампанскаго. Правда? — Нѣтъ, не правда,— но она не споритъ. Она такъ потрясена блаженствомъ, она какъ послѣ землетрясенія, плохо держится на ногахъ, она чувствуетъ себя такой незащищенной, она просто не въ состояніи сейчасъ сѣсть въ автомобиль, войти въ ресторанъ, увидѣть людей. Но одѣваться всетаки надо и она открываетъ шкафъ. Она такъ слаба, мягка, ей трудно держаться на ногахъ, будто изъ нея вынули позвоночный столбъ, ей хотѣлось бы свернуться клубкомъ, шарикомъ на коврѣ. Она выбираетъ платье. Нѣтъ, не это, воздушное, тюлевое. Оно своей легкостью отниметъ ея послѣднія силы. Она достаетъ изъ шкафа бѣлое, длинное, твердое, холодное платье. Въ этой холодной бѣлизнѣ, въ этой мраморной твердости можно скорѣе найти поддержку. Она надѣваетъ его, застегиваетъ узкій лифъ. Отъ узости лифа, отъ кушака стягивающаго талію она чувствуетъ себя немного крѣпче. Хорошо было женщинамъ, носившимъ корсеты. На корсетъ можно было опереться, это была не только тѣлесная, но и душевная опора. А теперь опереться не на что. Она смотритъ на себя въ зеркало. У этого

бѣлаго платья такъ рѣзко нарушены пропорціи, соотношеніе между слишкомъ короткимъ, почти отсутствующимъ верхомъ и низомъ въ тяжелыхъ складкахъ до полу — еще увеличиваетъ ея смятеніе, ея тревогу. Чтобы не видѣть себя такой искаженной, негармоничной, она накидываетъ длинную красную накидку. И накидка, понемногу, приводитъ все въ порядокъ. Подъ ея краснымъ бархатомъ голыя восхищенныя руки, голыя восхищенныя плечи, голая взбаломученная душа перестаютъ вздрагивать, отъ слишкомъ остраго блаженства, отъ слишкомъ блаженного смятенія. Она смотритъ на себя. Увѣренность въ себѣ и своей судьбѣ понемногу возвращаются къ ней. Она вытягивается, поднимаетъ голову. Теперь дѣйствительно можно сказать — Я готова. — Ты готова? спрашиваетъ Тьерри изъ кабинета и она, крѣпче запахнувъ накидку на груди, выходитъ къ нему.

Онъ стоитъ посреди кабинета задумчивый и тихій, — Знаешь, говоритъ онъ, можетъ быть, намъ дѣйствительно лучше остаться дома? — Нѣтъ, нѣтъ, она качаетъ головой. Она не хочетъ отъ него жертвъ. Она сама хочетъ принести ему жертву. И это совсѣмъ не жертва. Нѣтъ, пожалуйста, поѣдемъ, Тьерри.

Въ автомобилѣ Тьерри поворачивается къ ней. У него все еще задумчивое, почти грустное новое лицо.

— Знаешь, Люка, мнѣ продолжаетъ казаться, что мы съ тобой дѣти, какъ тамъ, въ моемъ лѣсу, что ты — моя сестра. Вѣдь я всегда мечталъ о сестрѣ. Она была бѣленькая, тихая дѣвочка, похожая на тебя. Да, совсѣмъ такая, какъ ты. Мнѣ теперь кажется, что ты моя сестра.

Она киваетъ.

— Ну конечно, я твоя сестра, Тьерри. Я — все, что ты захочешь: твоя сестра, твоя коза, твоя перчатка. Я твоя сестра. Но тогда, поднявъ брови сообщаетъ она, — тогда твой парикмахеръ — мой отецъ?

— Ахъ, нѣтъ, я его никогда отцомъ не считалъ. Лучше ужь пусть твой русскій отецъ будетъ и моимъ отцомъ.

Но Люку и это не удовлетворяетъ.

— Ни твой, ни мой. У насъ будутъ новые родители. Мы сами выберемъ ихъ. Идеальные родители. Мы купимъ ихъ на *marché aux puces* въ золотыхъ рамахъ. Мы придумаемъ ихъ жизнь и наше съ тобою общее дѣтство. Сколько у насъ воспоминаній, Тьерри. Я ничего не забыла. А ты?

— И я все помню. У меня отличная память. Но намъ всетаки надо будетъ свѣрить, сличить наши воспоминанія. Я увѣренъ, что ты много путаешь.

— Нѣтъ, это скорѣе ты путаешь. Ты всегда былъ такой разсѣянный. Скажи, напримѣръ, какъ звали нашего садовника?

— Котораго? Того хромого съ бородой, который такъ ловко истреблялъ кротовъ? Теофиль, конечно.

— И совсѣмъ не Теофиль, а Жанъ. Теофиль была его собака. Такая рыжая, лохматая. Она то и ловила кротовъ. Онъ соглашается.

— Да, ты права. За то я старше и помню все, почти съ самаго начала вѣка. Я напримѣръ помню даже бабушку, которая умерла до твоего рожденія. Люка не спорить. — Я, конечно, не могу ее помнить, но мама рассказывала мнѣ о ней. Бабушка была красавицей. Она разъ даже танцевала на балу императрицы Евгеній и Наполеонъ III-й спросилъ о ней—Кто эта пышная блондинка? Мама очень гордилась ею. Тьерри смѣется.

— Мама была ужасно снобична. Она скрывала, что дѣдушка началъ свою карьеру маляромъ... Люка держаетъ его за рукавъ.

— Тьерри, мы проѣхали мимо. Они дѣйствительно проѣхали. Тьерри поворачиваетъ обратно.

— А хочешь, Люка, удеремъ, какъ когда-то уди-

рали отъ уроковъ, оставимъ Герэна, поѣдемъ вдвоемъ куда-нибудь? Мы еще такъ много должны установить и вспомнить

Люка очень хочетъ, но бѣдный Герэнъ ждетъ. И у нихъ еще хватитъ времени для семейной хроники — въ одну ночь все равно всего не перевспомнишь. Тьери останавливаетъ автомобиль.

— Завтра непременно купимъ портреты родителей. И красавицу бабушку тоже. Люка ждетъ, пока Тьери запираетъ дверцу автомобиля.

— Знаешь, Тьери, я такъ рада, что мы теперь братъ и сестра. Ты всегда былъ немного моимъ начальствомъ и я немного боялась тебя. Но теперь мы равные, разъ ты мой братъ.

Онъ беретъ ее подъ-руку и они входятъ въ ресторанъ. — Сестра всегда важнѣе брата. Ты важнѣе меня теперь, успѣваетъ онъ сказать ей прежде, чѣмъ поздороваться съ Герэномъ.

Люка сидитъ на мягкомъ желтомъ диванѣ, рядомъ съ Тьери. Справа Герэнъ, напротивъ итальянскій пѣвецъ. Она не слышала его имени, но Герэнъ пояснилъ — Знаменитый. Она вѣрить, конечно, знаменитый. Обыкновенныхъ людей, незначительныхъ, немилліонеровъ, она теперь вообще не встрѣчаетъ. Можетъ быть, обыкновенныхъ людей вообще больше не существуетъ, всѣ перевелись, стали зрителями. Зрителей всюду много, даже и здѣсь. Она уже слышитъ громкій шепотъ — Смотри, это Тьери Ривуаръ и Тьери, не поворачивая головы, уже сіяетъ въ пространство своей самой электрической улыбкой для зрителей. Плоская лампа, похожая на пепельницу, бросаетъ льстивый, уклончивый свѣтъ, украшая все вокругъ. Даже Герэнъ кажется почти красивымъ со своимъ гладкимъ, круглымъ, блестящимъ черепомъ и прищуренными молодыми глазами. Изъ-за розовыхъ гвоз-

дикъ не видно лица итальянца, но то, что онъ сидитъ тутъ, еще повышаетъ удовольствіе. Итальянецъ — Италія — Венеція, какъ напоминаніе, какъ обѣщаніе. Голосъ итальянца льстивый и уклончивый, какъ свѣтъ плоской лампы украшаетъ самыя простыя слова, даетъ имъ не принадлежащія имъ значеніе и вѣсь. Но она не слушаетъ о чемъ говорятъ за ея столомъ. Она смотритъ кругомъ. Какъ нарядно, какъ празднично, какъ тѣсно. Она слушаетъ музыку. Музыка превращаетъ ея реальное земное счастье въ небесное, идеальное счастье. Переноситъ счастье въ другой планъ. Она слушаетъ музыку, вѣки ея закрыты, губы морщатся, щеки блѣднѣютъ. Она слушаетъ и ея такое земное, тѣлесное, тяжелое счастье, еще утяжеленное желаніемъ ребенка, вдругъ превращается въ легкое, воздушное, прозрачное. Она чувствуетъ легкость, холодъ и пустоту въ груди.

Она слышитъ высокій, тонкій, острый, чистый звукъ скрипки, видитъ зеленый узкій прозрачный листъ, трепещущій на солнцѣ. И вдругъ понимаетъ, что этотъ острый, чистый звукъ и есть этотъ прозрачный трепещущій листъ, что этотъ листъ, этотъ звукъ — одно и то же, что оно — ея освобожденное отъ реальности, отъ тяжести жизни, идеализированное счастье. Воздушное, небесное, бессмертное счастье. Счастье, прошедшее черезъ влюбленность и желаніе, освобожденное, чистое, острое, высокое, какъ этотъ звукъ, какъ этотъ зеленый листъ. Она прижимаетъ руку къ груди. Это ощущеніе холода, пустоты и вѣчности надо запомнить. Она все ясно сознаетъ, она не забыла, что ей, по сценарію придется умереть въ фильмѣ, сгорѣть въ аэропланѣ, и потомъ, послѣ смерти, бѣжать по облакамъ „въ видѣ души“. Это „въ видѣ души“ все время безпокоило ее, она никакъ не могла представить себя душой послѣ смерти. Но теперь она знаетъ, теперь ей нечего безпокоится.

Она поворачиваетъ голову къ Тьери — Какъ хорошо, что мы пріѣхали сюда. И всѣ согласны, всѣ очень рады, что пріѣхали. Она пьетъ шампанское, она улыбается.

Красная накидка соскальзываетъ съ ея голыхъ плечъ. Защита накидки больше не нужна. Она чувствуетъ себя защищенной счастьемъ, музыкой, шампанскимъ. Они говорятъ о фильмахъ, объ актерахъ и успѣхахъ. — Я хотѣла бы, чтобы сейчасъ былъ садъ и вѣтеръ, говоритъ она, немного закидывая голову, — чтобы все цвѣло — розы, жасминовые кусты, сирень, чтобы была вотъ эта самая музыка и еще звѣзды. А насъ не было, насъ совсѣмъ не было бы. Или нѣтъ, чтобы мы были этимъ садомъ, этой музыкой. Ахъ, я не знаю, какъ объяснить. Но вы понимаете? И всѣ киваютъ и улыбаются — Итальянецъ льстиво говоритъ — Конечно, я тоже мечтаю стать садомъ. Но Люка не слушаетъ.

Музыка волнами сходится и расходится вокругъ бѣлой скатерти стола. Скатерть, какъ ледъ. Люка отламываетъ гвоздику и кладетъ ее на скатерть, на ледъ. И гвоздика плавно и граціозно скользитъ по льду, какъ конькобѣжець. Люка показываетъ ее рукой. — Видите? Но Тьери говоритъ очень нѣжно — Вамъ больше не надо пить. Она послушно, не докончивъ даже глотка, ставитъ стаканъ обратно на скользкій ледъ и стаканъ кружится вмѣстѣ съ гвоздикой вокругъ плоской лампы и серебряннаго ведра съ шампанскимъ.

Они говорятъ о ясновидѣніи, о предсказаніяхъ. — Я умѣю читать по рукѣ, почти поетъ сладостный, заманчивый голосъ итальянца и обрывается, ожидая, чтобы Люка протянула ему руку. Но Люка счастлива. Впереди только счастье. Судьбой интересуются неудачники, ждущіе, надѣющіеся. Ей ничего не надо, она и сама все знаетъ. Итальянецъ проситъ: — У васъ такое лицо, у васъ должна быть замѣчательная

судьба. Она качаетъ головой — Не хочу. Но онъ настаиваетъ и голосъ его утомительно привязчивъ. Она высоко поднимаетъ руку, будто взмахиваетъ крыломъ и протягиваетъ ее черезъ столъ. Рука почти касается лампы, тонкая бѣлая, пальцы розовато просвѣчиваютъ. Итальянецъ склоняется надъ ней. Всѣ молчатъ и ждутъ. — Какая у васъ красивая рука. Онъ останавливается и смотритъ ей въ глаза. У него черные, совсѣмъ матовые глаза, странные, какъ изъ сукна, а она и не замѣтила. — Какая у васъ страшная рука. Она хочетъ отдернуть руку, ей становится непріятно, тяжело, будто ей грозитъ опасность, но онъ крѣпко держитъ ея пальцы въ своихъ. — У васъ прекрасная линія судьбы, вы будете знаменитой, онъ дѣлаетъ паузу, знаменитой... Потомъ... Къ чему относится это „потомъ“? Ей все равно. Она слушаетъ сквозь круженіе, звонъ и шампанское. Смутно и боязливо. Скорѣй бы это кончилось. Скорѣй бы сжать руку въ кулакъ, спрятать ее. — Сколько вокругъ васъ было страданій. Сколько смертей. Снова пауза. Черныя, широкія брови поднимаются углами надъ черными глазами изъ сукна. — Вы,— голосъ сразу теряетъ всю сладость и льстивость, становится обличительнымъ, свистящимъ — На вашей рукѣ кровь, родственная кровь. Изъ за васъ... Люка съ силой вырываетъ руку и, оттолкнувъ столъ, встаетъ — Откуда вы знаете? Ведро съ шампанскимъ съ грохотомъ летитъ внизъ, шампанское вѣется темнымъ, медленнымъ ручейкомъ по ковру, куски льда скачутъ во всѣ стороны, какъ испуганныя лягушки. Даже музыка останавливается, будто отдѣляя этой паузой, этимъ мгновеніемъ тишины будущее отъ прошлаго, подчеркивая важность происходящаго. Но лакеи уже бѣгутъ вытирая пятна, подбирая куски льда, но музыка уже звенитъ и за сосѣдними столиками смѣются и разговариваютъ такъ, какъ будто никто ничего не замѣтилъ. — Не устраивайте

скандала, Тьери властно беретъ Люку за руку. Садитесь. Она не слышитъ. Она стоитъ, прижавшись къ стѣнѣ, съ ужасомъ глядя на черные, матовые глаза. — Откуда вы знаете? Я не убивала. Я не виновата!

— Вѣра... повторяетъ она имя, которое годами не произносила и закрываетъ лицо. — Это ничего, это сейчасъ пройдетъ, успокаиваетъ Тьери. Ей даютъ воды. — Выпейте, выпейте,— она съ отвращеньемъ глотаетъ тяжелую холодную воду. Сейчасъ пройдетъ. Да, уже легче, уже прошло. Она смотритъ на Тьери. Какой онъ блѣдный. Герэнъ возмущается. — Ваши итальянскія развлеченія намъ не подходятъ. Итальянецъ униженно извиняется, голосъ его еще льстивѣй и слаще. Да, онъ пьянъ, онъ хотѣлъ произвести впечатлѣнїе. Онъ проситъ прошенія у Люки, у Тьери. Она молчитъ. Она сознаетъ что ей слѣдуетъ разсмѣяться, обратить все въ шутку. Но она молчитъ. Страхъ сдавлиываетъ ея горло. Она не находитъ ни словъ, ни нужной улыбки. Слова выются вокругъ ея головы, но она никакъ не можетъ поймать ихъ. Они сами по себѣ, она сама по себѣ. Ей страшно. Тьери натянуто смѣется. Заказываютъ еще шампанскаго. Это для зрителей, чтобы замаять скандалъ. Итальянецъ виновато объясняетъ что-то.

— Я устала, говоритъ Люка. Это, конечно, не то, что нужно. Но это всетаки подходитъ. И выбиваясь изъ силъ, добавляетъ — Домой. И всѣ сейчасъ же согласны. — Да, пора домой. Тьери и Герэнъ берутъ ее съ двухъ сторонъ подъруки — Осторожно, не падайте. Но она сама легко встаетъ и быстро идетъ къ выходу. Она совсѣмъ трезва. — Спокойной ночи. Она садится въ автомобиль, прижимается лбомъ къ холодному окну.— Тебѣ дурно? спрашиваетъ Тьери, но отвѣтить слишкомъ трудно — она молчитъ.

— Не простудись, закутайся хорошенько. Она крѣпче запахиваетъ накидку. Изъ послушанія, не для

защиты. Какая ужь тутъ защита? Ей страшно. Страшно оттого, что Тьері понялъ, догадался. Она выдала себя. Она и сейчасъ продолжаетъ выдавать себя. — Почему ты так испугалась? спрашиваетъ онъ. Она сжимаетъ руки подъ накидкой и молча смотритъ въ окно. — Я была пьяна, я и сейчасъ пьяна, говоритъ она наконецъ тихимъ, трезвымъ голосомъ.

Они выходятъ изъ автомобиля, они поднимаются въ лифтъ, они дома. Онъ зажигаетъ всѣ люстры и лампы, будто для того, чтобы лучше видѣть Люку. Онъ беретъ ее за плечо. — Скажи мнѣ, что это значить? Ты крикнула „откуда вы знаете?“ „Я не виновата“... Что это значить? Онъ заглядываетъ ей въ глаза. Она опускаетъ вѣки. Нѣтъ, она ничего не скажетъ, она будетъ молчать, она должна молчать. — Скажи, Люка. Она устало вздыхаетъ. — Я была пьяна. Я испугалась, у него сумасшедшіе глаза. Да, она дѣйствительно испугалась. Она давно забыла, она никогда не вспоминала и вдругъ такъ, среди музыки и шампанскаго. — Я хочу спать, она жалобно вздыхаетъ, я такъ устала.

— Ты должна сказать, настаиваетъ онъ. Что это значить „у васъ на рукѣ кровь“?

— Оставь меня, просить она. Я не знаю, я хочу спать. Она снимаетъ черезъ голову шумящее, надушенное платье. На минуту, отъ настойчивости Тьері, отъ страха и запаха духовъ она задыхается. Но платье уже ложится бѣлымъ кругомъ на коверъ. — Спать, вздыхаетъ Люка. Сонъ... Въ сонъ можно спрятаться, какъ въ крѣпость. Она ничего не скажетъ, онъ ничего не узнаетъ. Она вытягивается подъ одѣяломъ, крѣпко сжимаетъ руки и колѣни. Она ничего не скажетъ. Она борется за свое счастье, за ихъ счастье. Тьері сейчасъ — врагъ, ихъ общій врагъ

— Ложись спать, тихо шепчетъ она и закрываетъ глаза, чтобы не видѣть, какъ Тьері шагаетъ изъ угла

въ уголь, не видѣть его чернаго фрака, его бѣлаго лица, не слышать его требовательнаго голоса, спрятаться въ сонъ, какъ въ крѣпость. Сонъ — союзникъ, сонъ не выдастъ. Завтра она все обдумаетъ, все объяснитъ. Но до завтра еще далеко. Тъери трясетъ ее за плечо — Не спи, не спи. Ты должна сказать, должна. Она испуганно открываетъ глаза. Тъери стоитъ передъ ней, все еще во фракѣ и, какъ всегда, когда онъ очень взволнованъ или усталъ, выраженіе его лица не совпадаетъ съ его словами. Оно почти весело это блѣдное, упрямое, жестокое лицо, оно улыбается. Люка жмурится. Нѣтъ, это только снится ей. Но онъ беретъ ее за плечо, онъ наклоняется надъ ней.

— Я не успокоюсь, пока не узнаю. Я все равно узнаю. Въ сочетаніи сіяющей улыбки съ жестокими, упрямыми глазами что то нереальное, ненормальное и очень страшное. Онъ садится на постель. — Ты должна сказать. Она тоже садится, прислоняется спиной къ холодной стѣнѣ. Отъ короткаго, смутнаго сна, отъ свѣта, отъ холода, она совсѣмъ обезсилена. Сонъ отнялъ ея послѣднія силы, она больше не можетъ бороться. Сонъ оказался не союзникомъ, а предателемъ, онъ выдалъ ее Тъери. Выдалъ связанную по рукамъ и по ногамъ, слабую, безвольную. Свѣтлые, острые глаза Тъери смотрятъ прямо въ ея глаза. Она узнаетъ знакомое, тоскливое чувство собаки на цѣпи. Да, такъ онъ смотритъ на нее въ студіи, заставляя ее слушаться. Но сейчасъ онъ требуетъ отвѣта, онъ приказываетъ — Говори. Она плачетъ, но слезы не помогаютъ, не „ѣйствуютъ“ на него. Она хочетъ закрыть глаза и не можетъ, она трогаетъ подушку, мнетъ простыню, натягиваетъ на себя одѣяло, она ищетъ помощи, защиты. Но защиты нѣтъ, помощи ждать неоткуда. И она перестаетъ бороться, голова становится звонкой, пустой. Стержень — „ничего не скажу“, — за который цѣплялись всѣ мысли исчезаетъ куда-то и

мысли разлетаются, притягиваемые, какъ комары, огнемъ свѣчи, свѣтлыми, злыми глазами Тъери. Люка въ изнеможеніи складываетъ руки и вдругъ слышитъ, какъ ея собственный голосъ на вопросъ „Кто умеръ изъ за тебя?“ тихо отвѣчаетъ — Вѣра, моя сестра: Она хочетъ крикнуть — Нѣтъ, нѣтъ, это неправда, я лгу, не вѣрь... Но ея ротъ не можетъ выговорить этихъ словъ. Только о смерти Вѣры, только для разказа о ея смерти, она находитъ слова. Она рассказываетъ все, застывъ, оцѣпенѣвъ, съ ужасомъ, съ чувствомъ гибели, катастрофы, слушая свой голосъ. Все. Какъ они жили лѣтомъ въ Мондорфъ и познакомились съ Арсеніемъ. Какъ она влюбилась въ него и Вѣра тоже, какъ послѣ Рождества Вѣра вышла замужъ. Нѣтъ, не за Арсенія. Арсеній даже не бывалъ у нихъ. Люка встрѣтила его два раза за всю зиму. Одинъ разъ, когда Вѣра была въ свадебномъ путешествіи, второй — подъ дождемъ, когда Вѣра заболѣла, когда Вѣра забеременѣла. А потомъ они жили на дачѣ и Арсеній опять, тогда ей казалось случайно, былъ ихъ сосѣдомъ по дачѣ. Она не знала, что Вѣра — любовница Арсенія, что она беременна отъ него. Она была влюблена въ Арсенія, ей казалось, что онъ тоже влюбленъ въ нее, только не смѣетъ ей признаться. Однажды ночью она потихоньку пришла къ Арсенію.

Лампы широко и ярко освѣщаютъ комнату. Люка сидитъ на смятыхъ простыняхъ. Она дрожитъ. Она смутно сознаетъ, что она сидитъ здѣсь, на диванѣ Тъери, она смутно видитъ лампы и Тъери, его злые глаза, его фракъ. Все это какъ будто очень далеко, въ какомъ-то другомъ планѣ, за гранью пониманія, за гранью настоящего, нереально, расплывчато. Все это только воспоминаніе. Настоящее — Арсеній, Вѣра и она пятнадцатилѣтняя Люка,— то о чемъ она сейчасъ рассказываетъ.

...Люка бѣжитъ по пустой улицѣ. Вотъ дача Арсе-

нія. Она стучить въ ставню.— Кто тутъ? Арсеній стоитъ въ освѣщенномъ четырехугольникѣ двери — Люка? Что случилось? — Ничего не случилось, говоритъ Люка. Я уже была у васъ днемъ, я прочла письмо, то въ ящикѣ. Я знаю, вы тоже любите меня. Онъ внимательно и удивленно смотритъ на нее. — Вотъ оно что, говоритъ онъ задумчиво — Вы поняли изъ письма, что я люблю васъ? Луна освѣщаетъ балконъ,— лунный свѣтъ падаетъ прямо въ лицо Люки. — Да, да, кричитъ она чуть не плача. Вы любите меня. Зачѣмъ вы притворяетесь? Вѣдь я тоже люблю васъ. Арсеній беретъ ее за руку — Я пришла, объясняетъ она, я думала, когда любятъ всегда хотятъ быть вмѣстѣ ночью. Арсеній смѣется. Онъ подводитъ ее къ дивану, онъ наклоняется къ ней. Его черные волосы, его черные глаза такъ близко. Этой минуты она ждала всю жизнь. — Такъ вы любите меня, маленькая Люка? Онъ цѣлуетъ ея губы, ея голыя дрожащія колѣни — Любите меня?... Утро. Калитка скрипитъ. Арсеній входитъ въ ихъ садъ. Люка бѣжитъ къ нему навстрѣчу. Арсеній прижимаетъ ее къ себѣ.— Нѣтъ, нѣтъ, испуганно шепчетъ Люка, не здѣсь. Я приду къ тебѣ ночью. — Я не могу дожидаться ночи, говоритъ онъ и тяжело и властно кладетъ руку на ея плечо. Она хочетъ вырваться, но она такъ слаба, такъ влюблена. Онъ ведетъ ее въ бесѣдку и она покорно и влюбленно поднимается по ступенькамъ, переступаетъ порогъ. Полутьма, запахъ сырости и пыли. Горячія руки, горячія губы Арсенія — Люка, зоветъ голосъ Вѣры. Дверь распахивается. И сразу свѣтъ и крикъ. Отъ свѣта и крика ничего нельзя понять. Люка выбѣгаетъ изъ бесѣдки. Вѣра лежитъ на землѣ около обвалившихся перилъ. Неужели это Вѣра такъ страшно кричитъ?..

Вѣру переносятъ въ домъ. Арсеній побѣжалъ за докторомъ. Мать и горничная суетятся надъ ней. —

Какъ это случилось, Люка? — Я не знаю, отвѣчаетъ Люка растерянно, она кажется хотѣла войти въ бесѣдку и оступилась. Вѣра поворачиваетъ къ ней блѣое искаженное лицо, уставляется на нее безсмысленными пустыми глазами — Будь ты проклята, проклята, проклята ясно и громко говорить она — Проклята, проклята... Она умерла ночью — Люка проводитъ рукой по лицу. И сразу прошлое и настоящее снова мѣняются мѣстами. Теперь все. Она все рассказала. Но ей хочется еще сказать, самое главное, объяснить, что она не виновата.

— Мнѣ было только пятнадцать лѣтъ, я ничего не понимала... Но Тъери не слушаетъ, онъ узналъ все, что хотѣлъ, онъ больше ни о чемъ не спрашиваетъ. Онъ закуриваетъ папиросу, щелкаетъ портсигаромъ. — Виновата? Конечно она была не виновата, но Вѣра всетаки прокляла ее. — Прокляла, повторяетъ онъ медленно, прокляла передъ смертью. А теперь давай спать.

Она только-что была райской птицей счастья и сама, своимъ рассказомъ ощипала себя, каждымъ словомъ вырывая изъ себя перо за перомъ и теперь сидитъ передъ Тъери, какъ общипанная, посинѣвшая, голая курица съ длинной голой, отвратительной шеей. Она чувствуетъ, что онъ такъ и смотритъ на нее, какъ на общипанную курицу. Отъ райской птицы остались только сломанныя перья, и онъ отворачивается къ окну.

— Тъери, вѣдь я не была виновата. Да, конечно, конечно, онъ и не обвиняетъ ее, но развѣ дѣло въ ея винѣ?

Онъ снимаетъ фракъ, тушитъ лампы,— онѣ больше не нужны, онѣ больше не должны освѣщать лицо, прошлое, тайну Люки. Онъ подходитъ къ окну и задергиваетъ шторы на окнахъ. Онъ никогда не задергивалъ прежде шторъ, онъ терпѣть не можетъ темно-

ты. Но сейчас онъ задернулъ шторы самъ. Должно быть, чтобы было темно, чтобы не видѣть ее. — Спи, говорить онъ коротко. Она вздыхаетъ въ темнотѣ. Его башмаки падаютъ на коверъ, онъ ложится. Онъ не обнимаетъ Люку, какъ всегда. Онъ ложится какъ можно дальше отъ нея, стараясь не коснуться ея ногъ. Она тихо вздыхаетъ, она беззвучно плачетъ въ темнотѣ. Она измучена, уничтожена, искалѣчена. Неужели можно жить дальше? — Тъери, хочеть она позвать, но не смѣетъ и молча протягиваетъ къ нему руку подъ одѣяломъ. Онъ не спитъ, онъ тоже протягиваетъ къ ней руку и крѣпко, молча беретъ ея руку въ свою теплую руку. Молча, въ тишинѣ, въ темнотѣ. Она вздрагиваетъ отъ благодарности, отъ надежды. Но онъ пожавъ ея руку сейчасъ же снова выпускаетъ ее. Это рукопожатіе не похоже ни на примиреніе, ни на начало новой жизни. Оно похоже на прощаніе. Да, это прощаніе. Ея рука одиноко и беспомощно лежитъ на холодной простынѣ.

— Тутъ тебѣ будетъ хорошо, сказала Тьері вчера, прощаясь съ ней. Очень уютная комната и зеленая — цвѣта лавровъ, цвѣта славы. Да, тебѣ здѣсь будетъ хорошо.

Она сидитъ въ зеленомъ креслѣ и смотритъ на телефонъ. Она ждетъ, чтобы телефонъ зазвонилъ. Но телефонъ молчитъ.

Какъ это случилось? Какъ это могло случиться? Почему она здѣсь, въ этой зеленой комнатѣ, одна? Какъ могло случиться, что она стала бездомной, одинокой, несчастной? Она снова вспоминаетъ все съ самага начала, желая понять, выяснить, размотать весь клубокъ съ начала, размотать его до кончика, до хвостика, завернутаго, какъ на кусочекъ картона, на то, съ чего все началось, на ту ночь, или вѣрнѣе на то утро, когда она рассказала Тьері про смерть Вѣры. Размотать, чтобы потомъ снова аккуратно смотать его, пересмотрѣть, пережить опять по порядку, часъ за часъ, день за днемъ.

Въ то утро Тьері проснулся поздно и сейчасъ же уѣхалъ въ студию. Онъ такъ торопился, что даже не поцѣловалъ ее. Впрочемъ онъ съ тѣхъ поръ вообще не цѣловалъ ее. Онъ не взялъ ее съ собой, но вѣдь она еще и не была одѣта и ей въ тотъ день нечего было дѣлать въ студиі. Ожидая его, она почти совсѣмъ успокоилась. Онъ вернулся съ режиссеромъ Давіэ и они вмѣстѣ провели вечеръ. А ночью онъ опять легъ на самый край дивана и тогда она поняла, что она одна,

что его нѣтъ, что это — одиночество. Одиночество вдвоемъ. Вѣжливое, молчаливое, ледяное. Ей цѣлую недѣлю нечего было дѣлать въ студии и онъ ѣздилъ одинъ. Вечера по прежнему проводили съ Герэномъ и Давиэ и возвращались очень поздно. Теперь онъ чаще всего молчалъ или читалъ газету, будто боялся, что она начнетъ объясняться. Но она тоже боялась объясненій. О чемъ объясняться? Что объяснять? Она знала „Если надо объяснять, то не надо объяснять“. Она садилась въ уголь на низкую скамейку и пристально смотрѣла въ него. Онъ читалъ газету, страницы успокоительно шуршали, и матово блестяли подъ лампой, она не видѣла его лица, только круглый затылокъ и кусокъ шеи надъ воротникомъ. Такъ было лучше. Она могла представлять себѣ, что у него усталое, доброе лицо. Въ чтеніи газеты было что-то будничное, домашнее. Но онъ откладывалъ газету и поворачивалъ къ ней свое напряженное, механически улыбающееся лицо и она выбѣгала изъ комнаты, чтобы не расплакаться.

Какъ-то, отъ нечего дѣлать, она рѣшила заняться хозяйствомъ, и все утро пришивала недостающія пуговицы къ его рубашкамъ,— ихъ было такъ много, цѣлый комодъ набитый ими, она даже не успѣла пересмотрѣть ихъ всѣ. Она никогда не шила для Павлика. Даже себѣ ничего никогда не шила. Необычайное ощущеніе иголки, которой можно уколоться длинной путающейся нитки, пуговицы, въ концѣ концовъ всетаки прирастающей къ рубашкѣ и гордости... Да, она чувствовала смѣшную гордость. Въ шитьѣ было какое-то утѣшеніе, какая-то надежда, будто она чинить не рубашку, а свое собственное счастье. Вернувшись, Тьерри такъ и засталъ ее съ иголкой въ рукѣ и рубашкой на колѣняхъ. И тогда онъ не только не похвалилъ ее, но почти разсердился, впервые. Очень вѣжливо и очень холодно онъ попросилъ ее „больше

никогда не заниматься этимъ. „На это существуютъ бѣлошвейки“. Онъ взялъ рубашку съ ея колѣнъ и бросилъ ее въ ванную на полъ. „Въ стирку“, приказалъ онъ лакею. Она поняла, что ему непріятно, что она трогаетъ его вещи. Рубашка была чистая, но она, Люка, держала ее въ рукахъ,— значитъ ее надо отдать въ стирку.

Но внѣшне все шло попрежнему. Они попрежнему проводили вечера и ночи вмѣстѣ, а днемъ Люка бѣгала по парикмахерскимъ, по шляпочницамъ и портнихамъ, стараясь, какъ можно больше, украсить себя. Что если перемѣнить прическу? Съ пробормомъ посерединѣ и локонами на вискахъ? И она мѣняла, но онъ не замѣчалъ.

Она взволнованно рылась въ грудѣ скрипящаго, разношвѣтнаго шелка. Надо только сумѣть выбрать, найти. Вотъ, голубой шелкъ, какъ обѣщаніе, высовывается изъ подъ навалившейся на него тяжелой зеленой парчи. Люка ловитъ голубой шелкъ, крѣпко держитъ его въ рукѣ — Этого четыре метра. Но когда матерія отрѣзана, наступаетъ сомнѣніе, та ли это? И снова надо рыться, высматривать. Да, конечно, она хотѣла украсить себя, какъ можно больше. Всѣ новыя шляпы и платья должны были помочь въ этомъ. Но она ждала отъ нихъ еще и другой помощи: помимо украшенія, они сами по себѣ, должны были вернуть Тьеры. Та вечно женская надежда на шляпу, на платье, на прическу, которыя вдругъ вернуть счастье. Она чувствовала, что потеряла счастье но еще не знала, что счастье уже навсегда потеряно. Счастья уже не было, но несчастья тоже еще не было. Было какое то промежуточное состояніе, междуцарствіе, „смутное время“ грусти и надежды. Несчастья еще не было — вѣдь Тьеры жилъ рядомъ съ ней, въ одномъ домѣ, въ одной комнатѣ. Онъ былъ здѣсь, а въ любви, она знала твердо, главное — присутствіе, физическое при-

сутствіе — видѣть, слышать, трогать. Впрочемъ трогать его она не смѣла и самъ онъ какъ будто старался не дотрагиваться до нея. Но она не была несчастна, хотя прежней полноты жизни уже не было. Жизнь стала скудной, замирающей, ускользящей, какая-то пустая, полая, безполая. Природа уже не служила фономъ. Воздуху, водѣ, свѣту, огню теперь не было никакого дѣла до Люки и она сама перестала ихъ замѣчать. Связь между ней и ними была порвана, они уже не составляли съ ней вмѣстѣ одного гармоническаго цѣлага полной, счастливой жизни. Она какъ будто потеряла свое мѣсто въ мірѣ, временно выпала изъ него, не участвовала въ немъ. Ей казалось, что ея чувства — зрѣніе, слухъ, вдругъ ослабѣли, что она уже не видитъ, не слышитъ, не замѣчаетъ окружающаго такъ ясно, какъ прежде.

Но въ этотъ день (узелъ на ниткѣ воспоминаній) было почти весеннее солнце и такого солнца она не могла не замѣтить. Они возвращались домой изъ студіи. Черезъ десять дней они уѣзжали въ Венецію, фильмъ былъ почти оконченъ. — Я очень доволенъ, говорилъ Тьери. Она такъ давно не слышала отъ него „я доволенъ“, что горло ея сжалось отъ надежды и благодарности. Онъ рассказывалъ ей о Венеціи. Она знала давно всѣ его рассказы, она слушала не слова, а его голосъ и этотъ холодный прозрачный голосъ заливалъ ее радостью и надеждой. Ничего еще не потеряно, все опять будетъ хорошо. Жизнь возвращается, счастье возвращается. И Тьери возвращается. Изъ молчанія, одиночества, отчужденности. Слово за слово, взглядъ за взглядомъ, Тьери становился нѣжнѣе, обросталъ близостью, оттаивалъ. И вотъ уже они сидѣли, какъ прежде въ одномъ креслѣ обнявшись и вмѣстѣ смотрѣли въ огонь камина. И уже нельзя было не замѣчать восхитительнаго вспыхиванія и треска дровъ и блаженнаго изнеможенія отъ жары.

Они ни о чемъ не говорили или вѣрнѣе, не говорили о главномъ. Ни о той ночи, ни о себѣ. Только о фильмѣ, о путешествіи, объ Итали. — Какое у тебя красивое платье. Новое? — Да, новое. Даже платье не подвело, она не напрасно такъ долго выбирала его, платье оправдало себя — Новое платье, новая жизнь. Тьерри возвращался. Все начиналось съ начала. Но не завтра, не „жизнь начинается завтра“... Нѣтъ, сейчасъ. Сейчасъ и здѣсь.

— Когда мы совсѣмъ кончимъ фильмъ, я подарю тебѣ брошку. У тебя нѣтъ никакихъ драгоценностей. Она поднялась, чувствуя слабость и головокруженіе. Это отъ радости, смутно подумала она.— Спасибо, Тьерри. Онъ разсмѣялся—Какъ торжественно. И не благодарилъ заранее, вѣдь я еще ничего не подарилъ тебѣ, успеешь. Она хотѣла объяснить, что само обѣщаніе дорого ей — если бы онъ обѣщаль ей канарейку, она такъ же обрадовалась бы, объяснить какъ она рада, какъ благодарна. Но ее вдругъ замутило и она, зажимая ротъ рукой, выбѣжала въ ванную. Постоявъ у умывальника, переведя дыханіе, она выполоскала ротъ холодной водой, чтобы избавиться отъ сладковатаго, мутящаго вкуса, но она продолжала чувствовать еле ощутимый вкусъ небытія, свѣтильнаго газа, мѣди на языкѣ, на небѣ, въ горлѣ. Она вытерла потъ со лба и растерянно посмотрѣла въ зеркало на свое, вдругъ снова ставшее совсѣмъ дѣтскимъ, подурнѣвшее лицо. Что съ ней? Она читала, что иногда становится дурно отъ волненія, отъ радости, но вѣдь это въ книгахъ... — Куда ты убѣжала? крикнулъ Тьерри. — Сейчасъ, сейчасъ. Она подкрасила щеки, стараясь вернуть себѣ веселость и взрослость.

Вотъ все уже прошло, конечно, это отъ волненія. Она вернулась къ Тьерри. — Мнѣ надо было сказать лакею... Что надо было сказать, — она еще не придумала, но нельзя же было признаться Тьерри, что ей

сдѣлалось дурно оттого, что она обрадовалась. Она снова усѣлась въ кресло рядомъ съ нимъ.— „Еще недѣля, и мы будемъ въ Венеціи”.

Такъ прошелъ этотъ вечеръ, почти счастливо. „Почти” — они оба были слишкомъ осторожны, слишкомъ пугливы, чтобы отбросить „почти”, боясь задѣть прошлое, не довѣряя будущему, говоря только о поѣздкѣ, о Венеціи, о фильмѣ. Было уже поздно, но они все оттягивали ложиться, боялись чего-то. Иногда онъ останавливался, замолкалъ, ожидая, что она скажетъ. И она говорила, она спрашивала, она помогала продлить, протянуть вечеръ, оттянуть, отогнать сонъ. Но когда часы пробили три, нельзя было больше оттягивать и они пошли въ спальню.— Я страшно усталъ, голосъ Тъери звучалъ обиженно и жалобно. — И я страшно устала, жалобно отвѣтила она.

Они легли и въ первый разъ за этотъ мѣсяць, онъ не только не отодвинулся отъ нея, но крѣпко, какъ прежде, обнялъ ее и она съ торжественной, жертвенной нѣжностью обвила его шею руками. Теперь навѣкъ, подумала она, прижимаясь губами къ его холодному голому плечу, унесенная, покорная, раздавленная. — Навѣкъ. Но вѣчности не было. Вѣчность сейчасъ же оборвалась и, обрываясь, разорвала крѣпкій кругъ, въ который ее руки заключили счастье.

Она открыла глаза. Тъери лежалъ рядомъ съ ней блѣдный съ подергивающимися скулами, губы его странно и страшно улыбались сіяющей, электрической улыбкой. — Я, я не могу, съ трудомъ выговорилъ онъ и она услышала, какъ зубы его стучать. Я такъ хотѣлъ забыть, но я не могу. Онъ трясущейся рукой взялъ стаканъ воды со столика. Онъ медленно пилъ, она молча смотрѣла на него. Руки его уже не тряслись и скулы не дергались, онъ справился даже съ улыбкой, онъ совсѣмъ справился съ собой.

— У меня, должно быть, начинается гриппъ, голосъ

его звучаль совѣмъ спокойно. Знаешь, я лучше лягу въ кабинетъ, я боюсь заразить тебя. Нѣтъ, нѣтъ, не спорь. Если бы ты теперь захворала, мы не кончили бы картины, мы бы не могли уѣхать въ Италію. У меня лихорадка, завтра я буду здоровъ.

Она хотѣла объяснить ему, что она не боится заразы, но она знала, что все напрасно. — Я постелю тебѣ въ кабинетъ, сказала она только. Но онъ отказалъ ей и въ этомъ. — Нѣтъ, лежи, спи. Я самъ. Лежи. И она осталась лежать. Но спать она больше не могла. Она лежала и думала о томъ, что это уже не только отсутствіе счастья, что это уже горе. Если это еще не горе, такъ какое же оно горе?

На слѣдующій день Тъери, здоровый, дѣятельный, оживленный, будто не помнящій того, что было ночью, улыбаясь предупредилъ ее въ студіи, что ему надо ѣхать на дѣловой обѣдъ, что онъ вернется поздно и она не должна его ждать, — Ты непременно должна лечь, у тебя сейчасъ столько работы.

Она дѣйствительно легла, какъ только вернулась. Она такъ устала, что сейчасъ же уснула. Ее разбудило легкое щелканье ключа.

— Тъери, позвала она. Отвѣта не было, все было совѣмъ тихо — ни шороха, ни движенія. Значить она ошиблась. — Тъери, позвала она еще разъ и прислушалась къ тишинѣ. Часы показывали пять. Неужели онъ еще не вернулся? Она встала съ постели и на носкахъ пошла въ кабинетъ. Окно стояло открытымъ, она ясно увидѣла въ полутьмѣ голову Тъери на подушкѣ. Лицо было неподвижно и напряженно, вѣки закрыты. Она подошла совѣмъ близко. И тогда она услышала, что онъ громко и размѣренно дышитъ, дышитъ такъ, какъ обыкновенно дышать спящіе. Это было такъ необычайно, что она остановилась — Что съ нимъ? И вдругъ поняла: онъ не спитъ, онъ притворяется. Вѣдь онъ не знаетъ, что во снѣ онъ ды-

шить неслышно. Онъ прячется отъ нея въ сонъ, онъ боится ее. Она стояла, не рѣшаясь двинуться, боясь показать ему, что она понимаетъ его притворство. Поправить одѣяло или подушку, какъ дѣлаютъ любящія женщины въ фильмахъ? Нѣтъ, нѣтъ, ничего не надо. Она осторожно повернулась, осторожно, на носкахъ вернулась къ себѣ.

А на слѣдующій день онъ сказалъ ей, что въ Парижъ пріѣхала его мать, что она всегда останавливается у него и что Люкѣ лучше всего на нѣсколько дней переѣхать въ отель. И, хотя это звучало невѣроятно, Люка повѣрила. Тогда-то, въ тотъ вечеръ, устраивая ее въ зеленой отельной комнатѣ, онъ и сказалъ — Тебѣ здѣсь будетъ хорошо.

И вотъ теперь въ который разъ она все силится понять, какъ это „хорошо“ произошло? Какъ?

Она ждетъ чтобы Тьерри позвонилъ ей, онъ обѣщаль позвонить, чтобы встрѣтиться ночью. И телефонъ наконецъ дѣйствительно звонить. Холодный, ясный, восхитительный голосъ Тьерри изъ неизвѣстности бѣжитъ къ ней по проводамъ.— Я очень жалѣю, я не могу, я долженъ быть съ матерью. Выспись хорошенько. Ложись сейчасъ, спокойной ночи. Ты сегодня плохо выглядѣла. До завтра. Холодный, восхитительный голосъ Тьерри снова убѣждалъ по проводамъ въ неизвѣстность. Она слышитъ гулъ прерваннаго контакта. Кончено. Откуда онъ звонилъ? Ни за что, никакъ нельзя услышать его голосъ снова. Хотя бы на одну минуту. Она все еще держитъ трубку въ рукѣ, она громко зоветъ: — Тьерри, Тьерри. Стучать. Лакей вносить большую корзину бѣлыхъ цвѣтовъ. Отъ Тьерри на новоселье. Она смотритъ на цвѣты, она совсѣмъ не рада имъ. Они похожи на могильный вѣнокъ, такіе неживые, бѣлые. Она отворачивается, чтобы не видѣть ихъ. И всетаки это первые цвѣты, которые онъ послалъ ей, первый подарокъ отъ него. Если бы

я умерла, онъ навѣрно послалъ бы точь въ точь такіе же. Она вздыхаетъ. Но вѣдь я не умру, я буду жить еще очень, бесконечно долго, до самой старости. Да, она всегда чувствовала — по меньшей мѣрѣ до восьмидесяти лѣтъ, а сейчасъ ей двадцать одинъ и предстоящая ей длинная жизнь пугаетъ ее, какъ когда то пугала мысль о смерти. Но страхъ смерти былъ туманнымъ, смутнымъ. Въ смерть, она по настоящему все же не вѣрила, это была скорѣе какая-то поэтическая тревога, чѣмъ страхъ. Но страхъ жизни — страхъ всѣхъ огорченій, слезъ, обидъ, которыхъ нельзя избѣжать, всѣхъ этихъ лѣтъ, которые будутъ, какъ камни, падать на нее, пока не собьютъ ее съ ногъ, не вобьютъ въ землю, подъ землю... Нѣтъ, это реальный страхъ, берущій за горло, мѣшающій дышать. Черезъ три дня они уѣзжаютъ въ Венецію, черезъ шестьдесятъ четыре часа. Вдвоемъ, въ автомобилѣ, черезъ Швейцарію. Это будетъ, это рѣшено, этого не можетъ не быть. Ни о чемъ другомъ не надо думать. Венеція. Она раздѣвается, ложится въ постель, чтобы проспять побольше этихъ, ни на что не нужных, часовъ. Она кладетъ голову на подушку. Она вздыхаетъ — Венеція. Но что-то мѣшаетъ уснуть, вьется холодомъ по простынѣ. Люка чувствуетъ слабый уколъ въ високъ — А послѣ Венеціи? Она поднимаетъ голову, ударяетъ ладонью по подушкѣ.— Послѣ Венеціи, говоритъ она громко, все, что угодно. Но я хочу быть счастлива въ Венеціи. Счастлива въ Венеціи. Счастлива въ Венеціи, повторяетъ она трижды, какъ заклинаніе.

Люка стоитъ на плато въ бѣломъ длинномъ „ангельскомъ одѣяніи“, въ свѣтломъ, длинноволосомъ парикѣ, жалкая и растерянная. И какъ она устала. Уже девять разъ крутятъ все ту же сцену, уже девять разъ она пробѣгала по облакамъ, боясь споткнуться о нихъ

и упасть, уже девять разъ она пѣла свою небесную пѣсню. И все опять сначала. Она напрасно старается вспомнить ощущение легкости, блаженства, безсмертія, и холода въ груди, которое она испытала въ ту послѣднюю, счастливую ночь въ ресторанѣ, услышать тонкій, рѣзкій, высокій звукъ, увидѣть прозрачный листъ дрожащій на солнцѣ. Она чувствуетъ себя земной, неуклюжей, тяжелой и смѣшной въ этомъ нелѣпомъ кудрявомъ парикѣ, въ этомъ длинномъ, развѣвающимся балахонѣ. Тяжесть переполняетъ ее, она будто распухла, растолстѣла. Ангельская голубая лента слишкомъ крѣпко стягиваетъ талію, ангельскія сандалии натираютъ ноги, ангельскій парикъ жметъ голову. Она робко смотритъ на Тъери. Какъ она бездарна, какъ онъ терпѣливъ. — Попробуемъ еще разъ, уже почти хорошо. Она снова бѣжитъ, облака подаются подъ ногами, она поетъ. И опять — И уже почти хорошо. Скорѣй бы это кончилось. И это наконецъ кончается. Люка сходитъ съ плато и вдругъ ей, снова становится дурно. Она бѣжитъ къ себѣ въ уборную и, не добѣжавъ, останавливается въ коридорѣ, нагибается надъ грудой старыхъ декорацій. Къ ней подходитъ ангель-хранитель, беретъ ее нѣжно за лобъ, поддерживаетъ ее. Ласковый голосъ говоритъ: это ничего, это бываетъ. Отъ усталости, отъ жары. Ангель вытираетъ ей лобъ широкимъ рукавомъ, снимаетъ съ ея головы парикъ. — Сейчасъ легче станетъ. Вотъ уже прошло. Люка хлопаетъ длинными приклеенными рѣсницами и шумно вздыхаетъ. — Прошло? участливо говоритъ ангель. — Это бываетъ. Это ничего. И вдругъ вопросъ: — Вы замужемъ? Неожиданно для себя Люка отвѣчаетъ — Нѣтъ. — Всетаки сходите къ доктору. — Да, пойду, спасибо, ангель, никому не рассказывайте. Люка храбро идетъ къ себѣ, держа парикъ въ рукѣ, подметая его длинными волосами полъ. Хорошо, что Тъери не видѣлъ. Какой стыдъ. Этотъ

ангелъ — простая статистка. Она навѣрно будетъ хвастаться, что держала Люку за голову, что Люку тошнило, что Люка назвала ее ангеломъ-хранителемъ. Но до Тьери это врядъ ли дойдетъ, а до остальныхъ ей нѣтъ дѣла.

Она переодѣвается, ей надо разыскать Тьери. Но онъ самъ приходитъ за ней. — Я жду тебя, говоритъ онъ, мы поѣдемъ домой. Пуховка падаетъ на ея колѣни. — Какъ, твоя мать уже уѣхала?..

— Я объясню тебѣ, говоритъ онъ коротко. Я подожду тебя въ коридорѣ. И онъ выходитъ. Если бы онъ сказалъ ей это до съемки, она стала бы настоящимъ ангеломъ, она спѣла бы по ангельски небесную пѣсню, ему не пришлось бы безконечно возиться съ ней. Самъ виноватъ, почему не сказалъ сразу. Она надѣваетъ шляпу, надвигаетъ ее на лобъ. И этотъ жестъ вдругъ поднимаетъ въ ней смятеніе. — Я объясню тебѣ, сказалъ Тьери. Объясню. Въ объясненіи всегда скрывается неясное, то, что надо выяснять, въ неясности всегда опасность. Она беретъ перчатки, она выходитъ.

Тьери идетъ ей навстрѣчу съ другого конца коридора. Не глядя на него, по біенію своего сердца, она чувствуетъ, какъ разстояніе между ними уменьшается. Еще шагъ и онъ подойдетъ вплотную къ ней и сердце ея оборвется. Но онъ не дѣлаетъ этого послѣдняго шага, онъ останавливается на разстояніи этого шага. Между ними можно пройти, не задѣвъ ихъ. они рядомъ и далеки другъ отъ друга, онъ не беретъ ее тѣсно подъ-руку, какъ прежде. — Идемъ, говоритъ онъ. И они идутъ къ выходу, они садятся въ автомобиль.

Какая знакомая дорога. Сколько разъ они вмѣстѣ ѣхали по ней. Онъ чувствуетъ ея встревоженный взглядъ и поворачиваетъ къ ней свое сіяющее, напряженное лицо. — Твоя мать уѣхала? спрашиваетъ Лю-

ка. — Нѣтъ, улыбка его становится еще ярче, почти нестерпимо яркой.— Нѣтъ не уѣхала. И она просила меня, онъ останавливается, — ты должна понять, ты не огорчишься? Она просила меня, она ѣдетъ въ Швейцарію,— онъ снова останавливается — Я повезу ее на автомобилѣ, быстро добавляетъ онъ. Мы выѣзжаемъ съ ней завтра утромъ.

— А я? Это не вопросъ, этотъ крикъ забытаго въ горящемъ домѣ, изъ котораго другихъ уже вынесли пожарные. — А я?

— Ты поѣдешь поѣздомъ вмѣстѣ съ Давіе и артистами. Поѣздомъ даже лучше, не такъ утомительно. И быстрее. Вы отправитесь черезъ четыре дня, къ этому времени я уже буду въ Венеціи. Тамъ встрѣтимся. Мнѣ самому досадно. Но что же я могу? Моя мать... она просила, быстро и несвязно объясняетъ онъ. Люка слушаетъ. „Это будетъ, это рѣшено, этого не можетъ не быть”. А вотъ оказывается... Они поднимаются въ лифтѣ и лифтъ, какъ всегда привѣтливо гудитъ: домой, домой, но теперь это звучитъ насмѣшкой.

Лакей открываетъ дверь и кланяется. Люка краснѣетъ,— онъ не можетъ не знать, что ее выгнали отсюда.

— Собери свои вещи, говоритъ Тьери, все, что тебѣ понадобится для Италіи. Я тоже буду укладываться. Лакей приноситъ чемоданы, кладетъ на диванъ вперемѣшку его костюмы и ея платья. Будто они ѣдутъ вмѣстѣ. Тьери становится на колѣни передъ ея чемоданомъ (передъ ней онъ никогда не становился на колѣни) — Подожди, Люка, я уложу тебя самъ. Это очень большая, это невѣроятная услуга, какимъ виноватымъ онъ чувствуетъ себя, если готовъ даже на это. Она не мѣшаетъ, ей все равно. Ничто уже не можетъ ни обрадовать, ни огорчить ее. Она даже не въ состояніи оцѣнить его любезность. Онъ бы-

стро, со всей своей точностью и аккуратностью, укладываетъ ея чемоданъ, будто всю жизнь былъ упаковщикомъ. Всѣ ея вещи до послѣдней пары чулокъ, до послѣдней зубной щетки и губки, чтобы и духа не осталось, чтобы ничего не напоминало о ней, въ его домѣ. Она видитъ, она понимаетъ. Изъ Венеціи она уже не вернется сюда. Здѣсь ни ей, ни ея вещамъ мѣста больше нѣтъ. Шкафы слишкомъ тѣсны для его костюмовъ и ея платьевъ, диванъ слишкомъ узокъ, чтобы спать на немъ вдвоемъ. Она смотритъ на диванъ. Какъ странно, что онъ все такой же — мягкій, сѣрый, шелковый. Не покрылся ржавчиной, не покоробился послѣ той послѣдней ночи, когда Тьери ушелъ спать въ кабинетъ. Тогда она думала, что она несчастна, что нельзя быть несчастнѣе, теперь она знаетъ, что это еще не было несчастье. Въдъ Тьери спалъ за стѣной, дышалъ однимъ воздухомъ съ ней, она могла видѣть его, говорить съ нимъ. Онъ былъ тутъ, онъ присутствовалъ — это было почти счастье. Вотъ оно настоящее несчастье, настоящее горе, не одиночество вдвоемъ, а просто одиночество. Онъ уѣзжаетъ, она остается. Кончено.

— Кончено, весело говорить Тьери и встаетъ. А мои вещи уложить слуга. Ей хочется уложить ихъ самой, потрогать, погладить въ послѣдній разъ его галстуки, рубашки, пиджаки. Но она не смѣетъ попросить объ этомъ. Она тоже встаетъ, она подходитъ къ нему, она еще не знаетъ, что скажетъ. Лучше ничего не говорить. И вдругъ, будто ее толкнули въ спину, тяжело падаетъ ему на грудь, обхватываетъ его шею руками, повисаетъ на немъ, какъ пальто на вѣшалкѣ. Сейчас онъ оттолкнетъ ее. Но онъ стоитъ прямо и неподвижно, точно не рѣшаясь ни обнять, ни оттолкнуть ее. — Тьери, громко кричитъ она и уже не можетъ удержать крика. — Не уѣзжай, не уѣзжай, Тьери. Она прижимается, прилипаетъ къ нему крѣп-

че, еще крѣпче, чтобы онъ не могъ отодрать ее отъ себя, чтобы она приклеилась, срослась съ нимъ своимъ платьемъ, своей кожей... — Не уѣзжай. Но онъ осторожно и твердо отстраняетъ ее отъ себя, ей кажется что куски ея кожи, куски ея платья остались приклеенными къ нему. Ей больно, она кричитъ. Онъ усаживаетъ ее въ кресло. — Я сейчасъ дамъ тебѣ брому. Какая ты нервная, ты переутомилась. Онъ ходитъ по комнатѣ своей легкой, быстрой походкой, онъ взволнованъ, испуганъ. Онъ даетъ ей бромъ и она послушно пьетъ. Соленый, какъ слезы. Ей кажется, что она глотаетъ слезы, запасы рѣки слезъ, которая всѣ придется выплакать потомъ капля за каплей, когда она останется одна. Она прижимаетъ руку къ груди, къ мѣсту, съ котораго сорваны платье и кожа, которое болитъ. Тъери гладитъ ее по головѣ. — Успокойся. А потомъ мы поѣдемъ обѣдать. И они ѣдутъ обѣдать. Незнакомый нормандскій ресторанъ. Въ большомъ кирпичномъ, полукругломъ каминѣ жарятся на вертелѣ цыплята и утки. Она смотритъ на огонь, на утокъ и цыплятъ на вертелѣ, ей почему то становится неприятно. Эти жарящіяся утки и цыплята чѣмъ-то напоминаютъ о ея собственной судьбѣ. Это ощущение смутно, она не можетъ разобраться, ей некогда. Но на утокъ смотрѣть неприятно. Скатерти клѣтчатыя и почти темно. Тъери нарочно привезъ ее сюда. Здѣсь не видно какое у нея несчастное, заплаканное лицо, и ему не стыдно за нее. Они обѣдаютъ, можетъ быть, въ послѣдній разъ. — Мы обѣдаемъ въ послѣдній разъ, говоритъ она медленно. Онъ удивленно смотритъ на нее и она добавляетъ: до твоего отъѣзда. Онъ киваетъ — понятно, разъ онъ ѣдетъ завтра. Объ этомъ не надо говорить. Зачѣмъ? Развѣ чтонибудь поправишь? Она на минуту вспоминаетъ свой послѣдній обѣдъ съ Павликомъ. Вотъ и она на мѣстѣ Павлика. Но какъ это больно и страшно.

Тъери заказываетъ ей ея любимыя блюда, старается занять ее:— Когда мы вернемся изъ Венеціи... Вернемся изъ Венеціи? Венеція, бывшая для нихъ мечтою, блаженствомъ, становится обыкновеннымъ, будничнымъ, городомъ. Приѣхали, уѣхали... — Когда мы вернемся, я подарю тебѣ брошку. Ах, эта брошка! Она совсѣмъ не нужна больше Люкѣ — чтобы подсластить разрывъ — разрывный подарокъ.

Она поднимаетъ голову, смотритъ въ его свѣтлые глаза. Пламя камина бросаетъ теплый отсвѣтъ на его лицо и отъ этого, оно кажется человѣчнѣе, мягче. Можетъ быть не все еще потеряно, можетъ быть, онъ пойметъ. — Тъери, говоритъ она совсѣмъ тихо, я такъ люблю тебя, я не могу жить безъ тебя. Онъ улыбается своей электрической, невыносимой улыбкой. Онъ не понялъ, напрасно. Онъ отвѣтитъ — Кто же тебя заставляетъ жить безъ меня? или — тебѣ и не придется жить безъ меня — вѣжливо, уклончиво, лживо. Но нѣтъ, онъ не хочетъ лгать, она ошиблась. Онъ отвѣчаетъ — Какъ ты нервна. Ты страшно переутомилась. Тебѣ надо хорошенько отдохнуть. И ни слова о томъ, что она не можетъ жить безъ него — не слышала, не приняла. Недолетъ или перелетъ. Отвѣта не будетъ. Она на минуту закрываетъ лицо руками жалкимъ потеряннмъ движеніемъ. Онъ старательно рѣжетъ мясо, нагнувшись надъ тарелкой и ничего не желаетъ замѣчать. — Тебѣ надо пораньше лечь сегодня. И мнѣ тоже. Мы выѣзжаемъ въ шесть часовъ. Какое жестокое „мы“, прежде „мы“ значило всегда Люка и Тъери. — Значитъ я завтра не увижу тебя? — Ну конечно нѣтъ. Но черезъ пять дней мы снова встрѣтимся. Ты не должна такъ огорчаться.

Онъ провожаетъ ее домой. Послѣдняя, совсѣмъ слабая надежда.— Ты не зайдешь ко мнѣ, на минуту? Проститься? — Нѣтъ, уже поздно. Онъ долженъ еще заѣхать къ матери. Онъ цѣлуетъ ея бѣлую перчатку

— До свиданья, до Венеціи. Онъ поднимаетъ руку фашистскимъ жестомъ въ знакъ привѣтствія *E viva Italia*, и не дождавшись даже пока она войдетъ въ отель, отбѣзжаетъ. Швейцаръ толкаетъ передъ ней вертящуюся, стеклянную дверь, но Люка поворачивается, выбѣгаетъ на улицу. Его автомобиль еще виденъ, черный лакированный, тускло поблескивающий въ свѣтѣ фонарей. Вотъ онъ рѣзко заворачиваетъ за уголъ, на мгновенье, въ окнѣ мелькаетъ вытянутая рука Тьери. И вотъ его уже нѣтъ. И вотъ ни отъ автомобиля, ни отъ Тьери ничего не осталось кромѣ воспоминанія.

Телефонъ тихо звонитъ мягкимъ отельнымъ, благовоспитаннымъ звономъ, скорѣе шипомъ и всетаки Люка просыпается и открываетъ глаза. Тьери уѣхалъ, это не Тьери. Она медленно вынимаетъ руку изъ подъ одѣяла, медленно снимаетъ трубку. Кто, зачѣмъ, почему? Ей хочется спать. Отстаньте пожалуйста. Ей такъ тяжело возвращаться въ дѣйствительность, въ одиночество, въ горе.

Это Герэнь. Онъ случайно узналъ ея адресъ. Онъ проситъ ее покататься съ нимъ — „сегодня такая чудная погода“. — Оттого, что хорошая погода? А если бы шелъ дождь? Герэнь смѣется. — Я васъ очень прошу. Она еще не одѣта. Ничего, онъ подождетъ. Онъ настаиваетъ, онъ умоляетъ и она соглашается. Хуже не можетъ стать. Пусть заѣдетъ за ней черезъ часъ. Ей все равно. Хуже отъ этого не станетъ. Она одѣвается. Тьери уже въ Швейцаріи. Онъ прислалъ ей телеграмму — *Excellent voyage. Salutations*. говоритъ она, входя въ ванную и насмѣшливо кивая себѣ въ зеркалѣ. Все, что онъ нашелъ для нея. И это уже много. *Salutations* говоритъ она своимъ туфлямъ, надѣвая ихъ на ноги. Лучше бы уже ничего, чѣмъ такая телеграмма. Ей не хочется кататься

съ Герэномъ, ей ничего не хочется. — Тъери, Тъери! Герэнь увидить, что у нея красныя вѣки, а онъ и такъ, должно быть, уже знаетъ что Тъери бросилъ ее. Снова шипить телефонъ. Герэнь ждетъ внизу. Она надѣваетъ пальто изъ бѣлаго жеребенка, бѣлую замшевую шапочку. Тъери научилъ ее одѣваться, какъ полагается кинематографической звѣздѣ—очень просто и очень замѣтно, въ ложно-спортивномъ стилѣ. Но къ этому пальто и этой шапочкѣ совсѣмъ не идетъ ея грустное лицо. Можно улыбаться, когда хочется плакать, можно смѣяться, когда хочется кричать. Это совсѣмъ не трудно. Надо только приподнимать верхнюю губу и опускать вѣки, прикрывая несчастные глаза. Выходить очень хорошо, она пробовала передъ зеркаломъ. И она, улыбаясь, выходитъ къ Герэну. — *Salutations*, говоритъ она. Какое безвкусное, глупое слово, неправда ли? Онъ не отвѣчаетъ, онъ цѣлуетъ ея руку, смотритъ на нее.

Они впервые вдвоемъ и онъ взволнованъ. Знакомымъ ей движеніемъ онъ касается сердца или бумажника.

— Какъ я счастливъ, что вы согласились. „Счастливы” кажется ей неумѣстнымъ. „Радъ” поправляетъ она. Если бы вы не позвонили, я не встала бы сегодня совсѣмъ. Этого говорить не слѣдовало. Она выдаетъ себя, свое горе. — Мнѣ было лѣнь вставать, я такъ устала. Въ усталость онъ не повѣритъ. Только бы онъ не спросилъ о Тъери. Но о Тъери онъ не спрашиваетъ, точно вообще нѣтъ никакого Тъери. Онъ говоритъ о ней, о томъ, какъ давно онъ хотѣлъ вотъ такъ сидѣть съ ней вдвоемъ... Неужели? Съ такой несчастной, убитой, потерянной Люкой? Она смѣется. Она сама удивляется какъ легко ей смѣяться. И все ей кажется смѣшнымъ. Даже она сама. Этотъ Герэнь очень милый и какіе у него молодые глаза. Онъ, кажется, даже робѣетъ. Несмотря на свои мил-

ліоны. Но вѣдь онъ могъ бы для своего развлеченія отлить такую, какъ она, из золота, въ настоящую величину, чтобы покататься въ ея обществѣ одинъ разъ. Такой богатый. Странно, что на немъ обыкновенный костюмъ и галстукъ. Онъ похожъ на банковскаго служащаго за конторкой, на кассира или бухгалтера. Никакого величія. — Вы, должно быть, замѣчательный человѣкъ, она убѣждена въ этомъ, иначе, какъ бы онъ заработалъ столько денегъ? Расскажите мнѣ о себѣ. И онъ охотно рассказываетъ. Все, съ самаго дѣтства. Дѣтство, какъ дѣтство, его можно было бы пропустить. Но ему хочется быть откровеннымъ. Ей все равно. Она слушаетъ. Всетаки это мѣшаетъ думать о Тъери. Она слушаетъ, она почти не думаетъ о Тъери. По рассказамъ Герэна онъ очень легкомысленный и обыкновенный, но ему везло. Только удача и рискъ. Но развѣ этого достаточно, чтобы создать золотыя горы, золотой дождь, чтобы превращать въ золото все, къ чему онъ прикоснется? Он все рассказываетъ, но она больше не слѣдитъ. Мысли уносятъ ее за Тъери, по слѣдамъ его шинь, въ Швейцарію. Довольно уже, она вѣритъ и такъ. Удача, рискъ... она поняла. Герэнъ дѣлаетъ паузу и вдругъ говорить — Я влюбился въ васъ съ перваго взгляда и вотъ наконецъ... онъ сбивается, онъ снова касается сердца или бумажника — Да, я влюбленъ... Это доходить до ея сознанія — „влюбленъ“, „любовь“... Все, что касается любви и горя. Она слушаетъ. Какой онъ романтичный. — Я теряю голову... Нѣтъ не надо терять эту лысую, умную голову. Она улыбается. Вѣдь это не такъ уже неожиданно: Тъери часто смѣялся, что Герэнъ влюбленъ въ нее. Онъ даже говорилъ, что ревнуетъ. Но она не ждала влюбленности. Она думала, что Герэнъ, практичнѣе, реальнѣе. Онъ кажется дѣйствительно влюбленъ. Тъери ревнивъ. Ревность можетъ вернуть любовь. Рискъ, удача. Терять ей нечего. Тъери

уже потерянь. Но удача и рискъ. — Я хочу только немного нравиться вамъ. — Вы мнѣ очень нравитесь. Онъ краснѣетъ. Такой, какъ онъ и краснѣетъ. — Что же вамъ нравится во мнѣ? Онъ беретъ ее за руку. Она не отнимаетъ руки. — Ваши глаза (это правда), то, что въ васъ столько молодости, несмотря на годы. И главное — что вы такой богатый. — Богатый? переспрашиваетъ онъ. Она киваетъ. Кажется, этого говорить нельзя, не принято. Богатство — это власть и сила и знаменитость. Все сразу. Вы обидѣлись?

Нѣтъ, онъ совсѣмъ не обидѣлся. Но онъ становится менѣе разговорчивымъ, менѣе восторженнымъ, еще болѣе влюбленнымъ, немного грустнымъ. Съ нимъ очень пріятно. Они катаются по Булонскому лѣсу, потомъ пьютъ чай въ Сень Клу. Объясненія въ любви, обѣщанія вѣрности. Немного смѣшно, немного трогательно, совсѣмъ не противно. Она сама расскажетъ Тъери, покажетъ ему брошку, огромную брошку.

Герэнь робко обнимаетъ ее и она не отталкиваетъ его. Онъ цѣлуетъ ее въ щеку — Я вамъ не очень противенъ?

Они проѣзжаютъ мимо цвѣточного магазина.

— Позвольте мнѣ купить вамъ розъ.

Но она качаетъ головой. — Нѣтъ, не надо цвѣтовъ. Пусть онъ лучше купитъ ей брошку. Ему вѣдь безразлично, что купить. А ей давно хочется большую брилліантовую брошку, у нея нѣтъ никакихъ драгоценностей. Она говоритъ это просто, безо всякаго стѣсненія, не все ли равно, — разъ онъ такъ богатъ и хочетъ сдѣлать ей удовольствіе.

И онъ принимаетъ ея желаніе такъ же просто. —

— Хорошо, говоритъ онъ. Завтра поѣдемъ покупать. Но розы вы должны взять. И онъ покупаетъ ей цѣлый ворохъ красныхъ розъ.

Онъ довозитъ ее до отеля. — До завтра. Я утромъ

позвоню. Онъ стоитъ на троттуарѣ, лысина его поблескиваетъ. — Спасибо, это самый счастливый день, онъ задумывается, подсчитываетъ,— за десять лѣтъ. Онъ цѣлуетъ ея руку. Да, безусловно, за десять лѣтъ.

Ночью ей снится брошка. Она въ Италиі, она въ поѣздѣ. Сколько птицъ и деревьевъ. Но Тъери не снится ей. Тъери никогда не снится ей. Будто онъ не хочетъ войти даже въ ея сны.

Она просыпается поздно. Сейчасъ позвонитъ Герэнъ. Она одѣвается, стараясь думать только о брошкѣ — „У тебя нѣтъ никакихъ драгоценностей“ — а вотъ будутъ. И не отъ Тъери. Она представляетъ себѣ, какъ она распахнетъ пальто и Тъери впервые увидитъ брошку. — Съ фальшивыми драгоценностями не надо преувеличивать, скажетъ онъ насмѣшливо. Она кивнетъ. — Я никогда бы не надѣла такую большую фальшивую брошку. Это будетъ минута ея торжества. Потомъ она вернетъ брошку Герэну. Брошка нужна ей только, чтобы поймать Тъери. Рыбу ловятъ на червяка, Тъери на ревность, на брошку. Брошка только приманка, но не для нея, для Тъери. Онъ разсердится, онъ заставитъ ее вернуть брошку Герэну. Нѣтъ, о Тъери лучше не думать. Покупать брошку съ заплаканными глазами неприлично. Ах, ей совсѣмъ не нужна брошка. Только чтобы показать Тъери. Только, чтобы вернуть Тъери, Тъери, Тъери, Тъери.

— Я въ отчаяніи говорю глухой голосъ Герэна. У меня гриппъ. Я не смогу выйти изъ дома. Простите меня, ради Бога. У меня жаръ. — Мнѣ очень жаль, отвѣчаетъ она. Ей, дѣйствительно, очень жаль. И какъ же брошка? Но о брошкѣ она молчитъ. Она желаетъ ему скорѣе поправиться. — Я уѣзжаю послѣзавтра въ Италию. — Я такъ надѣялся...

Онъ, этотъ Герэнъ тоже надѣется. Всѣ надѣются, каждый на свое. Она вздыхаетъ. Съ брошкой было

бы легче ждать, легче надѣяться. Но зато теперь можно плакать,— ни Герэнь, ни ювелиръ не увидятъ.

Герэнь обѣщаль позвонить завтра. Но на завтра онъ не звонитъ. Не звонитъ ни утромъ, ни въ полдень. Люка ждетъ. Она сидитъ въ зеленомъ креслѣ и ждетъ. Почему ей всегда приходится ждать? Почему не другіе ждутъ, а она? Даже этого влюбленнаго Герэна и того ждетъ? Уже пять часовъ. Можетъ быть, онъ очень боленъ и дѣйствительно не можетъ позвонить? Онъ такой аккуратный, вѣжливый, влюбленный. Да, должно быть, онъ очень боленъ. Она сама позвонитъ ему. Она поѣдетъ навѣстить его. Какъ онъ обрадуется. И ей необходимо увидѣть его, поговорить съ нимъ. Она не можетъ больше оставаться одна со своимъ горемъ. Ей надо, чтобы ктонибудь былъ съ ней, говорилъ, улыбался, смотрѣлъ на нее, чтобы онъ дышалъ, чтобы у него были теплыя руки.

Она звонитъ Герэну. — Говоритъ Людмила Дэль. Какъ здоровье директора Герэна? — Людмила Дэль? переспрашиваетъ молодой, срывающіся голосъ. Въ трубкѣ легкое шелканіе, будто кто-то вздохнулъ и сейчасъ же быстрый отвѣтъ,— Спасибо, мой отецъ здоровъ. — Но развѣ онъ не былъ боленъ? — Нѣтъ, отецъ здоровъ. Онъ дома, я его сейчасъ...— Не былъ боленъ? Люка не успѣваетъ понять, она уже слышитъ голосъ Герэна — Вы меня простите, я былъ очень занятъ, не успѣлъ вамъ позвонить. — Но вы вѣдь больны? — Нѣтъ, это была ложная тревога. Прошло. Но я такъ страшно занятъ, ни минуты времени. Она всетаки предлагаетъ — Хотите обѣдать вмѣстѣ? — Къ сожалѣнію, не могу, голосъ его звучитъ вѣжливо, но рѣшительно. Но она настаиваетъ. — Вѣдь я уѣзжаю завтра и мнѣ очень скучно. Устройтесь какъ-нибудь. Она вдругъ чувствуетъ, что совсѣмъ не можетъ пере-

жить этотъ одинокій, страшный вечеръ. Она цѣпляется за Герэна — Пожалуйста, я очень прошу. Но онъ отказывается. — Мнѣ безконечно жаль, но я занятъ. Она чувствуетъ, что коверъ начинаетъ колыхаться подъ ея ногами, что у нея больше нѣтъ ни гордости, ни сдержанности, что она уже не владѣетъ собой. — Послушайте,— слезы текутъ изъ ея глазъ, мѣшаютъ ей говорить,— вы не знаете, я очень несчастна, Тъери бросилъ меня. Я не могу быть одна. Приѣзжайте ради Бога. Но его голосъ еще холоднѣе, еще вѣжли-вѣе — Мнѣ очень жаль. Я не зналъ. Надѣюсь, это только короткая размолвка. — Нѣтъ, нѣтъ, перебиваетъ она. Совсѣмъ бросилъ. И вдругъ съ ужасомъ понимаетъ, что эта правда, что Тъери дѣйствительно бросилъ ее совсѣмъ и никакая брошка, никакая ревность уже не помогутъ. — Пожалѣйте меня, приѣзжайте ко мнѣ, умоляю васъ. Такъ унижено она не просила даже Тъери. — Вамъ надо успокоиться, лечь, принять валеріановыхъ капель. Увѣряю васъ, что я не могу приѣхать. Она молчитъ, она не можетъ говорить, она только всхлипываетъ. Оттого, что она наконецъ ясно поняла, что Тъери совсѣмъ, навсегда бросилъ ее, оттого что она, понявъ это, не можетъ остаться одна. Герэнь молчитъ съ минуту — Вы слушаете? Желаю вамъ счастливаго пути. Въ Венеціи, вы конечно, помиритесь. Венеція — рай для примиреній. Желаю вамъ удачи и очень жалью. Она слышитъ гулъ въ ухѣ, значитъ онъ повѣсилъ трубку. Онъ не придетъ и никто не придетъ. Ей некуда пойти въ этомъ огромномъ Парижѣ. Она одна. Она наконецъ вѣшаетъ трубку. — Какой стыдъ, говоритъ она себѣ, какой позоръ,— такъ унизиться. Просить о жалости, а жалости нѣтъ ни у кого. Она не чувствуетъ ни стыда, ни позора. Только горе и странный вкусъ во рту. Она встаетъ. Надо поѣхать въ магазинъ купить чемоданъ. У нея еще Павликовскій дешевый, потрепан-

ный. Она открываетъ шкафъ, достаетъ пальто — какъ сильно оно надушено. Отъ запаха духовъ ей становится дурно — потъ выступаетъ на лбу, колѣни становятся мягкими, будто они изъ ваты. Она мягко, какъ подушка, падаетъ на полъ вмѣстѣ съ надушеннымъ пальто. Остальное тишина, остальное темнота. Все исчезаетъ — свѣтъ, и шумъ, и боль. Ничего нѣтъ. — Умираю, смутно соображаетъ она и, собравъ остатки силъ, тихо зоветъ — Тьері. Тьері.

Дрожащій голосъ Люки всхлипываетъ — Ради Бога, умоляю васъ. Приѣжайте. Пожалѣйте меня. — Мнѣ очень жаль. Я не могу. Вы навѣрное помиритесь въ Венеціи. Венеція рай для примиреній. Онъ ждетъ ея отвѣта, но она только всхлипываетъ. Онъ говоритъ холодно и жестоко, на зло себѣ — Счастливаго пути, говоритъ онъ, отрѣзая себѣ этимъ пожеланіемъ счастливаго пути всѣ пути къ встрѣчѣ съ Люкой. До свиданія. Она молчитъ и онъ рѣшительнымъ рѣзкимъ движеніемъ вѣшаетъ трубку, будто всаживаетъ себѣ ножъ въ сердце. Кончено. Навсегда кончено. Онъ стоитъ у стола. Ничего нельзя сдѣлать, игра проиграна разъ навсегда. Онъ не можетъ приѣхать къ ней безъ брошки. Если бы онъ вчера не общалъ. Если бы онъ сказалъ — я подыщу къ вашему возвращенію. Но теперь, послѣ этого разговора... Быть полгода влюбленнымъ и въ день, когда услышишь — умоляю васъ, приѣжайте, отвѣтитъ отказомъ.

Еще вчера все казалось простымъ. Чтобы ему, Герэну, отказали въ сорокатысячномъ кредитѣ, чтобы не взяли его вексель... Онъ давно зналъ, что онъ раззоренъ, но до разговора съ ювелиромъ, это было какое-то абстрактное знаніе, не входящее въ жизнь, знаніе на бумагѣ, на словахъ. Въ жизни все шло по старому. Онъ все еще жилъ въ собственномъ особнякѣ, пусть перезаложеномъ, съ собственными слугами,

пусть не плаченными, съ автомобилемъ, съ дочерью, будто ничего не случилось. Жилъ въ долгъ, но жилъ по прежнему. И его лошади попрежнему скакали въ Лоншанъ и Отей. Конечно, онъ былъ раззоренъ, но свое раззореніе онъ почувствовалъ только вчера послѣ разговора съ ювелиромъ. Очень вѣжливаго, очень рѣшительнаго, очень унизительнаго разговора.

Онъ сидитъ у своего письменнаго стола, въ своемъ кабинетѣ, прямой, подтянутый, въ бѣломъ крахмальномъ воротникѣ, въ черномъ костюмѣ, похожій на кассира, на кассира, котораго судятъ за растрату. Онъ смотритъ въ окно на голыя вѣтки своего дерева. Это все еще принадлежитъ ему. Нѣтъ, ничто уже не принадлежитъ ему. Ни здѣсь и нигдѣ. Это только декорация, какъ въ студіи, онъ только актеръ, разыгрывающій роль банкира. Актеръ? Нѣтъ, онъ даже не актеръ, онъ лишь изображеніе актера, проходящее на экранѣ. Его вовсе нѣтъ больше, онъ уже не существуетъ. Онъ бывший человѣкъ, благодаря какой то неправильности механизма еще случайно удержавшійся на землѣ, въ Парижѣ, въ этомъ особнякѣ. Бывшій, конченный человѣкъ. Легкомысліе, удача, рискъ, которые всю жизнь работали на него, вдругъ объявили забастовку, модную забастовку на мѣстѣ — *Grève sur le tas*. Они еще здѣсь, въ его домѣ, хоть и не работаютъ больше на него. Но отъ ихъ присутствія все какъ-то еще движется, вѣрнѣе, дѣлаетъ видъ, что движется.

Съ тѣхъ поръ, какъ, двадцать два года тому назадъ, онъ занялся поставками на войну, понявъ „нѣкоторыя экономическія причины и слѣдствія“ какъ онъ насмѣшливо говорилъ, деньги его все увеличивались и увеличивались. Они такъ быстро, такъ стремительно умножались... Легкомысліе, рискъ и удача, какъ музы летали надъ нимъ, голубями вились вокругъ него, мягкимъ ковромъ ложились ему подъ ноги. Двадцать

два года. А теперь вотъ они спятъ въ углу кабинета, нѣжно обнявшись и прижавшись другъ къ другу. Спятъ или, можетъ быть, умерли.

Это началось приблизительно со знакомства съ Людмилой Дэль, съ влюбленности въ нее. Когда онъ понялъ, что даже стараться не стоитъ, что она просто не замѣчаетъ его, какъ не замѣчаетъ никого, кромѣ Тъери. Если бы онъ тогда вступилъ въ борьбу съ Ривуаромъ изъ за нея... Но его легкомысліе впервые измѣнило ему, онъ впервые поступилъ благоразумно — онъ отступилъ безъ боя. Онъ не хотѣлъ ни легкомыслія, ни риска и удача отступилась отъ него, обидѣлась за своихъ сестеръ, они всѣ втроемъ обидѣлись.

Онъ вдругъ сталъ терять деньги легко, такъ же легко, какъ зарабатывалъ, только еще быстрѣе. Такъ быстро, что даже не могъ услѣдить, какъ будто это были не золотыя, а ледяныя горы и они таяли на солнцѣ. И теперь вотъ растаяли совсѣмъ, превратились въ большую лужу. Какъ разъ въ тотъ день, когда Людмила Дэль умоляла его придти. Если даже нырнуть на дно лужи, тамъ не найдешь брошки. А безъ брошки, безъ брошки, которую онъ обѣщалъ ей, придти нельзя. Такой пустякъ — брошка за сорокъ тысячъ и все рухнуло.

Онъ сидитъ у окна. Онъ чувствуетъ свой черепъ, свои ребра, свой позвоночникъ. Будто у него уже нѣтъ тѣла, остался одинъ скелеть, и только въ груди, подъ ребрами еще виситъ, зацѣпившись за ребра, сердце, и бьется, и болитъ. Катастрофа, крахъ всей жизни, всѣхъ надеждъ, послѣдней надежды — надежды на Людмилу Дэль.

Сѣрый ангорскій котъ мягко прыгаетъ ему на колѣни. Это его единственный другъ, его одного онъ любитъ. Онъ одинъ понимаетъ его, сочувствуетъ ему. Онъ прижимается лысой головой къ его пышной, мяг-

кой шерсти. — Гаргантюа, другъ мой, тебѣ жаль меня? Котъ мурлычетъ, выгибая спину. — Все погибло, Гаргантюа. У него нѣтъ никого на свѣтѣ, кромѣ этого кота. Его онъ унесетъ отсюда, его никто не отберетъ отъ него. Все продадутъ съ торговъ и лошадей тоже. Но кота оставлять ему. И это справедливо — котъ ему дороже всего на свѣтѣ. Дочь? Нѣтъ, дочь совсѣмъ чужая, онъ никогда не любилъ ея. И она, навѣрно, станетъ врагомъ, когда узнаетъ, что она нищая, что у нея нѣтъ приданого, нѣтъ возможности выйти замужъ за какого нибудь герцога. А съ котомъ они не разстанутся никогда. Даже если придется ночевать подъ мостомъ. — Гаргантюа бѣдный, бѣдный, — Герэнъ плачетъ. Конечно, ему жаль себя, но онъ не сталъ бы плакать надъ собою. Но Гаргантюа... слезы бѣгутъ по его щекамъ, по его накрахмаленному, блестящему воротничку, падаютъ на усатую морду кота. Котъ фыркаетъ и вытираетъ лапкой носъ. — Гаргантюа, прости меня. и вдругъ громко говоритъ — Прости меня. Простите меня — это относится къ Людмилѣ Дэль, хотя, конечно, она никогда не простить. Не сможетъ понять, не сможетъ простить.

Въ комнатѣ совсѣмъ темно. Онъ сидитъ, не зажигая свѣта, держа кота на колѣняхъ. Онъ плачетъ такъ, какъ плачутъ только старики и маленькія дѣти. Плачетъ впервые за свою удачную, бессмысленную жизнь.

Лакей докладываетъ, что обѣдъ поданъ.

— У меня болитъ голова. Потушите люстру, приказываетъ Герэнъ лакею.

Въ большой столовой почти темно. Торжественно и церковно-пышно горятъ свѣчи въ высокихъ серебрянныхъ канделябрахъ, отражаясь въ хрустальной вазѣ съ красными розами. Совсѣмъ такія розы онъ купилъ позавчера Люкѣ. Онъ должно быть еще не увяли. Въ этихъ свѣчахъ и розахъ какая-то обманная

праздничность. Но это будничный обѣдъ. Самый скучный, самый несчастный обѣдъ.

Напротивъ Герэна, на стулѣ съ высокой спинкой, держась очень прямо сидитъ его дочь Лорансъ. Лакей наливаетъ супъ. Отъ миски идетъ паръ. Но это только декорация. Только декорация послѣдняго акта раззоренія и катастрофы. Герэнъ видитъ какъ супъ, зачерпнутый разливательной ложкой, наполняетъ тарелку. Совсѣмъ какъ настоящій, но это только кажется. Второй лакей ставитъ передъ нимъ тарелку. Герэнъ подноситъ ложку ко рту. Супъ горячій, соленый и это удивляетъ Герэна. Вѣдь теперь когда все, какъ во снѣ, ѣда не должна имѣть вкуса. Нѣтъ, такой реальный, горячій, трудноглотаемый супъ онъ не станетъ ѣсть. Ему непріятно все. Ему непріятенъ супъ и лакей, непріятна Лорансъ, непріятно, что она сидитъ здѣсь и внимательно смотритъ своими серьезными дѣтскими глазами, непріятно, что она похожа на свою мать. На свою мать и его жену, которая тоже была ему всегда непріятна, несмотря на то, что была хорошенькая и съ деньгами. Изъ за этихъ денегъ (не очень большихъ) онъ и женился на ней. Изъ-за этихъ денегъ онъ и не могъ ее полюбить. По его понятіямъ любить можно было только женщину, которой даешь деньги, женщину, отъ которой берешь деньги, любить нельзя. Но она, его жена, любила его. И она требовала отъ него любви и вѣрности. Онъ ясно помнитъ какъ, пятнадцать лѣтъ тому назадъ, узнавъ объ его измѣнѣ, она широко открыла ротъ и какъ этотъ круглый открытый ротъ, черная дыра на совсѣмъ блѣдомъ лицѣ былъ ему противенъ и страшенъ. И самое противное и страшное было то, что изъ этого черного открытаго рта не вылетѣло ни одного звука. Она высоко подняла обѣ руки надъ головой, она постояла такъ съ минуту въ странной, почти танцующей позѣ и вдругъ закачавшись, грохнулась на полъ. И только

послѣ того, какъ онъ поднялъ и уложилъ ее на диванъ, она заплакала и сказала: „Ты погубилъ мою жизнь, я тебя ненавижу“. Съ этого дня она стала его врагомъ. Близкіе человѣка всегда его враги. И теперь настаетъ день, когда врагомъ станеть и Лорансъ. Она навѣрно, такъ же, какъ мать беззвучно откроетъ черный ротъ, такъ же упадетъ, такъ же обвинить его въ томъ, что онъ погубилъ ея жизнь и ему будетъ такъ же противно и страшно.

Ея мать хотѣла вѣрности и любви. Лорансъ хочетъ денегъ и замужества съ какимъ нибудь графомъ или герцогомъ, какъ всѣ. Чего же ей еще хотѣть? Это естественно. И она станеть его врагомъ. Онъ смотритъ на нее, онъ не любитъ ее, онъ совсѣмъ не знаетъ ее и всетаки ему непріятно, что она скоро возненавидитъ его, онъ уже самъ почти ненавидитъ ее за ея будущую ненависть къ нему, за свое будущее униженіе передъ ней. Она скажетъ — Ты испортилъ мою жизнь. Я тебя ненавижу. Хорошо еще, что она молчитъ сейчасъ.

Лорансъ чувствуетъ на себѣ взглядъ отца. Она робко улыбается ему, улыбкой прося у него прошеніе за то, что она не знаетъ, что сказать ему, за то, что она не любитъ его. Не любить отца. Это кажется ей безнравственнымъ, преступнымъ, это мучаетъ ее. Но какъ полюбить такого чужого, самодовольнаго, удачливаго отца? У нея еще нѣтъ ясныхъ мыслей и взглядовъ на жизнь, у нея только ощущенія жизни и зла міра, смутное чувство отвѣтственности. Отвѣтственности за все — за нишаго на углу, за крушеніе поѣзда, за раздавленную чужимъ автомобилемъ собаку, даже за дождь. Вѣчное чувство вины передъ всѣмъ. И недовольство своей судьбой и богатствомъ своего отца. Главное недовольство богатствомъ, ненависть къ богатству, полное отталкиваніе отъ всего,

что дорого стоитъ. Въ дѣтствѣ неисполнившаяся мечта о заплатанныхъ локтяхъ, о заштопанныхъ чулкахъ, о дешевомъ волчкѣ. — Игрушки сыпались на нее съ механической точностью, очень дорогія, очень сложныя и нелюбимыя. Главное куклы, дюжины куколъ. Платья и шубки и башмаки были постоянно новыя, къ нимъ даже нельзя было привыкнуть, сжиться съ ними. Едва только какая нибудь шляпа или перчатки теряли безличность, какъ ихъ уже выкидывали, замѣняли новыми. Богатство казалось стѣной, отдѣляло ее отъ настоящей жизни. Тамъ, по ту сторону стѣны люди трудятся, борются за существованіе, — но она выросла въ богатствѣ. Тѣнь этого богатства легла чернымъ пятномъ на ея дѣтскую душу. У нея было цѣлыхъ двѣ, враждовавшихъ между собой гувернантки. Лорансъ казалось, что онѣ только притворялись что враждуютъ. Что на самомъ дѣлѣ гувернантки были союзницами противъ нея, Лорансъ, ихъ общаго врага. Но такъ какъ Лорансъ была не только врагомъ, но и средствомъ для существованія гувернантокъ, то вступить съ ней въ открытую войну нельзя было и понадобилось изобрѣсти тактику взаимной вражды, прикрывая ею общую ненависть къ Лорансъ.

Потомъ когда она поступила въ лицей, богатство еще тяжелѣе стало давить ее. „Зачѣмъ ты зубришь? спрашивали подруги. Тебя и такъ не посмѣютъ провалить на экзаменѣ. И на что тебѣ дипломъ? Въдь ты богата, тебѣ не придется работать. Ты могла бы не быть такой хорошенькой и всетаки прекрасно устроить свою жизнь. При твоёмъ богатствѣ ничто не имѣетъ значенія”. Да, ничего не имѣло значенія, только деньги ея отца. Она была дочерью, наслѣдницей Герэна, больше ничего. Сама по себѣ — ничѣмъ. Ее не замѣчали. Богатство прятало ее, какъ чадра турчанку, отъ чужихъ глазъ. Никому не было дѣла умна она или глупа, добра или зла. Ей льстили, ей

угождали из-за денегъ ея отца. Она стала скрытной и застѣнчивой. Подруги смѣялись надъ ней — У тебя отъ богатства развился комплексъ малоцѣнности. Она стыдилась богатства, какъ стыдятся бѣдности,— стыдилась своихъ дорогихъ платьевъ, автомобилей, скаковыхъ конюшенъ отца и этого дома. Въ шестнадцать лѣтъ у нея не было ни кокетства, ни желанія нравиться. Только желаніе остаться попрежнему незамѣченной, не обращать на себя вниманія.

Она ненавидѣла свою внѣшность. Хорошенькая. Отвратительное пошлое слово, которымъ ее часто награждаютъ на улицѣ прохожіе. Если бы она была уродомъ или красавицей. Богатыя могутъ быть только или красавицы или уроды. А такія, какъ она теряютъ послѣднее отъ богатства, становятся смѣшными. Она чувствовала это и боязнь стать смѣшной дѣлала ее еще болѣе робкой и растерянной.

Весной она кончила лицей. Съ тѣхъ поръ она живетъ, ничѣмъ не занимаясь, ничего не желая, никого не любя. Учиться дальше она не захотѣла. Къ чему? У нея нѣтъ никакихъ особыхъ способностей. Она не музыкальна, она посредственно рисуетъ. Изъ всего этого не можетъ выйти толкъ. Настоящихъ подругъ у нея нѣтъ. Единственное, что нравится ей — это плаваніе. Но нельзя же цѣлый день проводить въ бассейнѣ. День длинный, одинокій, пустой. Ей хочется работать, но чтобы работа дѣйствительно приносила пользу, а не такъ зря. Быть бѣдной. По ночамъ она мечтаетъ о счастливой бѣдной жизни. — Они живутъ съ отцомъ въ маленькой квартиркѣ. Она служитъ дактило. Вечеромъ, возвращаясь домой со службы, она покупаетъ отцу папиросы и шоколадъ. Онъ самъ отворяетъ ей дверь... онъ ждетъ ее... онъ цѣлуетъ ее. Онъ больной, онъ старый, онъ уже не можетъ работать. Какъ онъ благодаренъ ей. Что бы онъ сталъ безъ нея дѣлать? Она вынимаетъ изъ кармана

папиросы, шоколадъ. Она бѣжитъ на кухню, надѣваетъ передникъ, жаритъ яичницу, ставитъ на покрытый пестрой клеенкой столъ литръ краснаго вина и они весело обѣдаютъ. Весело, а не такъ, какъ сейчасъ, въ этой огромной мрачной, торжественно-скучной столовой.

— Тебѣ звонила Людмила Дэль? спрашиваетъ Лорансъ. Людмила Дэль самая восхитительная женщина на свѣтѣ. Лорансъ видѣла ее на скачкахъ. Она стояла рядомъ съ Ривуаромъ въ горностаевой шубкѣ. У нея былъ такой нѣжный и гордый видъ, она была похожа на Снѣгурочку. Лорансъ ничего не видѣла въ тотъ день — ни скачекъ, ни публики. Только ее — Людмилу Дэль.

— Да, отвѣчаетъ Герэнъ, Людмила Дэль звонила мнѣ. Она завтра ѣдетъ въ Венецію и хотѣла проститься.

— Въ Венецію? Лорансъ старается представить себѣ эту прелестную Людмилу на венеціанской площади, среди голубей.

— Это правда, что она бросила мужа для Ривуара? Герэнъ морщится. — Что за вздоръ. Глупыя сплетни. Да, она разошлась съ мужемъ, совмѣстная жизнь мѣшала ей карьерѣ. Ривуаръ, конечно, влюбленъ въ нее, но она не обращаетъ на него вниманія. По его словамъ выходитъ даже, что если Люка къмъ-нибудь интересуется, такъ это имъ, Герэномъ.

Лорансъ слушаетъ. — Ахъ, она такъ нравится мнѣ. Нельзя ли когда-нибудь пригласить ее къ намъ? Герэнъ киваетъ.

— Конечно можно, когда она вернется изъ Венеціи. — И ты думаешь она дѣйствительно придетъ? Лорансъ краснѣетъ. Неужели Людмила Дэль можетъ придти къ нимъ? Она, окруженная влюбленностью, поклоненіемъ, у которой каждая минута на счету, найдетъ время для нихъ? И она будетъ сидѣть здѣсь?

Отъ одной этой мысли эта ненавистная столовая

как-то вся преображается, уродство скуки, лежащее на стѣнахъ и на предметахъ, превращается въ прозрачную тѣнь, будто сіяніе прелести Людмилы Дэль уже освѣтило все кругомъ. Она войдетъ въ этотъ домъ, она будетъ сидѣть здѣсь. На минуту это кажется Герэну совсѣмъ возможнымъ. Она войдетъ въ этотъ домъ навсегда. „Вы очень нравитесь мнѣ”, сказала она.

Герэнь смотритъ на Лорансъ улыбаясь — Конечно придетъ, говоритъ онъ ей и себѣ. Мысль о Люкѣ связываетъ ихъ. Они взволнованы, на минуту они почти близки другъ другу. Сейчас Лорансъ могла бы подойти къ отцу, поцѣловать его и онъ нѣжно отвѣтилъ бы на ея поцѣлуй.

Дверь отворяется, входитъ лакей. — Госпожа Дэль у телефона. Герэнь быстро отодвигаетъ стулъ и встаетъ. Но передъ глазами, какъ большой сверкающій паукъ, перебирая бриллиантовыми лапками, пробѣгаетъ брошка. Брошка, которой нѣтъ, которую нельзя достать. — Скажите, что я вышла, говоритъ Герэнь и снова садится.

— Папа, вскрикиваетъ Лорансъ, но взглянувъ на его поблѣднѣвшее лицо, прикусываетъ губу. Больше до конца обѣда они не говорятъ ни слова.

Герэнь снова возвращается въ кабинетъ. Слуга, докладываетъ, что на чердакѣ поймалась мышь. Прикажете принести? — Да принесите.

— Вотъ сейчасъ поохотится Гаргантюа, сейчасъ повеселится. Слуга возвращается съ мышеловкой. Маленькая дрожащая мышь испуганно жметъ къ проводочной стѣнкѣ. Она смотритъ на Герэна затравленными круглыми, звѣриными глазами, уже сознавая, что спасенья нѣтъ. И вдругъ онъ снова вспоминаетъ Люку. Такъ, совсѣмъ такими же затравленными глазами она посмотрѣла на него, садясь въ автомобиль. Это длилось только мгновенье, она сейчасъ же улыбнулась и закрыла глаза и онъ сейчасъ же забылъ ея взглядъ,

но это былъ совсѣмъ такой же взглядъ — затравленный, ожидающей гибели. Онъ быстро открываетъ дверцу, выбрасываетъ мышъ на коверъ. Сѣрая черточка, какъ сѣрая молнія мелькаетъ на коврѣ и мыши нѣтъ.

Второй лакей приноситъ кота.—Опоздали къ угощенію, насмѣшливо говоритъ Герэнь коту. Онъ со злостью смотритъ на кота, съ той же злостью, которую онъ весь день испытываетъ къ себѣ, будто онъ и котъ чѣмъ-то связаны, въ чемъ то виноваты. Котъ нервно обѣгаетъ кабинетъ, обнюхиваетъ мышеловку и вдругъ случается то, чего никто, ни лакей, ни котъ, ни Герэнь ждаты не могли.

— Прочь, кричитъ Герэнь и отбрасываетъ ногой — его, Гаргантюа, единственнаго, дорогого. И котъ, оцетинившись летитъ въ уголь какъ огромная бѣлая пуховка и ударяется о кресло. — Уберите его, приказываетъ Герэнь лакею, даже не взглянувъ на кота.

Люка открываетъ глаза и тихо зоветъ: Тъери. Но Тъери нѣтъ. Она лежитъ на плоту, на доскѣ, она плыветъ по зеленымъ волнамъ и вѣтеръ дуетъ ей въ лицо. Какъ она очутилась здѣсь на плоту? Кораблекрушеніе? Но о кораблекрушеніи она ничего не помнитъ. И гдѣ Тъери? Она вспоминаетъ свой разговоръ съ Герэномъ и зеленяя волны становятся ковромъ на полу. Ни вѣтра, ни плота больше нѣтъ. Но почему она упала въ обморокъ? Отъ боли, отъ обиды на Герэна? Она перенесла столько горя отъ Тъери, а вотъ обида отъ чужого человѣка и обморокъ. Она медленно встаетъ. Нѣтъ, это не обида, это болѣзнь. Но ей нельзя болѣть передъ Венеціей. Она сейчасъ же поѣдетъ къ доктору. И она ѣдетъ.

Черезъ часъ она возвращается къ себѣ. Она широко отворяетъ дверь, осторожно переступаетъ порогъ, садится на диванъ, кладетъ подушку за спину. И улы-

бается. Какъ легко, какъ чудно все устроилось, а она уже начинала отчаиваться. Теперь надо только дож-даться встрѣчи съ Тъери. Теперь онъ вернется къ ней. И навсегда.

Она осторожно встаетъ и подходитъ къ зеркалу. Какъ жаль, что еще не видно, что надо будетъ сказать Тъери, что не онъ самъ догадается. Нѣтъ, она не бо-ится уродства, она не боится боли — разъ эта боль, это уродство вернуть ей Тъери. Вернуть? Уже вер-нули. Тъери только не знаетъ еще. Но они уже снова связаны, такъ какъ еще никогда не были связа-ны. Связаны ихъ сыномъ. — У насъ будетъ сынъ, Тъери, говоритъ она вполголоса и тихо смѣется. — По-думай, твой и мой сынъ.

А она хотѣла поймать Тъери на ревность, какъ рыбу на приманку. О какая глупая. Это тебѣ не брошка. не приманка. Это твой сынъ. И Герэнъ съ его брош-кой больше совсѣмъ не нуженъ. Она позвонитъ ему, она скажетъ ему. Она не хочетъ его видѣть, но она хочетъ, чтобы онъ зналъ. Конечно, ей немного стыдно за истерику по телефону, стыдно и смѣшно. Она вызываетъ его номеръ. И ждетъ. Лакей отвѣ-чаетъ, что Герэнъ вышелъ.

Она вздыхаетъ. Ей такъ хотѣлось сказать — вы знаете, у меня будетъ ребенокъ. Впер-вые кому-то сказать про своего ребенка, и этимъ какъ бы приблизить срокъ его рожденія, утвердить его жизнь. Но такъ, можетъ быть, еще лучше, она впервые скажетъ Тъери. Тъери первый узнаетъ. Хоть и трудно, она будетъ молчать пока. Только съ собой она будетъ говорить о своемъ сынѣ. Теперь ей боль-ше не скучно одной. Да она уже и не одна теперь. Ихъ уже двое — она и ея сынъ. Онъ тутъ, съ ней, въ ней.

Телефонъ звонитъ. Это, должно быть, Герэнъ. Но это не Герэнъ. Это Давіэ. Люка не забыла, что

они завтра ѣдутъ въ Венецію? Конечно нѣтъ. А не хочетъ ли Люка присоединиться къ нимъ? Они всѣ, путешественники, рѣшили провести сегодняшній вечеръ вмѣстѣ. Но Люка благодарить, Люка отказывается. Она ляжетъ пораньше, чтобы хорошенько выспаться передъ дорогой. Тогда до завтра. Спокойной ночи.

Люка вѣшаетъ трубку. Если бы Давіэ позвонилъ днемъ, когда она была несчастна и одинока. Такъ всегда бываетъ — богатымъ даютъ, отъ бѣдныхъ отнимаютъ. Все, даже лысаго Герэна. Теперь Люка сама богатая, оттого ее и приглашаютъ. Но ей не нужны теперь эти чужія лица и чужіе голоса. Ей хочется побыть одной, чтобы хорошенько понять, свыкнуться, сродниться съ радостью и ожиданіемъ.

Она сидитъ въ креслѣ, сложивъ руки на колѣняхъ, сосредоточенная, серьезная, улыбающаяся, переполненная ощущеніемъ чужой жизни въ себѣ. Она долго сидитъ, глядя на зеленыя складки оконной занавѣски, на полуувядшія розы, подаренныя Герэномъ. Она думаетъ о Тъери, о встрѣчѣ съ нимъ. Она, раскачивается изъ стороны въ сторону убаюкивая себя и своего сына, прижимаетъ руки къ груди и вдругъ тихо, нѣжно и жалобно начинаетъ напѣвать дѣтскую пѣсню

Быль у Христа Младенца садъ...

Когда Люка на слѣдующій день пріѣзжаетъ на вокзалъ, Давіэ уже ждетъ ее на перонѣ. — Я беспокоился, что вы опоздаете, что вамъ трудно будетъ уложиться. Я хотѣлъ заѣхать за вами.

Они входятъ въ вагонъ. Всѣ уже въ сборѣ. Люка знаетъ ихъ всѣхъ. Они вмѣстѣ съ нею играютъ въ фильмѣ. Арлеттъ Арвиль ея соперница и предательница. Клодъ Гаръ — ея любовникъ. Жермена Жиль — ея сестра по фильму. Они всѣ такіе молодые, весе-

лые. И какъ они много смѣются — по всякому пустяку, безъ всякаго пустяка смѣются. Они какъ школьники, отправляющіеся въ экскурсію. Безъ взрослыхъ. Взрослый — Тьери. И Арлеттъ говоритъ — Хорошо что Ривуаръ уѣхалъ впередъ.

— Почему хорошо? недоумѣваетъ Люка. Арлетта краснѣетъ и не отвѣчаетъ. Да, они очень веселы. И Люкѣ тоже становится весело. Она смѣется вмѣстѣ съ ними. Они очень нравятся ей. Она работала съ ними цѣлую зиму и совсѣмъ не знала ихъ. Они казались ей шумными, вульгарными, а они просто веселые, милые, молодые. И совсѣмъ не злые, не завистливые, какъ говорилъ Тьери.

Давіэ смотритъ на нее. — Вотъ вы какая. Вы казались мнѣ такой сдержанной и гордой. — И противной, быстро добавляетъ Арлеттъ. Да, Дэль, не сердитесь. Мы всѣ васъ терпѣть не могли. А вы премилая. Хотите будемъ друзьями?

Наивное „хотите будемъ друзьями“, протянутая рука, совсѣмъ какъ когда-то въ школѣ. И Люка, пожимая протянутую руку говоритъ совсѣмъ, какъ когда-то въ школѣ — Ужасно хочу. Со всѣми вами хочу.

На ночь переходятъ въ спальный вагонъ. Мѣсто Люки въ одномъ купѣ съ Арлеттъ и это очень пріятно. Такъ хорошо, что не надо разставаться съ этимъ новымъ милымъ другомъ.

Арлеттъ долго возится возлѣ умывальника, потомъ поворачивается къ Люкѣ — Какъ эта штука открывается? Но Люка тоже не знаетъ — Я никогда не путешествовала такъ роскошно, сознается она. Надо спросить у проводника. — Нѣтъ, только не у проводника. Онъ сейчасъ же пойметъ что мы за птицы и въ какомъ классѣ привыкли ѣздить. Я позову Жермену. Жермена, уже успѣвшая надѣть китайскій, расшитый драконами, халатъ, открываетъ умывальникъ, гордясь своей опытностью — Вотъ, дѣти, учитесь жить.

Видите какъ просто. Я была еще гораздо наивнѣе васъ три года тому назадъ. Даже войти въ вертящуюся дверь не умѣла — совершенный увалень. И она смѣясь, уходитъ къ себѣ.

Люка уже лежитъ, но Арлеттъ еще вертится передъ зеркаломъ, ощупываетъ все, проводитъ рукой по полированному дереву. — Какъ красиво. Я такъ ждала этой поѣздки. А вы? Люка киваетъ. — И я... Конечно она ждала не этого. Нѣтъ — вдвоемъ съ Тьери. Горы, солнце, коровы, снѣгъ, шоколадъ и Тьери, Тьери, Тьери сквозь солнце, горы, шоколадъ, Тьери плечомъ къ плечу, молчаливый веселый, усталый. Днемъ и ночью вдвоемъ, въ Венецію, къ крылатому Льву.

Но стоитъ ли объяснять Арлеттъ? Арлеттъ довольна всѣмъ — Восхитительное путешествіе. Она садится на диванъ къ Люкѣ и хотя Люка ни о чемъ не спрашиваетъ ее, рассказываетъ сразу всю свою жизнь. Все. Съ самаго начала, откровенно, довѣрчиво, безстыдно. Какъ она прежде была манекеномъ и съ какимъ трудомъ стала статисткой и какъ наконецъ ей дали „хвостикъ роли“. Все. И всѣ свои любовныя ошибки. „Оттого, что любовь всегда ошибка, когда пройдетъ“. Теперь она влюблена въ Давіэ. Но она не обманывается — и Давіэ станетъ ошибкою когда нибудь. Но сейчасъ съ нимъ очень хорошо. Она наклоняется и цѣлуетъ Люку.

— А вы, маленькая Дэль, вы счастливы? — Да, отвѣчаетъ Люка серьезно, я счастлива и закрываетъ глаза.

— Спокойной ночи Арлеттъ. Свѣтъ гаснетъ. Спать спокойно, лежать удобно. И какіе прелестныя сны снятся въ путешествіи пассажирамъ спальнаго вагона. Утромъ, выспавшіяся, въ новыхъ дорожныхъ костюмахъ онѣ снова перебираются въ свое купэ. Жермена, Клодъ и Давіэ стоятъ у окна. Клодъ уже

бываль въ Швейцаріи, онъ даетъ объясненія и какъ дирижеръ управляетъ восторгами остальныхъ. — „Вотъ сейчасъ изумительный видъ...” Но Люка не хочетъ смотрѣть на Швейцарію одна, безъ Тьери. Съ Тьери, когда поѣдутъ домой. — Отчего вы не смотрите въ окно? спрашиваетъ Давіэ. — У меня кружится голова отъ мельканья, объясняетъ она и поворачивается къ стѣнѣ. — Хотите, предлагаетъ Клодъ, я, какъ спикеръ въ радіо, буду вамъ рассказывать все, что вижу?

Нѣтъ, Люка не хочетъ. — Спасибо, но я боюсь, что меня даже отъ этого укачаетъ.

Она закрываетъ глаза. Швейцарію она увидитъ съ Тьери. Послѣ того, какъ она встрѣтится съ Тьери, послѣ того, какъ она скажетъ ему. Ей вдругъ становится страшно. А что если докторъ ошибся и у нея не будетъ сына? Но въ эту же минуту, какъ успокоеніе, какъ обѣщаніе ее начинаетъ мутить и она выбѣгаетъ въ коридоръ съ поблѣднѣвшимъ отъ тошноты и радости лицомъ.

Когда она возвращается къ купэ — полутьма, всѣ шторы опущены. — Ничего, мы лучше постоимъ въ коридорѣ, говоритъ Давіэ, только бы вамъ не было дурно. Нѣтъ, нѣтъ, откройте, проситъ Люка, мнѣ совсѣмъ не мѣшаетъ. Я лягу, я усну.

Ее покрываютъ теплымъ пледомъ, ей подкладываютъ подушку подъ голову — Спите, спите, вы такая слабенькая. Васъ замучилъ этотъ Ривуаръ. Конечно, замучилъ. Но все теперь въ прошломъ. Теперь онъ будетъ нѣжнымъ и добрымъ. Она улыбается.

— Вы не любите Ривуара? — Терпѣть не могу, отвѣчаетъ Арлеттъ. Какъ и всѣ. Люка краснѣетъ. — Исключая меня. Неловкость, молчаніе. Арлеттъ наклоняется надъ лежащей на диванѣ Люкой и цѣлуетъ ее въ щеку — Простите меня. И всѣ опять смѣются.

Въ окнѣ горы, солнце, водопадъ. Все это она

должна была видѣть съ Тъери въ четыре глаза, но своими двумя глазами она отказывается смотрѣть.

Она не хочетъ спать, она хочетъ только помолчать, помечтать о Тъери и о своемъ сынѣ. Она притворяется спящей. Они говорятъ шопотомъ, они не мѣшаютъ ей мечтать. „Ривуаръ” вдругъ, какъ камешекъ падаетъ въ озерную гладь ея мечтаній и вотъ уже большіе круги расходятся отъ этого, шопотомъ произнесеннаго — „Ривуаръ”. Она боится услышать что-нибудь, чего уже нельзя будетъ забыть, чего она не сможетъ простить, что навсегда нарушитъ ихъ дружбу съ нею. Она потягивается, она третъ кулакомъ глаза. — Мы скоро приѣдемъ? — Теперь уже скоро. Сейчасъ итальянская граница.

Италія... Венеція. На вокзалѣ никто не ждетъ ихъ. Гондола, каналы, крылатый левъ. Все это не имѣетъ никакого значенія. Въ отелѣ Люкѣ и Давіэ подають телеграммы. — Приѣду четвергъ. Неожиданная задержка. Продолжай работу съ Давіэ. — Въ четвергъ а сегодня понедѣльникъ. Три дня, еще три дня надо ждать. Лакей вноситъ багажъ, Давіэ, какъ флагомъ размахиваетъ телеграммой. — Поздравляю. Ривуара ждать не надо. Крутить будемъ безъ него. Поздравляю васъ всѣхъ. Онъ поздравляетъ всѣхъ, значить и ее, Люку. Съ тѣмъ, что Тъери не приѣхаль.

Это Венеція. Это площадь св. Марка. Это венеціанскіе голуби. Это крылатый левъ. Все, о чемъ она такъ много мечтала, копя, складывая мечту на мечту, какъ рубашки въ бѣльевомъ шкафу — стопками, перевязанными ленточками. И вотъ венеціанскіе булыжники подъ ея ногами, венеціанскіе голуби на ея плечахъ, золотыя крылья венеціанскаго льва въ голубомъ небѣ надъ ней. Все, какъ рассказываль Тъери. Венеція... Конечно, это Венеція какъ на картинкахъ и въ рассказахъ. Но безъ Тъери жизнь не жизнь и Венеція не Венеція. Нѣтъ, она не пойдетъ съ осталь-

ными пить кіянты и ѣсть фрутты ди маре, она устала, она ляжетъ. Она не посмотритъ даже въ окно. Ей немного стыдно злого равнодушія, своего нелюбопытства. Ей кажется, что Венеція всѣмъ своимъ прошлымъ, всей своей славой и великолѣпьемъ, дворцами, картинными галлереями, всѣми своими гидами и туристами упрекаетъ ее. Даже тѣнями Жоржъ Зандъ и Мюссэ. — А мнѣ неинтересно признается она. Мнѣ неинтересно все, что не Тьери.

Надежда на то, что сынъ вернетъ ей Тьери, нѣтъ, уже не надежда, а увѣренность. Нѣтъ, не увѣренность, а онъ самъ, ея сынъ, ведетъ ее за руку по площадямъ по садамъ Венеціи навстрѣчу Тьери, навстрѣчу Тьери, въ гондолѣ, по чернымъ ночнымъ поющимъ каналамъ, по тревожнымъ снамъ, навстрѣчу Тьери.

Кончайте фильмъ безъ меня, телеграфироваль Тьери. И начинаютъ работать. — Мы ему покажемъ, когда онъ не мѣшаетъ, говоритъ Давіэ десять, двадцать, сто разъ подрядъ. — Мы ему покажемъ.

Люка впервые работаетъ безъ Тьери, безъ его указаній, безъ его холодныхъ глазъ, безъ знакомаго чувства послушанія, покорности, полного отсутствія себя. Безъ ощущенія собаки на цѣпи. Нѣтъ, она не можетъ работать безъ него, она даже не можетъ двигаться — она упадетъ, она какъ калѣка, у котораго отняли костыль. Съ Тьери она ни о чемъ не думаетъ, ничего не чувствуетъ. Онъ думаетъ, онъ чувствуетъ за нее и она только старается, какъ можно точнѣе, передать то, что онъ желаетъ. Но съ Давіэ она совсѣмъ свободна, она захлебывается въ свободѣ, въ неумѣнны быть самой собой. Она смотритъ на Давіэ, но Давіэ не замѣчаетъ ея растерянности, не протягиваетъ ей руки, не бросаетъ ей спасительнаго пояса. Тони, какъ хочешь. И она тонетъ, она идетъ ко дну.

Она говоритъ слова, которыя должна говорить по

роли, она дѣлаетъ жесты, которымъ ее обучили, такъ какъ при Тъери, только хуже еще, гораздо хуже. И Давіэ не помогаетъ ей, не обращаетъ вниманія, какъ плохо, какъ невозможно плохо она играетъ. Она говоритъ: — Я умираю, оттого, что слишкомъ люблю тебя, Жакъ, и вдругъ чувствуетъ, что это дѣйствительно правда что она умираетъ отъ любви, что всѣ слова, которыя она говоритъ, ей сейчасъ дѣйствительно необходимо сказать, что она говоритъ ихъ сознательно. Она умираетъ оттого, что больше не можетъ жить, оттого, что ей ничего не останется, какъ умереть.

— Жакъ... она поднимаетъ руки, чтобы сложить ихъ заученно-условно-умоляюще, но руки вдругъ сами вцѣпляются въ рукавъ Клода съ безнадежнымъ желаніемъ удержать его. А Люка уже убѣждаетъ, унижается и грозитъ всѣми словами своей роли, не оглядываясь на Давіэ, не слыша своего голоса, не чувствуя ничего, кромѣ страха разлуки. — Если ты уйдешь... она встаетъ, она бѣжитъ за нимъ, она становится на колѣни передъ нимъ. Нѣтъ, она уже не боится упасть, ея движенія смѣлы и легки, она все можетъ сейчасъ. Ей стоитъ только поднять руку, чтобы достать съ неба звѣзду. Но ей ненужна звѣзда съ неба, ей нужна любовь этого Жака, ей нужно умереть изъ-за этой любви. Она падаетъ на диванъ, она сбрасываетъ подушки на полъ, она плачетъ. Да, она дѣйствительно плачетъ. Настоящія слезы текутъ по ея лицу. Она впервые испытываетъ желаніе умереть. Но вѣдь ей никогда не приходила въ голову мысль о самоубійствѣ. Никогда. Несмотря на всю любовь, на все горе. И вдругъ отъ фальшивыхъ словъ роли, которыя она говоритъ на плато такому же актеру, какъ она, она чувствуетъ, что дѣйствительно можетъ, дѣйствительно хочетъ умереть. И увлекаемая захлестнутая неожиданнымъ вдохновеніемъ, заставляющимъ ее чувствовать и переживаетъ то, что она съ предѣльной правдивостью гово-

рить сейчас, она всетаки смутно, краемъ сознанія думаетъ о Тъери, о своей любви къ нему. Почему она никогда не хотѣла умереть за него? Неужели она недостаточно любить его? Любить меньше и хуже, чѣмъ эта женщина, которую она сейчасъ изображаетъ? Среди декораций и бутафорскихъ словъ, отъ этихъ словъ и этихъ декораций, она вдругъ понимаетъ, что можно любить еще больше, еще тяжелѣе. Какъ будто вывернутая на изнанку перчатка. Не жизнь помогаетъ играть роль въ фильмѣ а игра въ фильмѣ проясняетъ ея жизнь. Она еще научится по настоящему любить Тъери. Но обо всемъ этомъ она думаетъ смутно, не мыслями, а разлетающимися складками своего широкаго платья, декорациями, рѣжущимъ свѣтомъ лампъ, сквозь безошибочную точность вдохновенія.

Это дѣйствительно вдохновеніе, все, что она говоритъ, все, что дѣлаетъ. Слова сейчасъ же вызываютъ нужныя чувства, жесты, выраженіе лица. Ошибиться нельзя. Слова сейчасъ же воплощаются въ жизнь. Вотъ она поетъ на сценѣ и чувствуетъ всю головоломную путаницу страха, провала, сомнѣній, жажды славы, увѣренности въ себѣ, побѣды. Все, чего она желала когда-то, когда еще была женой Павлика, когда еще не знала Тъери и только неясно мечтала о блестящей судьбѣ. И вотъ свершилось — она стоитъ на сценѣ, она поетъ и букетъ розъ падаетъ къ ея ногамъ, какъ знакъ восхищенія ею и ея судьбой. Все, чего она ждала, о чемъ мечтала. Все, что не нужно ей теперь. Все, что нужно теперь этой изображаемой ею женщинѣ. Нѣтъ, не все. Не только розы у ея ногъ и аплодисменты. Вѣдь эта женщина поетъ въ послѣдній разъ въ жизни.

И вотъ уже Люкѣ дѣйствительно кажется, что она поетъ въ послѣдній разъ, что она прощается съ жизнью. Она плачетъ отъ жалости къ себѣ, отъ страха

смерти оттого, что другого выхода нѣтъ. Она поетъ отчаянно и страстно, такъ, какъ пѣть нельзя.

Она поетъ. Но развѣ пѣніе этотъ стонъ этотъ крикъ, это захлебыванье въ слезахъ? Она прислушивается къ своему голосу. Значить такъ поютъ передъ смертью? Такъ прощаются съ жизнью? Ей бы никогда въ голову не пришло, что именно такъ. Но въ томъ мірѣ правды и вдохновенія, въ которомъ она сейчасъ поетъ, движется и живетъ. невозможны ни ошибка ни фальшь.

Они крутятъ весь день почти безъ перерыва. Это чудо, этого нельзя пропустить, Давіэ смотритъ на Люку усталыми восхищенными глазами. И Люка устала, какъ устали всѣ. И всетаки работа продолжается до ночи. Наконецъ кончаютъ, возвращаются въ отель. Восторги Давіэ совершенно необычайные, какіе-то воинственные. — Я всегда догадывался, что вы талантливы, что Ривуаръ губить, связываетъ, обезличиваетъ васъ, но чтобы вы были до того, до того... Они всѣ еще увидятъ, кто вы. Вызовъ Тьері, вызовъ всѣмъ остальнымъ „звѣздамъ”. Арлеттъ самозабвенно цѣлуетъ Люку, будто на свѣтѣ не существуетъ актерской зависти и соперничества. Слишкомъ много восторговъ. У Люки болитъ голова, но какъ она довольна, какъ горда. И Тьері тоже будетъ гордиться ею. И когда нибудь ея сынъ тоже будетъ гордиться.

Вечеръ, теплый, настоящій венеціанскій вечеръ проводятъ всѣ вмѣстѣ на площади св. Марка за столикомъ съ пестрымъ фонаремъ. Золотыя крылья льва въ черномъ небѣ, пѣніе гондольеровъ.

Они всѣ какъ будто влюблены въ Люку. Они ревнуютъ ее другъ къ другу, стараются развлечь ее, заставить ее улыбнуться.

— Это жестоко, безчеловѣчно такъ мучить, утом-

лять васъ. Но вы еще постарайтесь изъ послѣднихъ силъ. Я боюсь, что завтра... — Да, да, соглашается Люка, я тоже боюсь. Вдругъ я завтра буду опять бездарна, какъ всегда. Пожалуйста будемъ продолжать.

И они продолжаютъ. Два дня съ утра до ночи. Но вотъ наступаетъ конецъ. Люка снимаетъ гримъ въ своей уборной и ошалѣвшими глазами смотритъ на себя. За эти три дня она прожила еще цѣлую жизнь. Цѣлую чужую жизнь параллельно со своею жизнью. И это пожалуй было слишкомъ много для нея, — она чувствуетъ себя опустошенной, выпотрошенной, слабой, легкой. Одной оболочкой, какъ проткнутый воздушный шаръ. Если бы ее на рукахъ отнесли въ гондолу, въ отель. Но надо самой встать со стула, самой идти. Арлеттъ и Давіэ ведутъ ее подъ-руки, какъ больную. У Арлеттъ красныя вѣки — она плакала, глядя на игру Люки въ послѣдней сценѣ. Но вѣдь все устроилось, остались только красныя вѣки и усталость. Все чудесно устроилось для той женщины. И для Люки.

Они плывутъ въ гондолѣ втроемъ. Такого восхитительнаго покоя Люка уже давно не испытывала. Какъ будто съ концомъ фильма, кончилось все ея волненіе. Конецъ. Пустота и восхитительный покой. Огни фонарей отражаются въ каналѣ. Пѣснь гондольера смѣшивается съ разговорами. О ней. О Люкѣ. Да, гондольеръ поетъ о ней и „вы будете мировой знаменитостью, лучше Бергнеръ, лучше Гарбо” — это тоже о ней. Слушать это очень пріятно. Слушать и ждать пріѣзда Тьері. Завтра онъ вернется.

— Я хотѣла бы, медленно говорить Люка, я хотѣла бы поѣхать сейчасъ въ какой-нибудь замѣчательный садъ. Въ отелѣ слишкомъ шумно и нарядно.

Но Давіэ не согласенъ — Вы сейчасъ же должны лечь. А сады успѣете осмотрѣть. Вѣдь вы кончили, а мы еще будемъ крутить здѣсь цѣлую недѣлю. Лю-

ка не спорить, но ей не хочется возвращаться въ отель. Ей хочется еще продлить это скольженіе по каналу, этотъ покой.

Гондола останавливается. Они неумѣло и неловко высаживаются, они входятъ въ отель. Посреди холла, подъ яркой хрустальной люстрой стоитъ Тьери. Совсѣмъ такой, какимъ она увидѣла его въ первый разъ — во всемъ величїи и славѣ. Похожій на архангела, окруженный сіяньемъ. Съ огненнымъ мечемъ въ рукѣ. Люка хочетъ крикнуть, хочетъ броситься къ нему. Но онъ дѣлаетъ шагъ къ нимъ и она останавливается, она пропускаетъ остальныхъ впередъ. Онъ здоровается съ нею послѣдней — Добрый вечеръ, говоритъ онъ просто, я прїѣхаль на день раньше, чѣмъ думаль. И она отвѣчаетъ ему — Добрый вечеръ.

Сразу, перебивая другъ друга всѣ начинаютъ рассказъ о чудѣ, о Люкѣ, объ ея игрѣ. Преувеличенно, почти въ библейскихъ тонахъ, будто о воскрешенїи Лазаря или Канѣ Галилейской.

— Лучше Дузэ. Вы ее не узнаете, это чудо. Тьери слушаетъ, покачиваясь на каблукахъ — Удивительно, говоритъ онъ и закуриваетъ папиросу. Лучше Дузэ? Кто бы могъ думать? Его блестяшіе глаза насмѣшливо щурятся. — Поздравляю васъ, и онъ кланяется Люкѣ.

Изъ лифта выходитъ высокая женщина въ черномъ вечерномъ платѣ. Гдѣ-то, когда-то, можетъ быть, на экранѣ, но Люка уже видѣла это бѣлое лицо, эти черные узкіе глаза, эти черные гладкіе волосы. Люка вспоминаетъ бѣлую борзую на берегу пруда, бѣлаго лебедя на водѣ и ее, Терезу Кассони, одновременно похожую на борзую, и на лебедя, ее, съ которой они обѣдали въ первый вечеръ жизни Люки. Она подходитъ, она кланяется, сгибая высокую шею, она протягиваетъ Люкѣ бѣлую тонкую нѣжную руку. Она становится рядомъ съ Тьери, совсѣмъ близко, плечо къ плечу такъ

увѣренно, будто это ея мѣсто. Она стоитъ съ нимъ рядомъ и съ улыбкой смотритъ на остальныхъ. Будто два лагеря — она съ Тьери и другой, въ которомъ Давіэ, Арлеттъ, Люка. Два враждебныхъ лагеря.

Тереза Кассони объясняетъ — Я случайно пріѣхала сюда и какая удача. Первый, на кого я наткнулась былъ Тьери. Пауза, маленькая неловкость. Никто не спрашиваетъ — откуда она пріѣхала, куда ѣдетъ.

Пора обѣдать. И всѣ идутъ въ ресторанный залъ. За столомъ Люка все-таки сидитъ рядомъ съ Тьери, какъ всегда прежде. Она смотритъ на него. Онъ загорѣлъ, у него усталое лицо. Ей кажется, что онъ совсѣмъ не радъ ее видѣть. Но вѣдь онъ еще не знаетъ. Она поддвигаетъ свое колѣно къ нему и ея колѣно начинаетъ дрожать. Она не можетъ ѣсть. Она спрашиваетъ: Хорошо было въ Швейцаріи? самый банальный вѣжливый вопросъ. Но этого, повидимому, говорить не слѣдовало. — Очень, коротко отвѣчаетъ Тьери нахмурившись. И Тереза Кассони киваетъ, будто и ее спрашивала Люка о Швейцаріи. — Очень.

Давіэ пьетъ за карьеру Люки, за ея талантъ и всѣ чокаются. Люкѣ пріятно, что ее хвалятъ при Тьери, хотя онъ почти не слушаетъ. „Мы, путешественники, говоритъ онъ, устали“. „Мы“ — это Тьери и Тереза, но сегодня же „мы“ опять станутъ Тьери и Люка. Когда онъ узнаетъ.

Тьери улыбается своей электрической улыбкой, Тьери говоритъ. Люка слушаетъ. Это совсѣмъ обыкновенныя, простыя слова, но они разсыпаются, какъ зерна, они катятся по столу, она не понимаетъ ихъ, не можетъ составить изъ нихъ фразу. Золотое крыло льва, осколки тоски по Тьери, уже непригодной тоски, разъ Тьери здѣсь, зеленый обрывокъ надежды, какъ листъ салата и коралловый клубокъ макаронъ на тарелкѣ. Все вмѣстѣ полная неразбериха. Больно? Нѣтъ, не больно. И не грустно. Но и не весело. Или, мо-

жетъ быть и больно, и грустно, и весело, все сразу. Неразбериха. Голосъ Тъери раскалываетъ міръ, какъ землетрясеніе, превращаетъ все въ первобытный хаосъ, тишину и мракъ. И надъ этимъ хаосомъ и разрушеніемъ сіяетъ его улыбка, его безсмертная улыбка. Только его улыбка. Ничего кромѣ его улыбки. Его улыбка сіяетъ, во мракѣ и тоскѣ.

Теперь говоритъ Давіэ. О чемъ? Все о томъ же, о томъ, какъ она, Люка удивительно играла, какъ удивительно пѣла. Онъ говоритъ и Люка понемногу изъ щепокъ и разрушенія возстанавливаетъ міръ вокругъ себя, какъ въ дѣтствѣ строила дома изъ кубиковъ. Изъ груди чувствъ, мыслей, рукъ, лицъ, стульевъ все возвращается на свои мѣста, все правильно, все въ порядкѣ. Красный коверъ покрываетъ полъ, какъ ему и полагается. Отъ встряски, отъ разрушенья не осталось слѣда. Развѣ только все вокругъ стало немного яснѣе, гармоничнѣе, свѣжѣе, какъ садъ послѣ дождя. Люка ѣстъ макароны, пьетъ вино. Говоритъ она еще не можетъ, но никто не замѣчаетъ этого.

Послѣ обѣда выходятъ на площадь, садятся въ гондолу и слушаютъ пѣніе гондольеровъ. Люка, Тъери и Тереза — въ одной гондолѣ. Пѣніе смѣшивается со свѣтомъ фонарей, съ водой канала. Гондолу тихо покачиваетъ. Волна надежды, волна тревоги, волна тошноты. Нѣтъ, нѣтъ, только бы не тошнило. Пѣніе тяжелое и сладкое, какъ масло, ложится на волны и волны успокаиваются — ни надежды, ни тревоги, ни тошноты. Холодно. Люка дрожитъ. Холодно, тяжело. И когда же это все кончится, когда она сможетъ наконецъ сказать Тъери: „У меня — у тебя будетъ сынъ“? Неожиданно Тереза становится, на минуту, союзникомъ — Я устала, вздыхаетъ она. Ахъ какъ устала. — Гондола причаливаетъ. Они втроемъ входятъ въ отель. Лифтъ сначала останавливается для Люки, она живетъ въ первомъ этажѣ. — Доброй ночи,

говорить Тереза. — Доброй ночи, Люка киваетъ Тьери и бѣжитъ по коридору въ свою комнату. Она переодѣвается въ костюмъ юнги, надѣваетъ фуфайку съ вышитымъ на груди якоремъ. „Якорь надежды символъ”. Символъ. Символъ надежды. Да, терпѣливый символъ... Сколько терпѣнія! „Счастье — это долгое терпѣніе”... Гдѣ, когда читала она это? Какой вздоръ. Сейчасъ кончится горе, кончится, не можетъ не кончиться, сейчасъ она перешагнетъ порогъ, отдѣляющій горе отъ счастья. Но почему она такъ волнуется? Она снова выходитъ въ коридоръ, она поднимается по лѣстницѣ — поднимается вверхъ, въ рай, къ Тьери. Какъ правильно, что его комната выше, что она должна подняться, а не спуститься къ нему. Его дверь. Она на минуту останавливается, прислушиваясь, потомъ стучитъ, и открываетъ дверь. Тьери стоитъ передъ ней въ длинномъ сѣромъ шелковомъ халатѣ. На ночномъ столикѣ горитъ розовая лампа. — Это ты? Въ голосѣ Тьери ни радости, ни досады, — одно удивленіе. — Развѣ ты не ждалъ меня? Онъ не отвѣчаетъ. Она подходитъ къ нему совсѣмъ близко. Она наконецъ одна съ нимъ. Онъ стоитъ передъ ней прямой и неподвижный, чопорный, неестественно элегантный. Сіяющая улыбка — какъ щитъ. Что за ней. Онъ улыбается, онъ молчитъ.

Розовый свѣтъ наполняетъ комнату, розовый отсвѣтъ ложится на его, сведенное улыбкой блѣдное лицо. Отъ этого оно кажется жестокимъ и веселымъ. Только кажется. Нѣтъ, она знаетъ, — онъ не веселъ, онъ не жестокъ. Она поднимаетъ руку, она гладитъ шелковый рукавъ его халата, не рѣшаясь поцѣловать его руку. — Я такъ ждала тебя. И онъ объясняетъ что не могъ раньше, что его задержала мать. Неужели онъ думаетъ, что она упрекаетъ его?

— Теперь все хорошо, ты со мной, Тьери. Мнѣ было тяжело, мнѣ было страшно безъ тебя, Тьери.

Она говоритъ „страшно“ и чувствуетъ, что ей дѣйстви-
тельно было страшно, что ей и сейчасъ страшно. Она
снимаетъ руку съ его рукава, она отступаетъ на шагъ.
— Мнѣ надо что-то сказать тебѣ. Сядемъ на кровать.
— Нѣтъ, на диванъ, говоритъ онъ. Они сидятъ ря-
домъ на диванѣ. Почему онъ не захотѣлъ, чтобы она
сѣла на кровать? Но она не спрашиваетъ. Она от-
ворачивается къ открытому окну и, не глядя на Тьери,
быстро говоритъ: — У меня, у насъ скоро будетъ ре-
бенок. И, помолчавъ, добавляетъ — Вотъ. „Вотъ“
— это начало несказанной фразы: „Вотъ ты теперь
знаешь, и все хорошо“. Теперь онъ будетъ радовать-
ся, благодарить ее. Въ окно видна площадь, соборъ
св. Марка и венеціанская ночь. Она смотритъ въ окно,
она ждетъ. Но ничего хорошаго нѣтъ. На радость
и благодарность тоже не похоже. — Ребенокъ? Ты
хочешь сказать, что ты беременна? спрашиваетъ онъ
осторожно. — Да. Громкое, торжественное, непре-
ложное „да“, изъ категоріи тѣхъ „да“, что произносятся
передъ аналоемъ, под присягой. — Ты увѣрена? все-
таки переспрашиваетъ онъ. — Я была у доктора. На-
ступаетъ молчаніе. Все совсѣмъ не такъ, какъ она
ожидала. Молчаніе. Розовый теплый свѣтъ лампы.
Въ окнѣ голубой, холодный свѣтъ луны. Будто
лампа живая, а луна искусственная. Слишкомъ много
свѣта. Протянуть руку въ окно, въ небо, потушить
луну. Но нѣтъ даже силъ потушить лампу. Въ тем-
нотѣ было бы легче ждать отвѣта Тьери. И вотъ онъ
наконецъ отвѣтъ Тьери, — Конечно, это очень неприят-
но. Но не отчаивайся. Изъ всѣхъ возможныхъ отвѣ-
товъ, нѣтъ, даже изъ всѣхъ невозможныхъ, самый не-
возможный отвѣтъ. Только теперь она поворачивается
къ нему — Вѣдь это твой ребенокъ, Тьери. — Мой?
онъ встаетъ, онъ отходитъ въ темный уголъ комнаты,
гдѣ нѣтъ ни свѣта луны, ни свѣта лампы. — Мой? Я
совсѣмъ не увѣренъ, что это именно мой ребенокъ.

Но это не имѣетъ значенія. Ясно, тихо и очень вѣжливо объясняетъ онъ изъ темноты. Да, онъ давно замѣчалъ, что Герэнь... и теперь ему уже успѣли донести. Онъ ничего не имѣетъ противъ — она свободна, такъ даже лучше. Но зачѣмъ приписывать ему чужого ребенка? Она смотритъ на его черныя туфли, мелькающія на розовомъ коврѣ. Такъ, совсѣмъ такъ онъ шагаль въ ту ночь, когда она рассказала ему про Вѣру. И опять: Не отчаивайся. Терять голову нечего, я дамъ тебѣ адресъ врача. Она открываетъ ротъ, какъ рыба на льду. Можетъ быть рыба тоже хочетъ кричать, только у нея тоже нѣтъ голоса. Она поднимаетъ руку, будто отталкивая его слова. — Я съ удовольствіемъ дамъ тебѣ денегъ на абортъ. Она шевелитъ губами быстро и беззвучно и вдругъ хрипло кричить — Это твой ребенокъ, я никогда не измѣняла тебѣ, Тъери, это твой ребенокъ. Теперь, когда вернулся голосъ, она уже не можетъ молчать. Ея голосъ, какъ прорвавшая плотину вода, затопляетъ ея горло, ея разумъ, ея уши, всю комнату — Твой ребенокъ, никогда не измѣняла... Она зажимаетъ ротъ рукой, она глотаетъ крикъ. Снова тишина. Тъери стоитъ около окна. За спиной его, въ лунномъ небѣ, золотыя крылья льва. Это Венеція. Тъери говоритъ — Даже если правда, что ты не измѣняла мнѣ и это дѣйствительно мой ребенокъ, ты должна сдѣлать абортъ. Я не хочу имѣть отъ тебя ребенка. Розовый отсвѣтъ лампы на его лицѣ. Нѣтъ, оно больше не кажется веселымъ. Подбородокъ дрожитъ, губы попрежнему раздернуты въ улыбку надъ сверкающими зубами. — Ты все еще не понимаешь? когда же ты поймешь? Ты мнѣ противна, какъ жаба. Онъ подходитъ къ ней, онъ стоитъ передъ ней, глядя на нее сверху внизъ блестящими, оскаленными, стеклянными глазами. — Я думалъ, что ты приносишь счастье, я вѣрилъ въ тебя. Ты обманула меня. Ты проклята, тебя прокляла умирающая.

Ты приносишь несчастье, позоръ, раззореніе. Ты играла въ моей картинѣ и она провалится. Я раззорюсь. Я боюсь тебя... Онъ наклоняется къ ней. Сейчасъ онъ схватитъ ее за горло, сейчасъ онъ задуетъ ее. Но онъ кричитъ высокимъ истерическимъ крикомъ: — Я тебя ненавижу, отцѣпись отъ меня, наконецъ.

Дверь безъ стука открывается — Тереза Кассони въ облакѣ духовъ и перьевъ съ длиннымъ треномъ входитъ, останавливается, оглядывается — совсѣмъ, какъ на сценѣ. — Тъери, что же ты? Я жду тебя и, поворачивается къ Люкѣ — Ахъ, простите, я кажется... и не заканчиваетъ фразы, совсѣмъ, какъ на сценѣ. Тъери хватается за галстукъ поправляетъ его. Галстукъ идеально повязанъ и это, должно быть, немного успокаиваетъ Тъери — Ты напрасно не подождала у себя, Тереза. Замѣшательство. Тъери говоритъ: Тебѣ, Люка, лучше всего уѣхать завтра. Прости меня, я кажется, погорячился. Люка молчитъ, Тереза Кассони смотритъ на нихъ.— Объясненіе? произноситъ она нараспѣвъ и пожимаетъ плечами. Неприятно, но иногда необходимо. Она поднимаетъ руку, проводитъ ладонью по губамъ Тъери. Облако духовъ, шелка и перьевъ приходитъ въ движеніе. — Не улыбайся такъ отвратительно, Тъери. Перестань, слышишь? Какъ мертвецъ въ гробу. — Развѣ я улыбаюсь? Тъери отстраняетъ ея руку, мускулы на его скулахъ сокращаются, улыбка вспыхиваетъ еще ярче, почти нестерпимымъ сіяніемъ, онъ двигаетъ шеей, будто съ трудомъ глотая что-то и лицо его гаснетъ, вѣки закрываются, нижняя губа отвисаетъ. — Я сейчасъ запишу тебѣ адресъ доктора. Онъ достаетъ перо, онъ записываетъ что-то на бумагѣ и Люка беретъ эту бумагу изъ его руки.

— Конечно я заплачу за абортъ, ты не безпокойся. — Вотъ оно что. Абортъ? Перья, духи, шелкъ Те-

резы снова приходятъ въ трепеть и движеніе. — Ты звѣрь, Тъери, а вы, дорогая, слишкомъ наивны. О такихъ несчастьяхъ не рассказываютъ любовникамъ. Они этого не любятъ. Но Тъери всетаки звѣрь. Хуже звѣря. Люка встаетъ, у нея достаточно силъ, чтобы встать, чтобы пройти мимо Тъери и Терезы. Даже достаточно силъ, чтобы сказать — Я уѣду завтра утромъ. Тъери открываетъ передъ ней дверь—Прости меня, Люка, и онъ низко кланяется ей. Глаза Терезы вспыхиваютъ побѣдой. Она обнимаетъ Люку широкимъ торжествующимъ жестомъ.— Бѣдная, какая вы бѣдная, почти поетъ она въ дыханіи духовъ и шелестѣ перьевъ. И нельзя понять торжествуетъ она побѣду или сочувствуетъ побѣжденной. Люка, отстранивъ ее, выходитъ въ коридоръ. Силъ больше, чѣмъ она предполагала. Гораздо больше. Силъ хватаетъ даже на то, чтобы спуститься въ свою комнату, чтобы дожидаться утра.

Утромъ, когда уже уложены чемоданы, приносятъ букетъ бѣлыхъ розъ и письмо отъ Тъери. Люка разрываетъ конвертъ — въ немъ пять тысячъ и записка. „Прости меня. Непремѣнно ложись въ клинику сейчасъ же. Когда я вернусь”... Она рветъ записку, такъ и не узнавъ, когда онъ вернется. Но деньги? Отъ привычки къ бѣдности, осталось уваженіе къ деньгамъ.

— Отнесите это сейчасъ въ комнату Ривуара, говоритъ она, передавая деньги лакею. Лакей выносить чемоданы. Надо присѣсть передъ отъѣздомъ. Въ добрый часъ... Она насмѣшливо качаетъ головой. Добрый часъ. Всѣ часы злые. Но она всетаки садится на стулъ, всетаки крестится. Цвѣты остаются лежать на столѣ. Въ холлѣ пусто и пахнетъ мастикой. Швейцаръ кланяется. — Счастливаго пути.

Утро. Венеція. Въ послѣдній разъ. Райски розовый дворецъ, райски голубая вода канала, узкая углая гондола и высоко занесенное надъ ея плечемъ длинное черное весло. О такомъ ли отъѣздѣ...? Одна

въ черной, какъ гробъ, гондолѣ, одна на вокзалѣ. Венеція...Голубь пролетаетъ надъ ея головой, почти за дѣвъ ея голубымъ крыломъ. Венеція. Венеція. Венеція.

Она одна въ купэ. Это пассажирскій поѣздъ, остановка на каждой станціи. Экспрессъ идетъ днемъ. Днемъ, значило встрѣча съ Тьері, съ Терезой, съ Арлеттъ. Днемъ — значило проводы, разговоры, нѣтъ на это даже у нея не хватило бы силъ. Она слушаетъ Она слушаетъ стукъ колесъ и рычаговъ, слушаетъ, сознательно напрягая вниманіе. Вотъ она уловила главный мотивъ, поймала его и онъ петлями чертитъ узоръ въ воздухѣ. Аккомпаниментъ эти визги, лязги и вздохи.

Она не смотритъ въ окно, она смотритъ прямо передъ собой на залитую солнцемъ стѣну. Глухая стѣна залитая солнцемъ, такъ она почему то съ дѣтства представляла себѣ тоску. Но это не глухая стѣна. На ней тисненныя обои и зеркало, и два вида Рима и сѣтка для багажа. Но должно быть поэтому все это нужно, что это уже не тоска, это отчаяніе. Она не думаетъ ни о стѣнѣ, ни объ отчаяніи, она только чувствуетъ отчаяніе. Но чувство это такъ смутно, такъ далеко отъ нея, оно не въ ней, оно лежитъ въ душномъ, темномъ пыльномъ углу подъ диваномъ купэ, оглушенное, заглушенное лязгомъ колесъ.

Какъ медленно тянется время. За столомъ съ жидкой пальмой въ пустомъ буфетѣ. Носильщикъ приходитъ за ней. Теперь уже до самого Парижа. Носильщикъ укладываетъ ея вещи въ сѣтку и уходитъ. Такъ. Она опять одна, теперь уже никто не придетъ. Но дверь отворяется. Путешественникъ въ верблюжемъ пушистомъ пальто садится у окна напротивъ. Онъ вытягиваетъ ноги, поправляетъ черепаховые очки и вынимаетъ серебряный портсигаръ. — Васъ не беспокоитъ? спрашиваетъ онъ

старательно, по французски, съ рѣшительнымъ желаніемъ завязать разговоръ. Путешественникъ совѣмъ какъ на плакатахъ „Посѣтите лѣтомъ Шварцвальдъ”. Такой же дорого-дорожно одѣтый. Путешественникъ - типъ. Люка киваетъ и отворачивается къ окну. Поѣздъ идетъ, колеса стучать, въ окнѣ — горы и озера, та Швейцарія, на которую она не хотѣла смотрѣть безъ Тьери. Теперь все равно, можно смотрѣть. Она смотритъ въ окно и всетаки не видитъ Швейцаріи. Она видитъ только расплывающіеся въ туманѣ обрывки, детали, подробности. Цвѣтушій кустъ у дороги, ручей, отвѣсный склонъ горы и рекламу. Это не составляетъ пейзажа, картины въ рамкѣ дорожнаго окна, не доходить до сознанія. — Вамъ нехорошо? неожиданно спрашиваетъ сосѣдъ. — Не могу ли я помочь вамъ? Помочь? Чужой человѣкъ предлагаетъ ей помощь. Это такъ удивительно, что она оборачивается и смотритъ на него. Чѣмъ помочь? Въ чемъ? — Но вы плачете, говоритъ онъ. Она поднимаетъ руку, проводить ею по лицу.

— Я не замѣтила, я не знала, что плачу. Это отъ усталости, объясняетъ она. Она краснѣетъ, ей стыдно.

— Я не спала всю прошлую ночь и передъ этимъ много работала. Зачѣмъ объяснять, какое ему дѣло? Но ему повидимому есть дѣло. — Нельзя такъ переутомляться. У него серьезный, почтительный тонъ, онъ произноситъ слова твердо съ иностраннымъ акцентомъ.

— Какая у васъ работа? Она опять объясняетъ, что она кинематографическая актриса, что она кончила фильмъ въ Венеціи. — Должно быть забѣгались, осматривая все? — Она качаетъ головой. Я ничего не видѣла, кромѣ студии и отеля. Ну и конечно, площади св. Марка передъ отелемъ. — Вы французенка? — — Нѣтъ, я русская, но я выросла въ Парижѣ. Ей хочется говорить и говорить, она такъ добросовѣстно отвѣчаетъ, какъ на допросъ, какъ на исповѣди. И она

говорить о поѣздкѣ, о Швейцаріи, которой она не знаетъ. О Парижѣ, котораго не знаетъ онъ. Это правдивыя, спокойныя, нейтральныя темы, имъ можно довѣриться. И все же, просто отъ звука собственного голоса, составляя даже пустыя фразы изъ самыхъ безобидныхъ словъ, надо думать, а когда думаешь, нельзя не вспомнить того, что случилось ночью. И уже нельзя не чувствовать горе въ головѣ, въ сердцѣ, въ крови, а не бессознательно — гдѣ-то тамъ, въ пыльномъ углу купэ, подъ диваномъ, подъ грохотомъ колесъ. У нея перехватываетъ горло, слезы опять текутъ по щекамъ и глаза снова полны тумана. Но теперь она сознаетъ, что плачетъ. — Это отъ усталости, всхлипываетъ она и вдругъ поддается, сверлящей жаждѣ откровенности — это отъ горя... Но онъ, ея сосѣдъ, не слышитъ. Онъ встаетъ, онъ хлопочетъ. — Вамъ надо лечь. Сейчас все пройдетъ. Онъ достаетъ изъ чемодана шелковую подушку и, раздувъ щеки, наполняетъ ее воздухомъ. Очень старательно и очень забавно. Но Люка плачетъ и не можетъ смѣяться. Онъ кладетъ подушку ей подъ голову, покрываетъ Люку своимъ клѣтчатымъ пледомъ — Лежите, лежите. Я сейчас дамъ вамъ валеріановыхъ капель. — Спасибо. Онъ достаетъ дорожную аптечку, отсчитываетъ капли въ стаканчикъ. Изъ открытаго чемодана падаетъ русская газета. Онъ быстро наклоняется и прячетъ газету въ чемоданъ, но Люка уже видѣла — Вы русскій? Она сбрасываетъ пледъ и садится на диванъ. Онъ молчитъ съ минуту, потомъ, будто нехотя соглашается — Ну да, конечно, русскій. — Отчего же вы сразу не сказали? упрекаетъ она. — Оттого, что я боялся, что вы со мной разговаривать не станете. Выпейте раньше, о политическихъ убѣжденіяхъ потомъ. Онъ протягиваетъ ей стаканъ и она послушно пьетъ. — Спасибо. Почему вы думали, что я не захочу разговаривать? Онъ лукаво прищуривается. — Оттого, что вы — эмигрантка, а я изъ Моск-

вы и возвращаюсь туда. — Какъ я рада, Люка протягиваетъ ему руку. И какъ я сразу не догадалась. Такой милый можетъ быть только русскій. Онъ уютно садится, уютно разводитъ руками. — За все путешествіе ни съ однимъ эмигрантомъ не столкнулся и очень жалѣлъ. Вотъ и послала судьба, въ послѣдній день.

— Расскажите мнѣ о Москвѣ. Вы не уйдете? — Куда же мнѣ уйти? Я въ Парижъ ѣду. Спите, а я вамъ почитаю, чтобы вы заснули. О Москвѣ потомъ. — Я очень несчастна, признается она тихо. И на этотъ разъ онъ участливо принимаетъ ея признаніе. — Что такъ? Новой работы нѣтъ или денегъ? — Нѣтъ, вздыхаетъ она, изъ-за любви.

— Пустяки любовь, поучаетъ онъ. Потомъ расскажите, если сномъ не пройдетъ. Онъ достаетъ изъ чемодана книгу. — А теперь я читать вамъ буду. Она вытягивается, кладетъ ладонь подъ щеку. Такъ когда-то ей читалъ Павликъ передъ сномъ. Это рассказъ Зошенко и это, должно быть, смѣшно. Но Люкѣ совсѣмъ не смѣшно. Дѣло идетъ о несчастномъ человѣкѣ, его обманываютъ, его мучаютъ. Люка снова начинаетъ всхлипывать. Ей жаль героя рассказа, ей жаль себя. — Я не могу, не читайте дальше. Слишкомъ грустно. Какіе всѣ люди несчастные. Онъ заплываетъ книгу, онъ разводитъ руками. — Ну и разнервничались же вы. Глупо у васъ въ Европѣ жить. У него огорченное, добродушное лицо. — Что мнѣ съ вами дѣлать прикажете? Она вытираетъ глаза, она улыбается ему. — Ничего не надо. Хорошо, что вы здѣсь. Какъ васъ зовутъ? — Михаилъ Николаевичъ, отвѣчаетъ онъ. — Спокойной ночи, Михаилъ Николаевичъ. Я сейчасъ засну. И она, дѣйствительно, сейчасъ же засыпаетъ.

Когда она просыпается онъ, все такъ же, въ той же позѣ, сидитъ на своемъ мѣстѣ. Страхъ, пока

она открывала глаза, что онъ только снился, напрасень. Онъ тутъ. — Еле дождался, вставайте скорѣе, идемъ обѣдать. Она поправляетъ костюмъ. — Отчего вы меня не разбудили или не пошли одни? Онъ пожимаетъ плечами. — Выдумали тоже. Куда же я теперь безъ васъ? Теперь уже вмѣстѣ. Она смотрится въ зеркало. — Какъ я пойду, такая заплаканная? — Вы можете себѣ позволить, вамъ все украшеніе, вы такая красивая. Онъ убѣжденно киваетъ — такая красивая, даже неестественно. У насъ такихъ не дѣлаютъ, не научились еще. У насъ проще, зато практичнѣе и крѣпче. Такихъ, как вы, у насъ не найдешь. Европа.

Они идутъ по вагонамъ въ ресторанъ. Коридоръ узкій. — Пардонъ, пардонъ, говоритъ онъ, но это пардонъ, какъ окликъ „сторонись” и пассажиры хотя никто изъ нихъ никогда не слышалъ оклика „сторонись”, инстинктивно прижимаются къ стѣнѣ, пропуская Люку. Между двумя вагонами, въ гармоникѣ, на трясущемся мостикѣ, онъ крѣпко держитъ ее за локоть. Они на площадкѣ и дверь открыта. Вѣтеръ, пространство, грохотъ и скорость, какъ волны съ палубы готовы слизнуть ихъ. Что если поддаться имъ, если немного наклониться въ этотъ грохотъ и вѣтеръ и дать себя слизнуть съ площадки? Желаніе не касается ея, не задѣваетъ ея, оно какъ дымъ паровоза, пролетаетъ за стеклами оконъ. И всетаки, если наклониться? Но она уже сидитъ за столикомъ и обсуждаетъ меню. Онъ хотѣлъ бы заказать омара, фазана. Но фазана нѣтъ и омара тоже. Зато имѣется Страсбургскій паштетъ. — А нѣтъ ли у васъ цвѣтовъ, чтобы поставить на столъ? Лакей приноситъ полуувядшія гвоздики, забытыя какой то пассажиркой въ купѣ. Все таки цвѣты, нарядная жизнь. Онъ доволенъ всѣмъ и „какъ на открыточномъ” видомъ въ окнѣ (всегда думалъ — фантазія) и европейскимъ — „такого-у-насъ-не-получишь”, обѣдомъ, и главное своей сосѣдкой, Люкой.

Онъ называетъ гарсона „Monsieur“, распоряжается съ важной барственностью, ѣсть съ аппетитомъ безработнаго. И рассказываетъ о Россіи. Люка слушаетъ и смотритъ на него благодарными глазами. Онъ, этотъ русскій Михаилъ Николаевичъ, — подарокъ, посланный ей судьбой. Такой говорливый, веселый, добродушный. Конечно, она несчастна, очень несчастна. Горе, какъ снѣгъ кружится передъ ея глазами, падаетъ на ея голову пушинками, снѣжинками, кусочками воспоминаній и страданія. Парчевый халатъ, который она видѣла у Тъери передъ его отъѣздомъ, принадлежалъ Терезѣ. Она тогда еще удивилась, что мать Тъери носитъ такіе театральные халаты. Мать Тъери. Никакой матери не было и нѣтъ. Онъ ѣздилъ въ Швейцарію съ Терезой. Если бы Люка была сейчасъ одна, горе, какъ снѣгъ, покрыло бы ее бѣлой тяжелой шапкой, большой горой, она легла бы подъ нимъ и больше не могла бы встать. Но вотъ онъ говоритъ и горе, какъ снѣгъ, таетъ отъ его словъ, отъ его голоса, отъ его русскаго смѣха. — Ыщите, ѣщите, угориваетъ онъ. Она ѣсть, она улыбается. сквозь горе, какъ снѣгъ кружащееся вокругъ нея.

Обратный путь по вагонамъ гораздо длиннѣе и труднѣе. Боязливо, какъ черезъ пропасть, по лязгающему переходу изъ вагона въ вагонъ. Тула, внизъ, на полотно, подъ колеса? Нѣтъ, она не хочетъ, она крѣпко держитъ Михаила Николаевича за руку, — онъ выведетъ, онъ доведетъ. И онъ, дѣйствительно, доводитъ. Въ купѣ горитъ свѣтъ и это удивляетъ ее. Неужели уже ночь? Какъ она не замѣтила? Она поднимаетъ штору. Да, ночь, со звѣздами, съ искрами, съ убѣгающими черными деревьями, обыкновенная желѣзнодорожная ночь. И можно уже спать. Но спать она не хочетъ, она уже выпалась. Входитъ проводникъ и говоритъ что-то насчетъ спальныхъ мѣстъ. Она качаетъ головой. Нѣтъ, нѣтъ, она останется здѣсь.

Здѣсь ей было хорошо. Но Михаилъ Николаевичъ держитъ желтую квитанцію въ рукѣ и проводникъ уже снимаетъ его чемоданъ. — Не уходите, останьтесь пожалуйста. Если вы уйдете... Но Люкѣ незачѣмъ кончать угрозу — „я опять заплачу” — онъ и такъ уже отсылаетъ проводника, уже снова устраивается напротивъ нея. — Хорошо, но тогда мы еще выпьемъ шампанскаго. Она согласна, только бы онъ не уходилъ.

Теперь рассказываетъ не онъ, а она. И онъ слушаетъ очень внимательно такъ же внимательно, какъ слушала его она. О ея жизни, о ея любви, о ея горѣ. И даже о ея дѣтствѣ, и смерти Вѣры. Все, чтобы онъ могъ понять, чтобы онъ могъ посовѣтовать — Что ей теперь дѣлать? Она держитъ апельсинъ въ рукѣ, она прижимаетъ его къ щекѣ — Какой холодный. Она смотритъ на апельсинъ — какой красивый. Никогда прежде она не замѣчала, какъ красивы апельсины, такіе круглые, законченные, самостоятельные, защищенные. Толстая апельсиновая кожа, черезъ такую кожу не почувствуешь ни боли, ни тоски, ни одиночества. И какое одиночество, когда цѣла семья, цѣлое общество — коллективъ, какъ говоритъ Михаилъ Николаевичъ. Она напрягаетъ память, она спрашивала что-то сейчасъ. О чемъ? Ахъ да,— что же мнѣ дѣлать? снова повторяетъ она, не помня уже къ чему это относится. Къ путешествію, къ апельсину, къ жизни? Но онъ, ея спутникъ, зорко смотритъ на нее. Онъ широко взмахиваетъ рукой, онъ вдохновенно встаетъ. — Что? Да вѣдь ясно. Ѣхать въ Москву. Другого рѣшенія быть не можетъ — Ѣхать. Въ Москвѣ она, какъ кинематографическая актриса...

Какъ просто. Она не была даже знакома съ нимъ сегодня утромъ а вотъ онъ взялъ ее за руку и уже ведетъ ее по роднымъ, снѣжнымъ улицамъ Москвы, вотъ онъ уже устраиваетъ ея жизнь, полезную, разумную, веселую жизнь. И все горе осталось въ Па-

рижѣ. Она не взяла его съ собою. Въ Москву, домой. Какъ ей самой не пришло въ голову? И много тамъ милыхъ людей, какъ вы? Да, да, она хочетъ домой, въ Россію, въ Москву.

Онъ наливаетъ ей шампанское. Она пьетъ за возвращеніе домой. Ей пріятно пить шампанское, точно вмѣстѣ съ нимъ она глотаетъ вкусъ къ жизни. Вкусъ къ жизни даетъ вкусъ и шампанскому.

Они долго говорятъ, они строятъ планы криво, ко-со, съ планетарнымъ размахомъ. Вотъ уже Люка — звѣзда русскаго экрана. — А пѣть вы умѣете? Она смѣется. — Еще бы. Подъ лязгъ, шумъ и стонъ колесъ, она поетъ „Бублички“. Во весь голосъ, съ той необычайной страстностью, съ тѣмъ восторгомъ съ той болью, съ которой она пѣла въ Венеци. Онъ слушаетъ ее. Она закрываетъ глаза, она скрещиваетъ руки на колѣняхъ, она кончила. — Да, голосъ у васъ превосходный. И какъ выразительно. Онъ морщится — Даже слишкомъ. Такъ, должно быть, поютъ на Соловкахъ, если только поютъ. Онъ вдругъ осторожно проводитъ ладонью по ея волосамъ.

— Бѣдная. Я только когда вы пѣли, понялъ, какъ вы несчастны. Потому что для меня любовныя исторіи — пустяки. Ей хочется заплакать. Слова „бѣдная“, „несчастная“ ихъ не надо было произносить. Она сейчасъ заплачетъ. Но онъ говоритъ—Въ Москвѣ.. И она улыбаясь, слушаетъ, что будетъ въ Москвѣ. — Въ Москву, въ Москву, въ Москву, какъ чеховскія сестры. Но я не читала, она смѣется — Я вообще такъ мало читала, я только знаю, что онѣ хотѣли въ Москву. На минуту она становится грустной. — И вѣдь имъ, кажется, не удалось? Онъ не отвѣчаетъ, ссылка на Чехова ни къ чему, онъ говоритъ о реальной, разумной, дѣйствительной жизни. Она засыпаетъ. Сквозь сонъ она чувствуетъ, что онъ накрываетъ ее

плэдомъ. — Спасибо, губы ея почти не двигаются, но поблагодарить необходимо. За все.

Она прсыпается. Онъ уже сидитъ вымытый, выбритый, въ свѣжей рубашкѣ. — Черезъ часъ будемъ въ Парижѣ. — Черезъ часъ? Неужели она черезъ часъ уже разстанется съ нимъ? Нѣтъ, онъ останется съ ней до вечерняго поѣзда. Ничего, въ Москвѣ пождутъ. Зато они вмѣстѣ проведутъ день. — Какъ хорошо, говоритъ она, какъ чудно. И отъ забытыхъ словъ „хорошо, чудно” которыми начинается это фантастическое утро, жизнь, на нѣсколько часовъ, приходитъ въ обманчивую гармонию и горе, не находя себѣ мѣста, прячется въ этомъ праздничномъ порядкѣ. Оно, конечно, здѣсь, но его не видно, его не чувствуешь, о немъ не надо думать непрерывно.

Изъ вагона они выходятъ вмѣстѣ, подъ-руку, будто вообще нѣтъ одиночества. Въ отель они тоже ѣдутъ вмѣстѣ. Можно не слушать, что онъ беретъ комнату только на одинъ день, можно представить себѣ, что онъ поселяется здѣсь „всерьезъ и надолго”, какъ онъ говорить. Она входитъ въ свою зеленую комнату, она беретъ ванну, она переодѣвается. Она спѣшитъ, — онъ, этотъ русскій, Михаилъ Николаевичъ, уже ждетъ ее въ холлѣ. Они вмѣстѣ идутъ въ гаражъ, за ея автомобилемъ. И начинается туристическій, фантастическій день, одинъ изъ тѣхъ дней, которые описываютъ въ сказочномъ путеводителѣ, гдѣ реальность переплетается съ нереальностью, гдѣ всѣ двери открыты въ мѣръ надежды и гиду платятъ обѣщаньемъ спасенья. День начинающійся французской фразой. „Я прїѣхаль въ Парижъ съ цѣлью осмотрѣть его. Предоставьте мнѣ, пожалуйста гида”. Обязанность гида исполняетъ Люка. Гробница Наполеона, Пантеонъ, Парижъ съ высоты Эйфелевой башни и Лувръ. Лувръ — тяжелый этапъ. Отъ усталости, отъ мельканья картинъ Люку мутитъ и голова кружится. Но онъ дол-

женъ все увидѣть и Люка почти бѣжитъ за нимъ. Она не смотритъ на картины, она внимательно разсматриваетъ свои и его ноги. — Это какой художникъ? Какая школа? спрашиваетъ онъ. — Когда жилъ? Люка, не глядя, отвѣчаетъ — Не знаю. Это правда, даже, если бы она видѣла картину, она могла бы только отвѣтить „не знаю”. Но онъ вполнѣ удовлетворяется ея отвѣтомъ. Его начищенные туфли шагаютъ широко и рѣшительно. „И кто съ пѣсней по жизни шагаетъ”... онъ не поетъ, но всетаки Люкѣ кажется, что это про него — „тотъ нигдѣ, никогда не пропадетъ”.

— Осматривать съ вами музей одно наслажденіе, говорить онъ, снова усаживаясь въ ея автомобиль. Онъ шутить, должно быть. Нѣтъ, онъ серьезенъ и очень доволенъ. Она добросовѣстный гидъ, она везетъ его на Монмартръ, на Монпарнассъ. Они сидятъ въ кафе на Елисейскихъ Поляхъ. Она даже везетъ его въ Версаль, показываетъ ему паркъ и дворецъ. Она такъ внимательна къ нему, она такъ внимательна къ автомобилю, къ дорогѣ, все ея вниманіе натянуто, занято. Горю не за что зацѣпиться, некуда пролѣзть. Оно соскальзываетъ, оно отскакиваетъ отъ ея мыслей, отъ ея чувствъ. Конечно, оно здѣсь, но она почти не чувствуетъ его. Онъ говоритъ о Москвѣ. Все, что было сказано вчера ночью, стало почти реальностью. Она поѣдетъ въ Москву, она станетъ русской актрисой — съ ея внѣшностью, съ ея голосомъ. Это рѣшено и она не споритъ.

— Я не понимаю, какъ можно здѣсь жить. — Развѣ вамъ не нравится? — Очень нравится посмотреѣть. Но жить здѣсь... Какъ вы могли такъ долго? — Но вѣдь я не знала другой жизни. — Нѣтъ не другой жизни, вы вообще не знали жизнь. Вы еще не жили. Она не споритъ. Можетъ быть это и такъ, она не знаетъ. Можетъ быть, всѣ эти часы, дни и годы и не были

жизнью. — Если бы вы могли не уѣзжать сегодня. Но этого онъ не можетъ.

Она смотритъ на часы. — Осталось четыре часа, три съ половиной..., она не добавляетъ — до вашего отъѣзда. Будто съ его отъѣздомъ все кончится.

Они обѣдаютъ у Максима. Онъ всегда мечталъ побывать у Максима. „Иду къ Максиму я”, напѣваетъ онъ. — Знаете, все въ Парижѣ похоже на оперетку. И вотъ вы говорите о своемъ горѣ. Я сочувствую всей душой и всетаки не совсѣмъ вѣрю ему. Опереточное какое-то горе. Не настоящее. На ненастоящихъ основаніяхъ.

— Ненастоящее? переспрашиваетъ она. Можетъ быть, но всетаки очень больно. Онъ киваетъ — Да, очень больно, Люкушка. Люкушка — такъ Люку никто еще не звалъ. Это звучитъ по московски, родственно, уютно. — Одинъ день съ вами, Люкушка, лучше всего моего путешествія. Послѣ обѣда они ѣдутъ въ Табаренъ смотрѣть на канканъ. Она тутъ тоже впервые. Какъ некрасиво — черные чулки, оборки. Какъ вульгарно. Но ему нравится, это подходитъ къ его представленію о парижскомъ весельи, о парижскомъ шикѣ. Вотъ это по крайней мѣрѣ, настоящія парижанки. Онъ тоже хочетъ танцевать. И они танцуютъ танго. Онъ дѣлаетъ какіе-то своеобразные, сложные шаги, раскачивается, скользитъ, кружится.— Ну, какъ? спрашиваетъ онъ. Люкѣ жаль огорчить его. — Очень хорошо.— Если бы я могъ остаться еще хоть на день, вы научили бы меня. Да, еслибъ онъ могъ остаться.

Она везетъ его на вокзалъ. Носильщикъ, багажъ, оставленный на храненіе. Они стоятъ передъ вагономъ, онъ крѣпко держитъ ее подъ-руку. — Будьте храброй, не откладывайте. Обѣщаете? Она киваетъ. — Мнѣ очень грустно разставаться съ вами Люкушка. Настоящая разлука, настоящее прощанье на вокзалѣ. — Вы — мой лучшей другъ, говоритъ она. Вы —

мой единственный другъ. — Неужели единственный? Какъ вы можете жить одна-одинешенька? — Я не могу, сознается она. — Завтра поѣдете въ полпредство. Обѣщаете? — Обѣщаю.

Осталось десять минутъ. Такіе огромные, зловѣщіе часы. И еще одна минута прошла. — Вы не дали мнѣ своего адреса и какъ ваша фамилія, вдругъ вспоминаетъ она. Куда же вамъ писать? Онъ качаетъ головой—Писать нельзя. Никакихъ сношеній съ заграницей. Не такое теперь время, чтобы перепиской заниматься. Какъ пріѣдете въ Москву, звоните сейчасъ же по телефону 375-90. Запомните 375-90. А фамилія моя, онъ задумывается, будто не рѣшается назвать свою фамилію,— Кириановъ, говоритъ онъ быстро. Въ книжкѣ есть, Ну дайте я запишу вамъ номеръ.

Она поднимаетъ голову, она смотритъ на огромные часы. Осталось только двѣ минуты. — Счастливаго пути. Спасибо. Онъ крѣпко пожимаетъ ея руку. — Не мнѣ, а вамъ спасибо. Пріѣзжайте, я буду васъ ждать. Столько словъ и все это ничего не значить. Онъ входитъ въ вагонъ, онъ высовывается въ открытое окно и что-то быстро говоритъ ей. Теперь это уже не имѣетъ значенія. Одна минута, послѣдняя. Очень длинная, но вотъ и она прошла и поѣздъ уходитъ. Бѣлый платокъ вьется въ окнѣ. И вотъ уже даже его не видно. Конецъ. Одиночество.

Люка возвращается въ отель. Какъ она устала. Руки дрожатъ и вода расплескивается на ночномъ столикѣ. Она, морщась, глотаетъ большую облатку веронала. Верональ ей купилъ Кирьяновъ. Комокъ сна и покоя съ трудомъ проходитъ сквозь сузившееся отъ горя горло. „Вамъ важнѣе всего выспаться”. Да, это важнѣе всего. И она сейчасъ же засыпаетъ.

Но такъ ли важно было выспаться? Она сидитъ въ постели съ туманной отъ сна головой. Отъ сна,

какъ отъ кутежа. О да, она выпалась совсѣмъ, даже слишкомъ. Это былъ дремучій, липкій, непроходимый сонъ. Она едва выбралась изъ него, едва оторвала его отъ себя. Ей казалось, что она уже никогда не проснется, что она такъ и будетъ спать, спать и спать. Мучительно спать, сознавая свое горе, чудовищно расцвѣтшее, разукрашенное всѣми обидами, страхами и слезами, вдругъ вынырнувшими изъ наглухо запертыхъ въ памяти воспоминаній дѣтства.

Во снѣ она снова была маленькой Люкой. Тъери былъ Арсеніемъ, но звали его всетаки Тъери и Вѣра, ея сестра, была влюблена въ него. И всѣ ненавидѣли, всѣ мучали Люку. И отвратительнѣе, злѣе, страшнѣе всѣхъ была ея мать.

... Люка хочетъ убѣжать, спрятаться отъ нихъ. Она, боязливо оглядываясь, на носкахъ, выходитъ изъ незнакомаго темнаго, деревенскаго дома. Тише, тише, осторожнѣй, осторожнѣй, чтобы они не услышали, не увидѣли, не вернули бы ее. Она одна на темной проселочной дорогѣ. Луна ярко свѣтитъ. Она видитъ свою дѣтскую черную тѣнь съ неимоვნю вытянувшимися ногами, прыгающую по дорогѣ. Ей страшно, она отворачивается, чтобы не видѣть свою тѣнь, она бѣжитъ все быстрѣе. Она слышитъ стукъ своихъ ногъ въ тишинѣ. Какъ громко, какъ разноройно стучать ея ноги. Нѣтъ, это не только стукъ ея ногъ, это стукъ еще чьихъ то чужихъ ногъ позади. Она оглядывается на свою тѣнь. Но отъ ея тѣни ничего не осталось, она вся поглощена огромной скачущей тѣнью старухи. И Люка узнаетъ ее. Это мать, это ея мать гонится за ней. Луна свѣтитъ. Нигдѣ ни куста, ни дерева. Спрятаться негдѣ...

Нѣтъ, нѣтъ, конечно, все это не снилось ей. Она придумала это сейчасъ. И надо скорѣе забыть. Но какая гадость верональ. Лучше ужъ бессонница, чѣмъ такіе сны.

Въ окнѣ дождь. Какъ отвратительно — дождь. Но если бы свѣтило солнце, было бы такъ же или еще отвратительнѣе.

Надо встать. Надо ѣхать въ консульство. Она общала Михаилу Николаевичу. Но зачѣмъ ѣхать въ консульство? Она прекрасно знаетъ, что ей тамъ отвѣтятъ — Подайте прошеніе. Мы васъ извѣстимъ. Отвѣтъ придетъ не раньше Рождества. Не раньше Рождества, а она не знаетъ, какъ дожить до завтра, какъ прожить сегодняшній день. Вернуться въ Москву. Вчера это казалось легко и просто. Теперь она видитъ что это невозможно. И почему же въ Москву, а не на луну? Это такъ же невозможно. А на лунѣ можетъ быть еще лучше или еще хуже чѣмъ въ Москвѣ.

Она достаетъ изъ сумочки записку и рветъ ее. Она не хочетъ помнить ни номера телефона, ни имени человека давшего ей ее. Онъ въ Москвѣ или на лунѣ, ему нельзя даже писать и она никогда больше не увидитъ его. Зачѣмъ-же ей помнить его номеръ телефона? Вчерашній день былъ только случайной, короткой передышкой, антрактомъ давшимъ ей возможность набраться силъ. Игра продолжается.

Нѣтъ, она не поѣдетъ въ консульство. Она зѣваетъ. Ей некуда спѣшить. Никто не ждетъ ее. Она можетъ полежать еще. Она можетъ пролежать до вечера. Но тоска уже гонитъ ее въ ванную. Вода съ торжественнымъ ніагарскимъ грохотомъ льется изъ крановъ, объявляя о началѣ церемоніала этого новаго ужаснаго дня.

Неужели ей когда то доставляла удовольствіе теплая душистая вода, бѣлая хлопья мыльной пѣны, губка нѣжно скользящая по колѣну? Неужели она могла сосредоточить свое вниманіе настолько, чтобы сознательно чувствовать все это и такъ уяснить ощущеніе, чтобы испытывать разнообразныя удовольствія, качественно отличавшіяся другъ отъ друга лег-

чайшими, но несмѣшиваемыми оттѣнками. Она сидитъ въ ваннѣ, она сыплетъ душистую соль въ воду, она намыливаетъ плечи. Она дѣлаетъ все очень точно, очень аккуратно, по разъ установленному церемоніалу, замѣняя привычкой сознаніе, всецѣло занятая своимъ горемъ, просто не замѣчая всѣхъ этихъ мелочей и подробностей. Она выходитъ изъ ванны, она одѣвается. Тоска, какъ уголекъ, залетѣвшій изъ ада, жжетъ ея сердце. Она уже сожгла надежды на Москву и теперь вмѣстѣ съ ея сердцемъ, сжигаетъ остатки устойчивости и равновѣсія, бѣжитъ по нервамъ, сжигая и ихъ. Люка прислушивается. Какъ тихо въ ней. Какъ тихо. Той особенной послѣпожарной тишиной, когда все сгорѣло до тла, когда огонь, покончивъ со всѣмъ, умираетъ подъ пепломъ и душа его, тонкой, умильной полоской уносится въ небо.

Но это длится только минуту. Тоска, покончивъ съ будущимъ и настоящимъ, бросается на прошлое. Но оно желѣзо-бетонное, огнеупорное это прошлое. Оно не сгораетъ. Въ свѣтѣ огня еще виднѣе изуродованное ненавистью лицо Тъери, еще слышнѣ: „Ты мнѣ противна, какъ жаба“. Еще слышнѣ, такъ ясно слышно, будто это говорится здѣсь, сейчасъ, въ этой комнатѣ. „Противна, какъ жаба. Противна, какъ жаба“—съ отвращеніемъ и страхомъ, совсѣмъ, какъ Тъери въ ту венеціанскую ночь, громко повторяетъ голосъ. Не можетъ быть, чтобы это только казалось — голосъ слишкомъ отчетливъ, слишкомъ ясенъ. Она обводитъ комнату глазами, заглядываетъ въ углы, подъ диванъ, даже въ зеркало и въ зеркалѣ видитъ свое блѣдное лицо, свои шевелящіяся губы съ усиліемъ повторяющія (теперь она понимаетъ, она слышитъ, что это она сама говоритъ),— Ты мнѣ противна, какъ жаба. Она зажимаетъ ротъ рукой, такъ плотно, что голосъ уже не можетъ вырваться, но въ головѣ ритмично и отчетливо продолжаетъ стучать: „Какъ жаба, какъ жа-

ба"... Она снова оглядывается, ища помощи, но ни одинъ изъ этихъ безличныхъ отелныхъ предметовъ не хочетъ помочь ей. На столѣ телефонъ. Если бы можно было снять трубку, составить первый попавшійся номеръ и крикнуть слушающему на томъ концѣ провода: „Спасите меня. Я погибаю. Спасите. Приѣзжайте сейчасъ же" и дать адресъ.

Но этого нельзя. Никто не пойметъ, не спасетъ. Если въ домѣ пожаръ или воры, помощь явится немедленно, но ни полиціи, ни пожарнымъ, ни благотворительнымъ учрежденіямъ, ни просто всѣмъ телефоннымъ абонентамъ нѣтъ дѣла, что кто-то — еще кто-то — погибаетъ отъ тоски и одиночества.

Люка беретъ шляпу, мѣхъ, сумку. Надо скорѣе уйти отсюда, на улицѣ, на людяхъ станетъ легче. Она не успѣла даже напудриться, накрасить губы. Все равно потомъ, въ автомобилѣ. Только уйти отсюда, не оставаться одной.

И вотъ она въ автомобилѣ. Она въѣзжаетъ въ Булонскій лѣсъ. На деревьяхъ большіе зеленые листья. Когда они успѣли такъ вырости? Весна, а она и не замѣтила. Деревья шумятъ. Мокрые листья дрожать и блестятъ на вѣтру. И хотя идетъ дождь, отъ дрожи и блеска листьевъ, кажется, что деревья освѣщены солнцемъ, что солнце прячется въ нихъ.

Весна. Еще одна новая весна. И это почему то очень тяжело, очень непріятно. Лучше ужъ въ сутолкѣ улицъ, среди толпы и открытыхъ зонтиковъ. Она входитъ въ большое кафе на Елисейскихъ Поляхъ, она садится у широкаго окна и заказываетъ кофе. И сейчасъ же мѣняетъ: — Нѣтъ не кофе, а яичницу. Она ждетъ, она смотритъ на спѣшавшихъ мимо по мокрому тротуару. Неужели у каждаго изъ этихъ людей своя собственная тоска, своя собственная судьба? Но долго сидѣть она не можетъ. Безпокойство душитъ, гонитъ ее. Она пересаживается за другой столикъ въ

глубинѣ, беретъ газету, просматриваетъ ее. На первой страницѣ портретъ двухъ молодыхъ любовниковъ, покончившихъ съ собой отъ любви и жизненныхъ неудачъ. Неужели они дѣйствительно жили вотъ эти двое? Плакали, цѣловались, боялись разлуки и бѣдности, пока наконецъ не рѣшились улечься рядомъ, крѣпко обнявшись чтобы уже никогда не разставаться, не бояться ничего? Ей хочется представить себѣ ихъ живыми. Ей хочется на минуту почувствовать то, что чувствовали они передъ смертью. Но это не удастся. Можетъ быть оттого именно, что они чувствовали ту же растерянность и тоску и невозможность сосредоточиться. Лакей приноситъ яичницу. Какъ могла она думать, что съѣсть ее? Вѣдь ѣсть совсѣмъ не хочется. Она платитъ, она снова въ автомобилѣ. Отъ воздуха, отъ движенія, оттого, что надо быть внимательной, всетаки немного легче. Она ѣдетъ мимо Галери Лафайетъ. Зайти, купить что нибудь, все равно что. Нѣтъ, совсѣмъ не все равно. Надо купить перчатки, она забыла перчатки въ отелѣ. Въ магазинѣ движеніе и спѣшка. Тревога чувствуется здѣсь еще сильнѣе. Страсть и жадность всѣхъ этихъ женщинъ, желающихъ купить получше, подешевле, побольше, роющихся въ грудахъ остатковъ матерій и лентъ, душнымъ облакомъ стоитъ въ горячемъ воздухѣ, механически передаваясь каждой вновь вошедшей. И Люка не составляетъ исключенія, и вотъ она уже покупательница среди другихъ покупательницъ, нетерпѣливая, требовательная. „Зеленя перчатки въ цвѣтъ моей сумочки”. Продащица открываетъ и закрываетъ коробки. Люка прикладываетъ сумочку, выбираетъ, сомнѣвается. „Эти нѣтъ, подождите, лучше тѣ”. Она забываетъ взять сдачу. Продащица догоняетъ ее. „Къ счастью мадамъ не успѣла далеко уйти”. Къ счастью, дѣйствительно. къ счастью. Какъ правильно сказано. Отчего даже тѣ немногія слова, которыя говорятъ ей, звучать

насмѣшкой? Но раздумывать некогда. Здѣсь она покупательница, — покупательница должна покупать. Да, зеленый кушакъ въ цвѣтъ сумки и перчатокъ. Она суетится, ходитъ по магазину. Кушакъ, перчатки вдругъ вырастаютъ до фантастическихъ размѣровъ, отодвигаютъ горе, закрываютъ собой прошлое. Пока она выбираетъ, пока покупаетъ ихъ. Но вотъ она заплатила, надѣла кушакъ. Кушакъ крѣпко обхватываетъ ея талию, поддерживаетъ, нѣтъ, просто сдавливаетъ ея измученныя ребра. Оттого, что онъ новый и зеленый, ничего не измѣнилось, тревога не улеглась и волненіе не прошло. И перчатки ничуть не помогаютъ. Зеленыя, какъ лягушки,— „Ты мнѣ противна, какъ...” нѣтъ, жаба коричневая и ничего общаго не имѣетъ съ этой милой зеленою. Но зачѣмъ всетаки она купила ихъ?

Она выходитъ на улицу, машетъ такси и тогда вспоминаетъ, что она оставила гдѣ-то здѣсь свой автомобиль. Она стоитъ на тротуарѣ, стараясь собраться съ мыслями. Прохожіе толкаютъ ее. Какіе грубые. Толкаютъ вмѣсто того, чтобы пожалѣть. Гдѣ автомобиль? Надо отыскать его, не сѣсть по ошибкѣ въ чужой. Но онъ находится быстро, онъ бѣлый, спутать нельзя, и номеръ тотъ же. Это ея автомобиль. И она снова ѣдетъ.

Мысли ломаются, куски ихъ отскакиваютъ другъ отъ друга, ихъ нельзя сложить, склеить въ слитное, логичное цѣлое. Только куски, только обрывки. И время тоже ломается. Оно распадается на осколки, какъ разбитое зеркало. Въ разбросанныхъ осколкахъ отражаются глаза Тъери, его электрическая улыбка, тутъ его голосъ, а тамъ его рука, держащая папиросу. Но какъ изъ всѣхъ этихъ осколковъ составить его живое лицо, живое воспоминаніе о немъ? Это вчера или только-что она купила перчатки „какъ жаба”? нѣтъ, Тъери сказалъ „коричневая”. Нѣтъ, не „коричневая”,

а „жаба“. Это жаба коричневая. Люка все путаетъ. Жаба не имѣетъ никакого отношенія къ перчаткамъ. Но всетаки ихъ лучше снять и выбросить въ окно. Вотъ такъ, на тротуаръ. Ктонибудь найдетъ и обрадуется: совсѣмъ новыя, дорогія. Но маленькія — пять три четверти — рѣдко кому впору. Ахъ, это уже касается не ея, а той, которая найдетъ перчатки. И не все ли равно, когда Люка купила ихъ? Вспомнить такъ трудно. Да, такъ трудно вспомнить, разобратъся, понять что-нибудь въ обрывкахъ и лохмотьяхъ тоски, боли, оскорбленія и одиночества безъ всякой послѣдовательности, какъ попало нанизанныхъ на отчаяніе, какъ на стальной стержень. На отчаяніе, не дающее всѣмъ этимъ словамъ, часамъ и слезамъ разлетѣться по вѣтру, разсыпаться пылью, а крѣпко связывающее ихъ въ единое, недѣлимое, непобѣдимое горе.

Люка смотритъ на поднятую руку, останавливающаго движеніе, полицейскаго и эта поднятая рука вдругъ заставляетъ ее понять, что такъ нельзя, такъ дальше нельзя, что надо успокоиться. Но какъ? Но гдѣ? Не здѣсь на улицѣ въ толпѣ, не въ отелѣ — этой одиночной камерѣ. Нѣтъ, гдѣнибудь, гдѣ она была счастлива, дѣйствительно совсѣмъ счастлива. Посидѣть тамъ въ тишинѣ, ни о чемъ не думая, пока не вернется равновѣсіе, пока мысли не станутъ снова превращаться въ простыя понятныя фразы, пока минуты, складываясь другъ съ другомъ, не начнутъ снова образовывать безконечной линіи, не станутъ снова непрерывнымъ движеніемъ, текучимъ переходомъ отъ прошлаго въ будущее. Пока время не перестанетъ быть тѣмъ, что оно теперь — остановкой, проваломъ, гдѣ каждый часъ самъ по себѣ, ни съ чѣмъ не связанный, превращается въ страданіе, въ статическое „какъ больно“, безъ надежды на „это пройдетъ, завтра будетъ легче“.

Тамъ гдѣ она была счастлива — нѣтъ, не въ домѣ

Тъери, не въ ресторанахъ, театрахъ и студіи, гдѣ потомъ было столько горя. Нѣтъ, гдѣ она была счастлива съ нимъ и только счастлива. Вѣдь должно существовать такое мѣсто. Надо вспомнить, хорошенько вспомнить. И она вспоминаетъ. Феканъ. Да, въ Феканѣ она была совершенно счастлива. Это было еще въ самомъ началѣ, осенью. Павликъ уѣхалъ на заводъ и они съ Тъери провели сутки у океана. Очень большая комната въ три окна, номеръ шесть. „Запомни, сказалъ Тъери, номеръ шесть. Мы еще вернемся сюда. Здѣсь было слишкомъ хорошо“. Но не „мы“, а она одна вернется туда. И не за воспоминаніями, а за успокоеніемъ. Успокойся. Да, тамъ можно успокоиться. Лечь въ широкую постель, ни о чемъ не думать, отдохнуть. И все придетъ въ порядокъ въ ней самой и вокругъ нея.

Вѣдь ничего не пропадетъ на свѣтѣ и въ этомъ „тамъ, гдѣ она была счастлива“ счастье, какъ пыль, должно быть, еще прячется въ складкахъ занавѣсокъ, въ абажурѣ лампы, въ лѣпныхъ узорахъ потолка. Надо ѣхать въ Феканъ, сейчасъ же ѣхать. Къ ночи она уже будетъ тамъ.

Она достаетъ дорожную карту, разсматриваетъ ее. Ѣхать просто, спутать нельзя. Она не забываетъ даже за чемоданомъ, за теплымъ пальто. Въ Феканъ, за успокоеніемъ, за завтрашнимъ днемъ.

Дождь, автомобиль скользить. Надо быть очень осторожной, не забывать ни на минуту, что она правитъ, слѣдить за своими руками, за своими ногами, за своими рефлексами, помнить о нихъ. Тъери, ребенокъ — объ этомъ потомъ.

Это ея первое большое путешествіе — никогда еще она одна не ѣздила дальше студіи. Если случится что-нибудь съ автомобилемъ, она совершенно беспомощна, она ничего не понимаетъ въ механикѣ, этому ее не обучили, она не умѣетъ даже перемѣнить шину.

Но ничего не случится. Она отлично доберется до Фекана. Но какъ это далеко и какъ она устала! Дождь, мокрая дорога скользить, автомобиль заносить на поворотахъ. Надо быть очень осторожной, не прибавлять скорости. Хочется спать. Должно быть верональ снова вступаетъ въ свои права. Хочется остановить автомобиль, по шенячьи свернуться теплымъ клубочкомъ и уснуть... Нельзя, надо ѣхать. Километръ за километромъ, подъ дождемъ. Сколько ихъ еще этихъ километровъ? Какіе они длинные, мокрые, трудные. Она въѣзжаетъ въ лѣсъ. Въ лѣсу уже почти темно, она зажигаетъ фонари. Желтый свѣтъ широко освѣщаетъ дорогу, оставляя деревья въ тѣни. Она не видитъ деревьевъ. Она видитъ только ихъ тѣни, лежащія на дорогѣ. Большая птица тяжело пролетаетъ въ желтомъ свѣтѣ фонарей. Это, должно быть, ворона, но Люкѣ кажется, что это сова. — Сова, шепчетъ она, вздрагивая. И лѣсъ сразу становится зловѣщимъ и враждебнымъ. Ей холодно, она дрожить. Скорѣй бы выбраться отсюда. Тѣни деревьевъ безшумно скользятъ мимо. Она боится оглянуться на нихъ. Ей кажется, что они бѣгутъ рядомъ. Нѣтъ, это не тѣни деревьевъ, это старухи, уродливыя, горбатыя, хромыя. Онѣ скачутъ по обѣ стороны автомобиля, липнуть къ автомобильнымъ стекламъ. Она оглядывается на окно. И вдругъ узнаетъ одну изъ старухъ, узнаетъ этотъ черный беззубый ротъ, эти растрепанныя бѣлыя волосы, эти косящіе отъ ненависти, мертвые глаза...

Люка крестится и, зажмурившись, креститъ окна и углы автомобиля, какъ когда-то въ дѣтствѣ, крестила свою комнату ночью.— Да воскреснетъ Богъ. Это верональ, не надо бояться, не надо поддаваться сну и страху. Лѣсъ сейчасъ кончится. Сейчасъ. Но онъ тянется, тянется, тянется. Онъ безконеченъ этотъ лѣсъ. Ей страшно. Ей страшно, какъ бывало только въ дѣтствѣ, когда она просыпалась съ крикомъ: мама!

Ей и сейчас хочется крикнуть. позвать на помощь: мама! Но звать не надо. Звать нельзя. Она тутъ ея мать. Она вышла изъ гроба, она привела съ собой на помощь толпу мертвыхъ старухъ, чтобы преслѣдовать Люку. Нѣтъ, эта ужасная старуха не ея мать. Ея мать была красивая, молодая, нѣжная. Она никогда не обижала Люку. Даже послѣ смерти Вѣры. Она только отослала Люку къ своей сестрѣ. Въ день отъѣзда, уже на вокзалѣ, въ послѣднюю минуту, она вдругъ крѣпко обняла Люку, прижала ее къ груди, къ черному креповому вуалю и плача, стала цѣловать ее. Такъ Люка навсегда запомнила ее. Люка ясно понимаетъ — это не ея мать. Это верональ, это страхъ, это усталость. Не надо смотрѣть въ окно. Надо ѣхать, надо править автомобилемъ.

Лѣсъ наконецъ кончается. На дорогѣ опять свѣтло. И дождь прошелъ. Теперь уже скоро Фекань. Люка отряхивается, стряхивая съ себя остатки страха и сна. Это былъ сонъ. Никакого лѣса здѣсь не было. Солнце пышно и празднично опускается за вспаханнми полями, за розовымъ рядомъ цвѣтушихъ яблонь. Больше не страшно, совсѣмъ не страшно. Это солнце и эти яблони, какъ обѣщаніе спасенія. Да, спастись, выбраться, выкарабкаться. Не погибнуть, не пропасть. Еще не поздно, еще возможно. Она спасется, разъ хочетъ спастись. Она знаетъ, горе лечится, какъ болѣзнь. Нѣтъ неизлѣчимаго горя. Все возможно, пока человѣкъ живъ. Она, Люка, еще жива. Она жива и навѣрно будетъ жить еще долго, до самой глубокой, восьмидесятилѣтней старости. Черезъ десять лѣтъ она будетъ съ улыбкой вспоминать: „Какая я была бѣдная, глупая. И молодая, ахъ, слишкомъ молодая для такого горя“. Да, и горе, и Тъери, и она, и любовь — все станетъ прошлымъ. Ничего необычайнаго, трагическаго, единственнаго, нѣтъ ни въ ея любви, ни въ ея горѣ. Все это банально. Сотни женщинъ

переживаютъ то же самое. Гордиться нечѣмъ. Да, она погибаетъ изъ-за Тьери. Но это банальная, недостойная, низкая любовь. Она вѣдь знаетъ, что онъ пустой, бездушный, жестокой. Что онъ никогда не любилъ ее, что она была для него только фетишомъ, *porte-bonheur* омъ, чѣмъ-то вродѣ слона съ поднятымъ хоботомъ или четырехлистнаго клевера. Что онъ суевѣрный трусъ. Что онъ безчеловѣченъ. Она влюбилась въ него за блескъ, за власть, не стараясь даже узнать, понять его. И когда она стала принадлежать ему, какъ его пиджакъ, его галстукъ, ей уже было все равно, что онъ безчеловѣченъ. Онъ занялъ собою всѣ ея мысли, всѣ чувства, весь ея горизонтъ. Она продолжала его любить отъ слабости, отъ подлости, отъ одиночества. Да, даже отъ одиночества. Если бы она не была такъ непонятно одинока. Въ Венеціи, ожидая Тьери, съ милыми венеціанскими путешественниками ей было почти хорошо. Они ходили, держась крѣпко подъ-руку, они ѣздили въ одной гондолѣ. Они были всегда вмѣстѣ. Вечеромъ веселая хорошенькая Арлетта прибѣгала къ Люкѣ въ своемъ пестромъ халатикѣ, похожимъ на хлѣтку съ экзотическими птицами и, сидя на краю постели, птичьимъ щебетомъ рассказывала о своей любви, о своей карьерѣ, о Давіэ. И, смѣясь, прерывала себя — А, Давіэ ждетъ меня. — Онъ не будетъ сердиться? сонно спрашивала Люка. — Нѣтъ, нѣтъ, онъ васъ очень любитъ. Я не уйду, пока вы не уснете. Но вы всетаки постарайтесь уснуть, маленькая Дэль, чтобы онъ не очень долго ждалъ. И Люка старалась. И Люка засыпала.

Если бы въ ту послѣднюю ночь, Арлетта пришла къ ней, все сложилось бы иначе. Она была бы сейчасъ съ ней гдѣ-нибудь въ Италіи, въ горахъ. Она все рассказала бы Арлеттѣ въ ту ночь. Но Арлетта побоялась придти изъ-за Тьери. Но Люка была горда и скрытна. О. глупая гордость, когда гордиться

нечѣмъ. Ни своей любовью, ни своимъ горемъ, ни собой. Это все банально, о, до чего банально. И всетаки это больно. О, до чего больно.

Цвѣтушія яблони, ручей и за поворотомъ дороги низкій холмъ. Мимо, мимо. Скорѣй, скорѣй. Къ морю.

И вотъ Феканъ. Она въѣзжаетъ въ городъ. Тяжелый, мрачный соборъ на площади. Кафе, банкъ, магазины. Въ тотъ день на площади былъ базаръ и пестрыя палатки придавали ей какой-то средневѣковый видъ. Но сейчасъ она пуста и скучна. Съ моря запахъ острый и соленый. Нѣтъ не съ моря — изъ складовъ трески. Люка на минуту закрываетъ глаза, вдыхая его. Тогда запахъ трески казался противнымъ, но сейчасъ онъ нуженъ ей такъ же, какъ море, какъ отель, какъ комната номеръ шесть. Онъ одинъ изъ элементовъ, изъ которыхъ она построить успокоеніе.

Она ѣдетъ по узкимъ улицамъ мимо Бенедиктинскаго монастыря, гдѣ бенедиктинскіе монахи готовятъ бенедиктинъ. Впрочемъ, можетъ быть, здѣсь только цвѣтники и парадъ, а бенедиктинъ варятъ гдѣ-нибудь въ другомъ, болѣе будничномъ мѣстѣ. Она не знаетъ, они не осматривали, какъ это дѣлаютъ туристы, ни монастыря, ни достопримѣчательностей. Въ то утро, послѣ ночи, проведенной въ счастливой комнатѣ, они отправились на скалу къ маяку.

Они взобрались на самый верхъ горы. Оттуда было видно все море, и все небо, и бѣлыя скалы, съ двухъ сторонъ охватывающія голубыя волны. — Тамъ внизу, налѣво былъ Феканъ съ пестрыми палатками, музыкой и домами, направо скалы были дикія, трагически-блѣдныя и нелюдимыя. По узкой тропинкѣ они подошли къ обрыву. Она поскользнулась, ей стало страшно. она схватила Тъери за руку. — Не бойся, голосъ Тъери звучалъ непривычно нѣжно, здѣсь, на высотѣ, на вѣтру, подъ широкимъ небомъ. Она прислонилась къ его

плечу. Она чувствовала себя совсѣмъ по новому отъ этихъ скаль, обрывающихся у ея ногъ, отъ этихъ волнь, шумѣвшихъ внизу. Совсѣмъ по новому, робко и смущенно, съ острой полнотой ощущая глубоко скрытую въ ней таинственную женственность. „Я совсѣмъ счастлива сейчасъ”. Она вздохнула. „Если бы сейчасъ оступиться, сорваться внизъ”... Но этого она не сказала. Этого она даже не подумала, она только смутно поняла это по извилистому полету чайки. Около маяка стояла старинная рыбацья церковь, похожая на сарай. Они вошли въ нее.

Церковь была очень свѣтлая, длинная, со стѣнами, сплошь увѣшанными мраморными досками съ благодарностью за спасеніе. Между этими благодарственными досками висѣли картины. Старья, не очень искусныя картины въ золоченыхъ рамахъ. И всѣ онѣ изображали море, и корабли, и лодки, вѣрнѣе гибель этихъ кораблей и лодокъ въ морѣ. Всѣ виды, всѣ сорта, всѣ разнородности гибели въ морѣ. Корабль затертый льдами, тонущая въ бурю лодка, шхуна, охваченная огнемъ. Только гибель въ морѣ. Еще и еще. Изображеніе той гибели, отъ которой чудомъ спасся благодарящій. — Чудомъ или геройствомъ.

Они, держась подъ-руку, обошли церковь, оставиваясь передъ каждой картиной. Но оттого, что Тьерри былъ здѣсь рядомъ, оттого, что рука его нѣжно сжимала ея локоть, Люка никакъ не могла представить себѣ тоску и страхъ этихъ гибнущихъ моряковъ. Она ясно видѣла себя и Тьерри моряками на этой горячей палубѣ съ развѣвающимися по вѣтру пылающими парусами или тутъ, на другой картинѣ — затертыми льдами, слышала трескъ корабля, ломающагося о льдины, которыя сейчасъ, вмѣстѣ съ кораблемъ, переломаютъ ихъ кости, чувствовала холодъ приближенія огромной волны — которая вотъ сейчасъ рухнетъ, слизнетъ ихъ съ Тьерри съ палубы, проглотитъ, похоронитъ ихъ...

Да, она, обостренными счастьемъ и влюбленностью, глазами видѣла приближеніе гибели, но страха, но тоски не умѣла почувствовать въ то утро. Вѣдь Тьері былъ всюду рядомъ, они гибли вмѣстѣ, навсегда. Все было такъ просто, героично и прекрасно.

— Ты плачешь, Люка? Она улыбнулась, моргая влажными рѣсницами. Ей хотѣлось объяснить ему все — свою страсть къ морю, свое восхищеніе романтической судьбой моряковъ и жалость къ нимъ, и желаніе уѣхать вмѣстѣ съ Тьері въ кругосвѣтное плаваніе. Но она только молча поставила свѣчу передъ статуей Св. Дѣвы, ни о чемъ не прося Ее. Они вышли изъ церкви взволнованные, тѣсно связанные моремъ и смертью. Навсегда, на всю жизнь связанные, какъ ей казалось тогда, морскимъ, неразвязывающимся узломъ.

А теперь она гибнетъ, тонет одна. Какъ она будетъ молиться завтра въ рыбацѣй церкви за всѣхъ гибнущихъ, тонущихъ. За всѣхъ спасенныхъ, за всѣхъ погибшихъ и за себя.

Люка выѣзжаетъ на набережную. Солнце только-что зашло и море еще свѣтится его теплымъ свѣтомъ. Люка безсознательно смотритъ на волны, на небо, на парусъ на горизонтѣ и губы ея безсознательно вздрагиваютъ. Это еще не улыбка, это только безсознательная попытка улыбки. Тамъ, по ту сторону автомобильнаго стекла, въ той нѣжной прелестной жизни, въ которой Люка не участвуетъ, насталъ счастливый вечеръ и Люка, какъ бы на минуту выйдя за предѣлы своего тѣла, своего автомобиля, очутившись по ту сторону всего этого, растворяется въ блескѣ и покоѣ счастливаго вечера. Но это только кажется. Она тутъ, въ автомобилѣ. Вся — со своимъ горемъ и своей судьбой, изъ которой нельзя вырваться. Автомобиль катится по набережной, перелетаетъ черезъ перила, врѣзается въ волны. „Гибну, тону одна“, вспыхиваетъ въ ея мозгу. „На самое дно океана“. Но это

тоже только кажется. Она осторожно и медленно подъѣзжаетъ къ отелю.

Она останавливаетъ автомобиль. Ноги плохо слушаются и дрожать. Отъ усталости, отъ волненія. А вдругъ комната номеръ шесть занята и она пріѣхала напрасно? Въ холлѣ пусто, но Люка не можетъ ждать, — она стучитъ въ закрытую дверь. Дверь открывается и выходитъ маленькій старикъ. — Комната номеръ шесть свободна? спрашиваетъ Люка. И онъ киваетъ — всѣ комнаты свободны, весь домъ. Люка вздыхаетъ — значитъ она не напрасно пріѣхала. Багажъ? Нѣтъ, у нея нѣтъ багажа. Заплатить впередъ? Она раскрываетъ сумочку. Она уѣхала, не посмотрѣвъ даже, достаточно ли у нея денегъ. Если бы денегъ не хватило... Но денегъ, оказывается достаточно. И это вторая удача. Поворотъ судьбы. Дальше все будетъ хорошо.

— Шестой номеръ очень великъ для одного человѣка. Двѣ постели. Можетъ быть, мадамъ возьметъ комнату поменьше и въ садъ? Тамъ не такъ шумитъ море. — Нѣтъ, нѣтъ. Я знаю. Мнѣ не мѣшаетъ.

Да, въ ту ночь имъ тоже не мѣшали ни море, ни вторая постель — они спали вмѣстѣ въ одной.

Она входитъ въ комнату. Какая огромная, какъ залъ. Тогда она казалась меньше, болѣе жилой, отъ присутствія Тьеры.

Вотъ здѣсь, вотъ сейчасъ. И все совсѣмъ, какъ было. Обои съ птицами и цвѣтами и та же лампа съ шелковымъ абажуромъ на ночномъ столикѣ и та же хрустальная люстра.

Обои въ цвѣтахъ и птицахъ... Въ то утро, торопясь одѣться, прислушиваясь къ всплескамъ воды въ ванной, она нечаянно тронула одну изъ множества красногрудыхъ птицъ, застывшихъ въ неподвижномъ полетѣ надъ желтой хризантемой. И птица сразу ожила, встрепенулась, подобрала крылья, нахохлилась. клю-

нула Люку въ палець и зачирикала. Но Люка торопилась, сейчасъ выйдетъ Тъери, а она еще не причесалась. Она рукой отмахнулась отъ чирикающей птицы — не до тебя — и птица покорно снова вошла въ узоръ обоевъ. И сейчасъ, вспомнивъ о ней, Люка обводитъ всѣхъ птицъ пальцемъ. Это было здѣсь, на этой стѣнѣ, но которая изъ нихъ? Нѣтъ всѣ онѣ обычныя напечатанныя птицы, онѣ не хотятъ, не могутъ ожить. Ихъ напрасно трогать, онѣ не клонуть ее, онѣ не зачирикаютъ.

Она запираетъ дверь на ключъ. Завтра утромъ она будетъ спокойной, почти веселой. Она раздѣвается, она ложится, гаситъ свѣтъ. Сквозь задернутыя шторы на среднемъ окнѣ слабо свѣтитъ луна. Какъ шумитъ море. Въ ту ночь море тоже шумѣло. Но никакихъ воспоминаній о той ночи не возникаетъ и это хорошо. Она сейчасъ заснетъ, а когда проснется, все уже будетъ въ порядкѣ — утро, мысли, время. Только скорѣе заснуть. Она ложится на спину, стараясь распушить всѣ мускулы, стать какъ можно тяжелой. — Я тяжелая, какъ свинець. Я засыпаю, я уже сплю. Да, она дѣйствительно спитъ. Она слышитъ сквозь сонъ гулъ моря и свой собственный голось надъ самымъ ухомъ — Не спи, не спи, не спи. Поздно спать, некогда спать. Толчекъ подъ ребра, изнутри. Будто сердце толкнуло, разбудило ее. Сна больше нѣтъ, никакого сна — такая ясная, сухая голова и въ ней, какъ моторъ, шелкаютъ обрывки мыслей, отдѣльныя слова. Она открываетъ глаза. Гулъ моря. Лунный свѣтъ на коврѣ. Безсонница, безсонница, безсонница. Люка садится. Лампа тускло вспыхиваетъ подъ краснымъ абажуромъ. Тревога, волнение, безсонница. Ей страшно въ этой огромной безсонной комнатѣ. Пустыя безсонныя зеркала, безсонный гулъ моря. Она прижимаетъ холодную руку къ груди. Чего она боится? Это море, это Феканъ.

Страхъ сейчасъ пройдетъ. Она встаетъ, она зажигаетъ люстру. Люстра хрустальная и очень яркая. Но страхъ не проходитъ, напротивъ — отъ этого яркаго, хрустальнаго льдистаго свѣта въ пустой комнатѣ становится еще страшнѣе. Ей хочется убѣжать, спрятаться, забиться куда-нибудь въ уголь. Она снова ложится, натягиваетъ одѣяло на голову, подбираетъ колѣни къ подбородку. Такъ комкомъ, вся тутъ, и бояться нечего. Но она не можетъ лежать неподвижно. Она сбрасываетъ одѣяло, она садится. Чего ей бояться? Что можетъ еще случиться? Брошенная, беременная, одинокая. — Какъ жаба, говорить она громко. Какая жаба? Зачѣмъ, почему жаба? Она забыла. Жаба, жаба, жаба, стучить въ головѣ, но объясненія нѣтъ, только очень больно отъ этого слова. Нѣтъ, это не воспоминаніе, это предчувствіе. Это Тъери скажетъ ей въ Венеціи, когда они наконецъ, послѣ такой разлуки, такого горя, встрѣтятся въ Венеціи. — Ты противна мнѣ, какъ жаба. Неужели скажетъ? Неужели онъ совсѣмъ безъ сердца? Камень, хуже камня? Но она уже знаетъ, это не предчувствіе, это увѣренность. Да, ей придется услышать собственными ушами, увидѣть собственными глазами, какъ его губы скажутъ и повторять — Ты мнѣ противна, какъ жаба. Какъ жаба — она не сможетъ перенести это. Она умретъ тутъ же передъ нимъ, упадетъ у его ногъ и не встанетъ больше. Да, послѣ этого нельзя жить. И всетаки она поѣдетъ въ Венецію, она встрѣтится съ Тъери. Ей страшно. Это страхъ, ни съ чѣмъ не связанный, ни съ болью, ни съ горемъ, абстрактный страхъ, существующій самъ по себѣ, какъ воздухъ, какъ свѣтъ. — Мнѣ страшно, тихо стонетъ она. Но это сонъ, это только дурной сонъ.— Спи Люка, спи, уговариваетъ она себя. А вдругъ ей снова приснится мать? И почему, почему мать? Если бы еще Вѣра. Вѣра прокляла ее передъ смертью. Пускай бы уже

Вѣра. Только бы не мать. Нѣтъ, она не хочетъ, она боится уснуть. Такъ плохо ей еще нигдѣ, никогда не было. Три часа, всѣ спятъ, въ коридорѣ темно. Надо ждать утра. Ждать возможности уѣхать. Вотъ оно это „тамъ, гдѣ я была счастлива“. Она сидитъ на постели. Ей холодно, ея голыя ноги, ея голыя плечи зябнуть. Море шумитъ, люстра освѣщаетъ пустую комнату, раскрытую постель и ее, Люку, такую потерянную, такую одинокую, ее — крѣпко затянутый узелъ боли — комокъ боли и горя на бѣлыхъ ледяныхъ простыняхъ. „Если сейчасъ хлопнетъ дверь, стукнуть ставни... Я не выдержу“, громко говоритъ она. И сейчасъ же, такъ же громко обрываетъ себя: „Выдержишь, еще и не то выдержишь“.

Разсвѣтъ. Люстра сворачивается, уменьшается. Сіяющіе хрустали тухнуть, какъ свѣчи на рождественской елкѣ, таютъ, какъ ледяныя сосульки, одинъ за другимъ. И вотъ уже люстра — только оскорбительное жирное желтое пятно въ голубомъ холодѣ морского утра.

Еще очень рано. Обрывки ночной сырости еще толпятся на дорогѣ, обнимаются, прощаются, возвращаются снова, рѣшаясь разстаться другъ съ другомъ. „Прощай, прощай на вѣчную разлуку“. Разлука, грусть, прощаніе омрачаетъ солнце. Совсѣмъ скромное, не оскорбительное, притушенное утро.

Должно быть красиво. Будто она не сама видитъ, а читаетъ описаніе. И должно быть холодно. Да, должно быть, очень холодно. Она слышитъ, какъ стучать ея зубы. Она ѣдетъ. Мысли разсыпаются передъ глазами маленькими радужными дисками. Не надо смотрѣть на солнце.

Впереди, далеко въ полѣ, на розовомъ стеклянномъ горизонтѣ стоитъ дерево. Совсѣмъ одиноко, въ дикомъ, первородномъ одиночествѣ, раскинувъ вѣтви молитвой о помощи, о дружбѣ, о сочувствіи. Люкѣ хо-

чется остановить автомобиль, побѣжать черезъ вспаханное поле къ дереву, обнять его, прижаться къ нему, почувствовать, какъ изъ его коры, въ горькомъ одиночествѣ капаетъ смола. Нѣтъ, не только обнять, утѣшить его, а остаться съ нимъ, стать самой деревомъ, сплестись съ нимъ вѣтвями въ высокой небесной дружбѣ, сплестись съ нимъ корнями въ теплой земной любви. Но она такъ слаба, такъ устала. До послѣдняго предѣла, за послѣднимъ предѣломъ усталости. Она ѣдетъ дальше. Одинокое дерево на горизонтѣ, исчезая изъ зрѣнія, переносится въ память болѣю одиночества. Одиночество, одиночество. Она вздрагиваетъ. Страшнѣе всего одиночество. Не быть одной, только не быть одной. Выйти изъ одиночнаго заключенія, своей комнаты, своего сознанія, своего горя. Найти дружбу, сочувствіе, протянутую теплую руку, протянутую для привѣтствія, не для прощанія. Горе лечится, какъ болѣзнь. На свѣтѣ столько людей. Она перебираетъ имена, какъ фишки картотеки. Не то, не то. Арлеттъ, Давіэ, Тъери и Тереза, Герэнь и опять Тъери. Лермонтовъ, Маша... Нѣтъ, Лермонтовъ — книга, а Маша — горничная, служившая у нихъ съ Павликомъ. Ударъ между глазъ — Павликъ. Чувство самосохраненія, безъ участія сознанія, цѣликомъ занятаго находкой Павлика, уже останавливаетъ автомобиль. Люка, безпомощно мигаетъ. Слезы текутъ изъ ея глазъ. Павликъ, всхлипываетъ она, будто только что услышала о смерти Павлика. И вдругъ улыбка сквозь слезы, какъ радуга освѣщаетъ ея лицо. Нѣтъ не о смерти Павлика, о жизни съ Павликомъ, о возможности жизни.

Въ Парижъ. За Павликомъ. Скорѣй, скорѣй. Только врядъ ли онъ остался жить въ ихъ прежней квартирѣ. А если онъ не оставилъ адреса? А если онъ уѣхалъ изъ Парижа? Она все равно найдетъ его. Она будетъ искать его дни, недѣли, мѣсяцы, пока не

найдетъ. Силь у нея хватить. Конечно, хватить. На поиски, и на встрѣчу, и на всѣ новыя огорченія. Это въ самомъ началѣ, въ прошломъ году ей казалось, что у нея нѣтъ силь, что она вся проносилась до дыръ, изорвалась въ лохмотья, что она слабая, больная, усталая. Но теперь она чувствуетъ, что у нея, брошенной, беременной, несчастной, силь хватить и на сегодня и на завтра и на всю безконечную жизнь. Силь хватить на все, что еще ждетъ ее впереди.

Булонскій лѣсъ. Мюэтъ. Пасси. Здѣсь каждый камень исхоженъ ногами Павлика. Вотъ ихъ булочная, вотъ на углу кафэ, гдѣ онъ покупалъ папирасы и вотъ наконецъ ихъ домъ.

Она останавливаетъ автомобиль. Сколько разъ она входила въ этотъ подъѣздъ, сколько разъ смотрѣла изъ тѣхъ оконъ въ третьемъ этажѣ на улицу. Нѣтъ, это прошлое не кажется ей прекраснымъ. Даже и теперь не кажется.

Она стучитъ въ ложу консьержки. Консьержка щурится и притворяется, что не сразу узнаетъ ее. — Ахъ, это вы, мадамъ. (Прежде она звала Люку мадамъ Дэль, но теперь, по мнѣнiю консьержки, ее должно быть, не слѣдуетъ звать честнымъ именемъ мужа). Вы такъ измѣнились (измѣнились, это значитъ измѣнили порядочности, измѣнили мужу, стали авантюристкой въ мѣхахъ). Люка такъ и понимаетъ. Люка краснѣетъ. Нѣтъ, Люка не получитъ адреса мужа. Консьержка не знаетъ его. Она мститъ Люкѣ. Люка — порокъ. Порокъ долженъ быть наказанъ.

Дэль уѣхалъ изъ Парижа совсѣмъ. Кажется даже за границу. Но Люкѣ непременно нуженъ адресъ. Она широко открываетъ сумку, показывая лежащія въ ней стофранковыя бумажки. — Можетъ быть консьержка всетаки напряжетъ память, вспомнить? И глядя въ глубину сумки, консьержка вспоминаетъ — у меня гдѣ-то записано. И Люка получаетъ адресъ

Павлика, написанный его собственной рукой. Конечно, можно было бы теперь захлопнуть сумку и уйти, даже не поблагодаривъ, но Люка кладетъ сто франковъ на столъ. Какъ быстро, какъ дешево ей достался Павликъ.

Она ѣдетъ на почту, посылаетъ ему телеграмму. Можетъ быть было бы проще самой поѣхать къ нему въ Лионъ? Нѣтъ, надо отдохнуть, подготовиться къ встрѣчѣ.

„Пріѣзжай немедленно“. Подпись. Адресъ. И еще: „Привези Тролля“. Такъ. Безъ объясненій. Объясненіе потомъ, когда онъ будетъ съ ней. Главное, чтобы онъ былъ съ ней.

Конецъ путешествія. Отель. Зеленая комната. Она сейчасъ же ложится. Зеленая стѣны, какъ деревья, зеленый коверъ, какъ лугъ. Нѣтъ, путешествіе еще не кончено. Она все еще ѣдетъ. По зеленой травѣ, въ зеленомъ снѣ. Ее будить стукъ. Не надо просыпаться — это дятель стучитъ въ лѣсу. Нѣтъ, это стучать въ дверь. Она открываетъ глаза. Окно матово-сѣрое, комната полна холодными, дымными сумерками. На зеленомъ полу, какъ остатки недоѣденнаго обѣда, обрывки недосмотрѣннаго сна: мостъ, перекинутый отъ окна къ креслу, коза шиплющая коверъ и въ углу большой бѣлый парусъ, треплющійся на вѣтру. Стукъ повторяется громкій, грозный, предупреждающій объ опасности. — Войдите, рѣшительно говоритъ Люка еще спящимъ голосомъ. Да, пусть это что тамъ стучитъ въ дверь, войдетъ и покажется. Что бы, кто бы откуда бы оно ни было — пусть оно войдетъ. Она ждетъ, она готова принять новую боль, новое оскорбленіе, новое горе.

Дверь вѣжливо отворяется. Серебрянный подносъ, лакей, телеграмма. Люка раскрываетъ телеграмму и буквы, какъ мухи, трепеща крыльями и лапками, разлетаются во всѣ стороны. Люка прижимаетъ ихъ ла-

донью къ дрожащему листку — Дайте свѣту. И свѣтъ сразу зажигается и буквы, уже непохожія на мухъ, сами складываются въ — Приѣду завтра 9 утра. Цѣлую. Павликъ. Люка поднимаетъ голову. „Приѣду завтра”, теперь только одна задача — дожить до завтра. Завтра Павликъ будетъ съ ней. Павликъ. Павликъ, Павликъ. Она плачетъ. Она, жалуясь, рассказываетъ ему все съ безстыдной, жестокой, слезливой откровенностью — Тъери бросиль меня, бросиль. Если бы не ты, не оттого, что это ты, а оттого, что у меня, кромѣ тебя, никого нѣтъ и я не могу быть одна... Павликъ, Павликъ. Лгать, объяснять такъ, чтобы было лестно ему и не слишкомъ обидно ей, она будетъ завтра. Завтра она скажетъ — Павликъ, я не могла забыть тебя. И ты мой мужъ. И ты такой добрый, милый. Это завтра, а сейчасъ она только повторяетъ, всхлипывая: — Бросиль, бросиль. У меня будетъ ребенокъ. И я такъ несчастна, Павликъ.

Но плакать долго она не можетъ, слезъ больше нѣтъ. Она вытираетъ сухіе глаза. Какая скупость, скудность, скардность. На все — даже на слезы. Ни щедрости, ни размаха, ни растраты себя. Плакать такъ, чтобы вся вылилась горемъ, болью, кровью, чтобы отъ нея осталась только пустая сморщенная кожа, какъ брошенная старая перчатка. Но нѣтъ, бездарность во всемъ — даже въ слезахъ. Да, бездарность — какъ позорно она играла въ фильмъ, что бы тамъ ни говорилъ Давіэ. Это было горе, любовь, истерика — все, что угодно, только не талантъ. Она бездарна, осторожна, разсудительна. Если бы хоть шалая вѣра въ возвращеніе Тъери раскаивающагося, влюбленнаго. Но даже и этого нѣтъ. Совершенно ясно — Тъери никогда не вернется. О, бездарная ясность головы, не допускающая чудесъ. И эта бездарная практичность — она выписала мужа, она поступила правильно, разумно, — она позвала Павлика.

„Бездарность” громко говорить она и, сжимаетъ челюсти отъ ненависти къ себѣ. Такъ тебѣ и надо. Злая издѣвательская радость трясеть ее. Она отрывисто смѣется. — Смѣхъ, какъ глухой, голодный лай. Она трясется отъ смѣха — Такъ тебѣ и надо, бездарность. Никакой жалости къ себѣ. И къ нему, къ Павлику, который спасетъ ее, тоже нѣтъ ни жалости, ни благодарности. Жалость, благодарность, любовь, восхищеніе, все это только для Тьери. Да, даже благодарность. Несмотря ни на что. И онъ правъ, онъ тысячу разъ правъ. Развѣ можно такую любить? Такую бездарную, оплеванную, отвратительную „жабу”? Она вскакиваетъ съ постели, она подбѣгаетъ къ зеркалу, ища въ немъ подтвержденія своей отвратительности. И останавливается. Тамъ изъ глубины зеркала къ ней бѣжитъ прелестное длинноногое существо, невиннымъ жестомъ запахивая рубашку на груди. Такое до смѣшного романтическое, съ измученными глазами и свѣтлыми локонами, такое, будто нарочно выдуманное, умиленное. Но она не позволяетъ умилить себя. Да, она прелестна. Но она всетаки противна Тьери, какъ жаба. И онъ правъ. Она и себѣ противна. Ей хочется ножомъ изрѣзать, изуродовать свое лицо, чтобы разъ навсегда покончить съ этой прелестью. Эта прелесть не имѣетъ къ ней никакого отношенія, она не имѣетъ на нее права. Эта прелесть обманъ, ложь, какъ обманомъ, ложью было все, — даже та первая слеза въ залѣ Плейель, изъ-за которой началось ея несчастье. Ножомъ изрѣзать, обезобразить, искромсать, чтобы на нее нельзя было смотрѣть безъ отвращенія, чтобы она дѣйствительно для всѣхъ стала противна, какъ жаба. Для всѣхъ, какъ для Тьери.

Найти ножъ. Она подходитъ къ комоду, открываетъ ящикъ, роется въ немъ. Ножницы. Можно и ножницами. Она беретъ ихъ. Какія холодныя! Пальцы вздрагиваютъ и ножницы падаютъ на коверъ.

— Я схожу съума, сознательно и грустно говорить она. Мнѣ нельзя оставаться одной. Ни минуты.— Она звонить.

Входитъ горничная.

— Поднимите это — Люка показываетъ горничной на поблескивающія на коврѣ, ножницы. Взять ихъ снова въ руку она не рѣшается.

— И постойте здѣсь, пожалуйста, пока я одѣнусь. Нѣтъ, помогать не надо, только постойте.

Она одѣта. Она спускается въ холль. — Завтра приѣзжаетъ мой мужъ. Приготовьте ему комнату. Вотъ она подвела фундаментъ подъ ожиданіе. Теперь это уже не надежда, это реальность.

Она идетъ черезъ улицу къ своему автомобилю. Около автомобиля, подъ фонаремъ, стоитъ кто-то и ждетъ. Стоитъ и ждетъ, какъ когда то стоялъ и ждалъ ее Тьери. Нѣтъ, не Тьери, а Арсеній. Она все путаетъ. Но сейчасъ это Тьери. И онъ ждетъ ее, какъ когда-то ждалъ Арсеній. — Тьери,— кричитъ Люка,— Тьери! Человѣкъ подъ фонаремъ поворачивается къ ней и поднимаетъ шляпу.

— Я схожу съума,— объясняетъ ему она.— Но это васъ не касается и она садится въ автомобиль, громко хлопнувъ дверцей.

Она ѣдетъ обѣдать. Да, теперь правильнѣе всего пообѣдать. Тѣмъ болѣе, что она не завтракала еще. И вчера тоже не завтракала и не обѣдала. Или нѣтъ, она опять путаетъ, вчера въ поѣздѣ съ русскимъ путешественникомъ. Но это было не вчера, а недѣлю, двѣ недѣли тому назадъ, безразлично когда.

Важно то, что она ѣдетъ обѣдать въ ресторанный, гдѣ они часто бывали съ Тьери.

Лакей приноситъ рыбу. Она жадно ѣстъ, она глотаетъ, не жуя, ей хочется хватать прямо съ блюда рукой. Въ ней все дрожитъ отъ голода и жадности. Она кладетъ въ ротъ большой кусокъ и вдругъ выплывы-

вааетъ его на тарелку. Она сыта. Сыта до отвращенія. до пресыщенія. Зачѣмъ она заказала еще куропатку и спаржу? Оттого, что это любилъ Тъери. Но вѣдь не Тъери, а ей придется съѣсть или, если не съѣсть, то просидѣть здѣсь, пока будутъ подавать все это.

Она наливаетъ себѣ вина. Пить пріятно. Отвращенія къ вину нѣтъ. Она наливаетъ еще стаканъ. И куда торопиться? До утра, до Павлика слишкомъ много часовъ, слишкомъ много одиночества.

Она поворачиваетъ голову и видитъ человѣка во фракѣ посреди зала. Она не сразу понимаетъ, что значитъ высоко, по-лебединому изогнутая рука и прижатая къ плечу скрипка. Тъери? Нѣтъ, къ Тъери онъ не имѣетъ никакого отношенія. Тогда зачѣмъ же онъ стоитъ, такъ рѣшительно навязываясь ея вниманію? И вдругъ она слышитъ мелодію съ полутона, слышитъ оттого, что видитъ скользящій по струнамъ смычекъ. И вотъ уже цѣлый оркестръ поддерживаетъ скрипку и все кругомъ полно музыки и уже нельзя ее не слышать. Люка закрываетъ глаза, но музыка не замолкаетъ. Напротивъ она вступаетъ въ свои права. Становится совсѣмъ спокойно, совсѣмъ легко. Музыка вытѣсняетъ мысли, вытѣсняетъ горе, занимаетъ ихъ мѣсто, подмѣняетъ ихъ собой. Вотъ такъ сидѣть — ни прошлаго, ни будущаго. Ни даже настоящаго. Только музыка и покой.

Но одинокій, рѣзкій, высокій, чистый звукъ вырывается изъ общей толпы звуковъ и узкій зеленый блестящій листъ бьется, какъ бабочка по вѣтру. И этотъ звукъ и этотъ зеленый листъ — одно и то же. Этотъ звукъ начало, этотъ листъ его продолженіе и вмѣстѣ они то же, что эта дрожь въ сердцѣ. Этотъ листъ. этотъ высокій звукъ. Она поднимаетъ руку, она опрокидываетъ стаканъ. Вино течетъ на скатерть, на платье, на ея колѣни.

Этотъ высокій рѣзкій звукъ, этотъ узкій листъ и эта дрожь. Она узнаеть ихъ. Но когда это было? Когда? Она смотритъ на расплывающееся по скатерти вино. Въ ту ночь. Въ ту послѣднюю счастливую ночь.

Въ ту ночь этотъ листъ и этотъ звукъ означали счастье. Но сейчасъ? Сейчасъ, когда ей такъ плохо, зачѣмъ они ей? И вдругъ она понимаетъ — неужели же я такъ несчастна? Такъ несчастна, какъ была счастлива въ ту послѣднюю ночь? И этотъ листъ, этотъ звукъ не означаютъ счастья, какъ не означаютъ и горя. Они только высшая точка, такое напряженіе души, когда уже безразлично счастье или горе. Предѣлъ волненія и чувствъ. Не все ли равно, какихъ волненій и чувствъ. На такой высотѣ, въ такомъ плавающемъ огнѣ, въ такомъ разрѣженномъ воздухѣ счастье, какъ и горе, освобождается отъ земного тяготѣнія. Горе равно счастью и счастье равно горю. Полетъ надъ жизнью, надъ судьбой. Полетъ изъ этого, виннаго пятна на скатерти, за границы памяти, за границы чувствъ, за границы жизни въ ледяное равнодушіе чистымъ звукомъ, узкимъ зеленымъ листомъ. Тьери? Съ высоты такого равнодушія даже и его не видно, даже о немъ не помнишь. Губы еще повторяють „Тьери“, но это лишено всякаго смысла, это похоже на птичій крикъ, Тьи-тьи, бессмысленный, жалобный крикъ. Тьи-тьи...

Лакей вытираетъ салфеткой скатерть, платье, приноситъ еще вина. Она пьетъ. Въ сущности жизнь совсѣмъ не то, что она думала. Она ошиблась. Она очень ошиблась. Она начнетъ все сначала. Въдь еще не поздно. Ей только двадцать одинъ годъ. Музыка. Она любитъ музыку. Она совсѣмъ не знаетъ музыки. Она будетъ учиться пѣть. У нея хорошій голосъ. Она станетъ пѣвицей. И сколько книгъ надо прочесть, она такая невѣжественная. Она ничего не

знаеть, ничему не училась. Но еще не поздно. Слѣдующій фильмъ она будетъ крутить съ Давіэ. Можетъ быть, она и не совсѣмъ бездарна. Но даже если она бездарна, она всегда найдетъ работу. Оттого что ее уже пустила по кругу опытная рука. Нѣтъ, знаменитости она не хочетъ. Блестящая судьба, какой вздоръ. Павликъ, Тролля. Съ ними она никогда не разстанется. Ребенокъ? Это будетъ ихъ общій съ Павликомъ ребенокъ. Нѣтъ, Павликъ никогда не упрекнетъ ее. Вѣдь Люка для него то же, что Тъери для нея, Люки. Развѣ она посмѣла бы въ чемъ нибудь упрекнуть Тъери? Сына она назоветъ Миша въ честь Тролля. Медвѣди обыкновенно Мишки, это только у Тролля такое глупое имя. Приносятъ мороженное. Она ѣстъ его. Она пьетъ кофе съ коньякомъ.—Я, кажется, пьяна. И насмѣшливо отвѣчаетъ себѣ, по птичьи склонивъ голову на-бокъ — Тьи-тьи, пьяна, Тьи-тьи. Не думать о Тъери. Павликъ, домъ, сынъ. Она полюбитъ сына больше себя. Это будетъ не трудно. Она совсѣмъ разлюбила себя. А Павликъ такой милый, съ нимъ будетъ хорошо.

Она платить, она встаетъ. Полоски ковра скручиваются и убѣгаютъ изъ-подъ ногъ. Она идетъ осторожно къ выходу, стараясь перешагнуть черезъ нихъ, какъ черезъ хворостъ на лѣсной тропинкѣ. Лакей догоняетъ ее у самой двери.— Мадамъ, вы забыли вашихъ лисицъ.— Она поворачиваетъ къ нему голову, она, не понимая, смотритъ ему въ лицо. Лакей вдругъ горбится и отступаетъ и она понимаетъ — это оттого, что онъ увидѣлъ ея глаза. Чтобы даже лакей почувствовалъ, это она не ожидала. Она опускаетъ вѣки. — Спасибо, говоритъ она почти весело и накидываетъ лисицъ себѣ на плечи. И чувствуетъ, какъ вмѣстѣ съ этими лисицами, ей на плечи легло все прежнее отчаяніе, вся прежняя любовь къ Тъери. Любовь, отчаяніе. Нѣтъ, такъ легко отъ нихъ не отдѣлаться, ихъ не за-

быть на стулѣ. Куда теперь? Въ отель рано. Еще только десять. Цѣлыхъ двѣнадцать часовъ до Павлика и сколько километровъ! Она поѣдетъ въ Версаль, она проглотитъ немного пространства, немного времени. Такъ легче ждать. Она не могла бы дожидаться утра безъ автомобиля, прожить всѣ эти часы на одномъ мѣстѣ, безъ движенія. Такъ легче, такъ утро скорѣе наступитъ.

Въ открытое окно влетаетъ ночной вѣтеръ и сухой лунный свѣтъ, засыпающій ей глаза сверкающей пылью. Сквозь черныя вѣтки блеститъ она сама, эта луна. Луна сквозъ вѣтки напоминаетъ дѣтство. Люка смотритъ на луну. Годы, какъ листья съ дерева, шурша, спадаютъ съ нея, три, пять, восемь. Люка смотритъ на круглую, голубую дѣтскую луну съ таинственнымъ радостнымъ предчувствіемъ жизни. Все еще впереди и сколько всего — горя, волненій, радости — лишей, Арсеній. Павликъ, студія, Тьеры и еще много, много, о чемъ даже догадаться нельзя. Жить! Подольше бы только жить. Осторожнѣй, осторожнѣй, Машину занесло на поворотѣ. Я пьяна. Я совсѣмъ пьяна. Но какъ хорошо жить! Какъ хорошо. Дорога блеститъ, деревья чернѣютъ. Луна уже не сбоку. Луна выплыла въ самую середину чернаго неба. Она стоитъ высоко надъ дорогой, она свѣтитъ прямо въ лицо Люкѣ. Люка смотритъ на луну, ей трудно отвести глаза отъ луны.

Дорога вдругъ заворачиваетъ направо. бѣлая, обсаженная цвѣтущими яблонями. Но вѣдь здѣсь не было поворота, не было яблонь. Бѣлая дорога поднимается вверхъ, прямо къ небу, прямо къ лунѣ. Люка круто заворачиваетъ на бѣлую дорогу и автомобиль несется между бѣлыми яблонями, все выше и выше. И вотъ уже Люка стоитъ на мосту и Тьеры бѣжитъ ей навстрѣчу. — Это Венеція Люка.

Неужели ты не узнаешь? — Они ~~с~~ходят на мосту, крѣпко обнявшись.

Нѣтъ, она не узнала бы. Такъ вотъ она какая Венеція.

Въ облакахъ, подъ чернымъ горбатымъ мостомъ, проплываетъ голубая венеціанская луна. И еще ниже гдѣ-то, совсѣмъ далеко, въ дѣтской Люки, между рядами игрушечныхъ деревьевъ, сверкая желтыми, круглыми фонарями, катится бѣлый игрушечный автомобиль. Очень прямо, очень быстро. Но вотъ онъ сворачиваетъ, налетаетъ на дерево и останавливается. И въ окно автомобиля, какъ птица изъ клѣтки, вылетаетъ свѣтловолосая голова куклы и ударяется о стволъ.

Но Люкѣ некогда смотрѣть на то, что происходитъ тамъ внизу, въ ея дѣтской, съ ея игрушками. Она вспоминаетъ, что она стоитъ съ Тьери на новомъ мосту, что надо пожелать и желаніе исполнится. Пожелать здѣсь, на новомъ мосту, въ Венеціи. Она смотритъ въ освѣщенные снизу луной глаза Тьери и громко говорить. — Никогда не разставаться. Вѣчно быть съ тобой, Тьери.

Такъ волшебнo, поэтично, неправдоподобно. Все — и горы бѣлыхъ лилій и бѣлый гробъ, освѣщенный солнцемъ, и свѣчи, и слезы, и горе, какъ вѣтеръ кло-нящее головы провожающихъ. Будто сцена изъ филь-ма, а не настоящія похороны.

И во всей этой неправдоподобности правдоподобна, реальна только мертвая Люка. Мертвая Люка въ гробу. Кровоподтекъ на лбу покрытъ тюлемъ, какъ фатой. Длинное бѣлое платье. Она не похожа на невѣсту. Нѣтъ, скорѣй на дѣвочку въ день пер-ваго причастія, на одну изъ тѣхъ дѣвочекъ въ фатѣ и съ цвѣтами, которыми сейчасъ полны улицы Парижа.

Мертвое лицо Люки. Не дѣвическое, даже не дѣт-ское, кукольное лицо. Когда кукла еще въ работѣ и ей еще не придали никакого выраженія. Рѣшительно никакого. Отсутствіе всякаго выраженія, невозмож-ное пока человѣкъ живъ. Но Люка мертва и это сра-зу видно. Она не кажется спящей, она мертва. Смерть не придала ея лицу ни мраморной прекрасности, ни гордаго покоя. Смерть не дала ему ни того знамени-таго упрека: „Ахъ, что вы со мной сдѣлали?“, ни про-свѣтленной кротости, ни строгости, ни святости. Нѣтъ, смерть ничего не давъ ему, сразу, не дожидаясь тлѣ-нія, покончила съ этимъ лицомъ, уничтожила, стерла его. Эта бѣлая дѣвочка-кукла совсѣмъ не похожа на живую Люку. Какъ будто Люка состояла только изъ оживленія, прелести и движенія. Она даже не краси-ва эта кукла. Это не Люка, это трупъ Люки. Отвра-

тительное слово „трупъ” совершенно точно опредѣляетъ это мертвое лицо, это мертвое тѣло.

Люка мертва навсегда, нельзя себѣ представить, что эти мертвые вѣки могутъ открыться. Эти мертвые губы вздохнуть и даже чудо воскресенія обѣщанное всѣмъ, кажется здѣсь невозможнымъ. Мертва навсегда. Но страсть, которая еще такъ недавно жила въ Люкѣ не успѣла еще улетѣть, найти себѣ новое мѣсто въ мірѣ, она еще тутъ, она сіяніемъ свѣчей, запахомъ лилій, церковнымъ пѣніемъ, входитъ въ кровь провожающихъ, заставляя ихъ такъ страстно плакать. Такъ страстно, будто сама Люка оплакиваетъ себя ихъ слезами. Мертвое лицо Люки, лицо куклы. Но если взглянуть, — отъ него, сквозь свѣчи, пѣніе и цвѣты, какъ сквознякъ, какъ струйка ладана тянетъ еле уловимымъ страхомъ. И всѣ сквозь горе и слезы смутно чувствуютъ этотъ страхъ. Да, чуть-чуть страшно. Чуть-чуть страшно всѣмъ — и Герэну и статистамъ и Лорансъ и даже Павлу Дэль.

Тьерри стоитъ далеко отъ гроба у самага входа въ свадебно-похоронномъ официальномъ рединготѣ, съ свадебно-похороннымъ официальнымъ выраженіемъ лица. Онъ одинъ во всей церкви кажется равнодушнымъ. Но и ему страшно.

И вотъ уже надо идти прощаться. Нѣтъ, ему страшно. Онъ не пойдетъ. И вотъ уже гробъ выносить изъ церкви.

Лорансъ стоитъ на паперти сгорбленная отъ горя рядомъ со старухой нищенкой, сама, какъ старуха нищенка. „Это навѣрно подруга Люки”, думаетъ Павелъ Дэль. Она плачетъ, она всхлипываетъ, затыкая ротъ платкомъ. Павелъ Дэль подходитъ къ ней ближе. Она роняетъ платокъ, будто нарочно, чтобы дать ему возможность заговорить съ ней. Онъ поднимаетъ платокъ. Но она плачетъ, она не замѣчаетъ его.

— Простите... Ему непременно надо поговорить

съ ней. Она навѣрно знаетъ, она подруга Люки. Она поворачиваетъ къ нему плачущіе, отсутствующіе глаза. — Вы уронили,— онъ протягиваетъ ей платокъ. Но она не беретъ платка. Платокъ не доходитъ до ея сознанія.— Спасибо, всетаки говоритъ она и отворачивается. Но онъ не можетъ оставить ее въ покоѣ — Вы очень любили Люку? Она хочетъ отвѣтить, но только всхлипываетъ. — Вы были ея подругой? Она трясетъ головой, слезы текутъ по ея щекамъ. — Она была моею женою, объясняетъ онъ свою настойчивость и я хотѣлъ бы у васъ... Но она прерываетъ его — Вашей женою? Она протягиваетъ ему руку, она крѣпко жметъ его руку своею маленькой рукой. — Какой вы несчастный, Господи, какой несчастный. Все человѣческое сочувствіе, вся готовность раздѣлить его горе смотреть на него изъ ея глазъ. Ей хочется обнять его, утѣшить, прижаться лицомъ къ его черному пальто. — О, какой вы несчастный... Она находитъ въ толпѣ своего отца, подзываетъ его, знакомитъ ихъ — Подумай только — ея мужъ.

— Поѣдте съ нами на кладбище, проситъ Лорансъ и Павелъ Дэль соглашается.

Катафалкъ и повозка съ цвѣтами медленно трогаются.

Павелъ Дэль садится въ автомобиль Герэна. На минуту онъ забываетъ, куда и зачѣмъ ѣдетъ. Возможность разспросить Лорансъ о живой Люкѣ становится важнѣе послѣднихъ проводовъ мертвой Люки.

— Вы были дружны? спрашиваетъ онъ. Лорансъ качаетъ головой.— О, нѣтъ. Она только восхищалась Людмилой Дэль. Какъ всѣ, кто ее хоть разъ видѣлъ. Я даже не была съ ней знакома. Но мой отецъ хорошо зналъ ее. Герэнъ киваетъ — Да, онъ хорошо зналъ ее. Да, онъ тоже восхищался ею. — Она говорила мнѣ о васъ, вспоминаетъ Павелъ Дэль. Но отчего?... Губы его дрожать, онъ не можетъ кончить

фразы. Но Герэнь и такъ понимаетъ. О чемъ можетъ спрашивать этотъ несчастный, какъ не о смерти Люки?

Безразсудная смѣлость, вѣра въ удачу. И она всегда неосторожно правила. И она была переутомлена. Только что кончила картину, накануне вернулась изъ Венеціи.

Все это Павелъ Дэль зналъ по газетамъ, по разсказамъ. Не это ему нужно.

— Вы знаете, она вызвала меня телеграммой въ день... онъ останавливается. Я пріѣхалъ утромъ, она была уже... онъ снова останавливается. — „Пріѣзжай немедленно“. Больше ничего. Я не могу найти объясненія, почему именно въ тотъ день... Но Лорансъ сейчасъ же находитъ объясненіе. Вѣдь это совсѣмъ понятно. Она кончила фильмъ, она вернулась изъ Венеціи. Оттого она и позвала васъ, говорить Лорансъ логично, ясно, неоспоримо.

Да, объясненіе найдено. Ложь, какъ молнія прорѣзаетъ мракъ правды. И правда блѣднѣетъ, таетъ, исчезаетъ. Ложь, какъ молнія, нѣтъ, какъ солнце утѣшительно сіяетъ въ пустомъ небѣ. И Герэнь не спорить. Значить это дѣйствительно было такъ. Павелъ всетаки спрашиваетъ: Развѣ она была одна? Развѣ никакой любви? Заплаканныя рѣсницы Лорансъ тяжело взлетаютъ. Это не мужъ Людмилы Дэль. Это врагъ. Какъ онъ смѣетъ? Людмила Дэль жила совсѣмъ одна. Ничего кромѣ работы, карьеры. У Лорансъ отъ возмущенія не хватаетъ голоса, она поворачивается къ отцу — Расскажи ему. И Герэнь разсказываетъ — то, что ждетъ отъ него Лорансъ. Онъ самъ говорилъ ей, что слухи о связи Люки съ Ривуаромъ только клевета и зависть, онъ самъ создалъ аскетически-героическій обликъ Люки, которымъ такъ плѣнилась Лорансъ. Теперь поздно его разрушать. И зачѣмъ еще больше огорчать этого блѣднаго, обманутаго вдовца? Такъ благороднѣе, человѣчнѣе, лучше.

Передъ памятью Люки, передъ Лорансъ, даже передъ собой. Чистота Люки возстановлена. — Конечно, она позвала васъ оттого, что кончила работу. — Она въ телеграммѣ просила привезти плюшеваго медвѣдя. Она была еще совсѣмъ... но договорить Павелъ не можетъ, онъ плачетъ. И Герэнь тоже вытираетъ глаза — Совсѣмъ дѣвочка. Плюшеваго медвѣдя.

Гробъ Люки опустили въ могилу. Тьери вслѣдъ за другими бросаетъ горсть земли на крышку гроба. Рѣзкій звукъ, какъ ударъ — будто онъ ударилъ мертвую Люку. Онъ поворачивается. Теперь все. Теперь можно идти. Онъ молча проходитъ сквозь толпу. Нѣтъ, онъ не виноватъ. Это несчастный случай. Но лучше всетаки уйти отсюда поскорѣе.

На боковой аллеѣ стоитъ Тереза. Въ черномъ, подъ черной вуалю. Онъ хочетъ пройти мимо нея, но она беретъ его подъ руку.

— Оставь, говоритъ онъ коротко и отнимаетъ руку — я просилъ тебя не являться. И эти вдовы крѣпы смѣшны.

Она мелодраматично спрашиваетъ — Тьери, она простить насъ? „Насъ”, объединяющее ихъ какъ сообщниковъ преступленія. Но онъ не чувствуетъ себя преступникомъ. Пусть только Тереза оставитъ его въ покоѣ.

— Никто не виноватъ. Несчастный случай. Черные глаза подъ черной вуалю суживаются. — А ты увѣренъ, что несчастный случай? Что не она сама? — Вздоръ. Онъ ускоряетъ шагъ. Она почти бѣжитъ за нимъ. — Ты довезешь меня, Тьери?

— Нѣтъ, говоритъ онъ, не поворачивая головы.

Она останавливается. Она пріѣхала сюда изъ чувства вины передъ этой прелестной, несчастной дѣвочкой, и еще изъ тайной гордости побѣды. Ей, Терезѣ, сорокъ лѣтъ, а Люкѣ было только двадцать. Но по-

бѣдила Тереза. И окончательно. Навсегда. Бѣдная, прелестная дѣвочка, она привезла ей цвѣты. Но она не успѣла даже положить ихъ на могилу Люки. Она бросаетъ цвѣты на первую встрѣчную могилу. Она прижимаетъ платокъ къ глазамъ — ничего нѣтъ удивительнаго, что она плачетъ на кладбищѣ. Они только утромъ вернулись изъ Швейцаріи. Тьерри былъ веселъ, никакихъ предчувствій. Они не читали газетъ въ пути. Они узнали сейчасъ же. Еще въ прихожей. Отъ лакея. Тьерри сказалъ только — Тебѣ лучше поѣхать къ себѣ изъ-за репортеровъ. Они уже приходили сюда. Это было правильно и она, не споря уѣхала домой. Нѣтъ, Тьерри не казался огорченнымъ. Даже меньше, чѣмъ она.

День прошелъ. Похороны заняли въ немъ не много мѣста.

Тьерри лежитъ на своемъ широкомъ диванѣ. Онъ думаетъ о фильмѣ. Онъ знаетъ, что фильмъ провалится, не можетъ не провалиться. А что потомъ? Раззореніе, крахъ. Все до послѣдняго галстука, до послѣдняго франка, до этой аллегорической послѣдней нитки, которой сшито благополучіе, дернувъ за которую все сразу расплзется по швамъ. Еще двѣ недѣли до появленія фильма — отсрочка. Двѣ недѣли на все — про все. Потомъ опять какъ семь лѣтъ назадъ. Она принесла ему несчастье. Да, онъ зналъ, онъ даже ждалъ несчастье. Иначе и быть не могло. Ея смерть окончательно прикончила все. Проваль, крахъ, раззореніе, ничего другого ждать нельзя, ничего другого не будетъ.

Онъ просыпается ночью. Что ему снилось? Онъ смотритъ на низкую лампу на столѣ, стараясь вспомнить. Ахъ, да. О ней. Нѣтъ, не она снилась, онъ просто думалъ о ней во снѣ — во снѣ онъ не могъ заставить себя не думать ней. И во снѣ онъ вспомнилъ.

Они въ ту ночь, передъ самымъ разрывомъ, вернулись поздно, было очень холодно. Она дрожала, лежа въ постели. Она никогда ни о чемъ не просила, но тутъ попросила чашку чая. И онъ сказалъ, что не умѣеть. Онъ легъ и въ тишинѣ, въ темнотѣ чувствовалъ, какъ она дрожала отъ холода. Она лежала около самой стѣны. Ей навѣрно было бы теплѣе, если бы она прижалась къ нему. Но она не смѣла. Чашку чая,— это пожалуй, единственное, что она попросила за все время. Почему онъ отказалъ ей? Онъ встаетъ. Онъ идетъ на кухню. Онъ ищетъ спички, зажигаетъ газъ. Развѣ это такъ трудно? Вода кипитъ. Онъ завариваетъ чай. Онъ нарочно проливаетъ кипящую воду на руку. Даже если бы онъ тогда обварился, развѣ ужъ это такъ больно и нельзя было вытерпѣть? Онъ кладетъ въ чашку полтора куска сахару, она всегда отламывала и оставляла кусочекъ на блюдечкѣ, несетъ чай въ спальню, ставитъ его на столикъ, возлѣ дивана. Вотъ и все. Больше она ни о чемъ не просила. Почему онъ отказалъ ей? Онъ, можетъ быть даже не обжегъ бы тогда руку, какъ сейчасъ. Но и ожогъ почти совсѣмъ не болитъ. А она дрожала отъ холода и окно было открыто. Онъ ложится. Онъ тушитъ свѣтъ. Онъ засыпаетъ снова.

Люку похоронили и Павелъ Дэль остался на свѣтѣ одинъ. Смутная надежда, которую, какъ милостыню, подала ему Люка при ихъ единственномъ свиданіи въ кафэ, куда она приѣзжала взволнованная, виноватая, счастливая. „Не умирай, Павликъ, пожалуйста. Ты еще можешь мнѣ понадобится“, надежда „еще понадобится Люкѣ, дававшая ему силу жить, теперь исчезла вмѣстѣ съ Люкой. Теперь его жизнь не была основана ни на смыслѣ, ни на надеждѣ, ни на необходимости. Ни даже на привычкѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ Люка ушла отъ него, каждый день, каждый часъ пре-

вратился въ страданіе. Всегда новое страданіе, по новому терзавшее его,— любовью, ревностью, обидой. даже жаждой мести, страданіе, къ которому нельзя было привыкнуть. Надежда еще пригодится Люкѣ. Онъ мечталъ о ней подъ шумъ машинъ на заводѣ. Хоръ рычаговъ и колесъ, какъ хоръ греческой трагедіи, пѣлъ о рокѣ, о судьбѣ, поддерживалъ вѣру въ неизбѣжность встрѣчи, утѣшалъ, обѣщалъ. И Павелъ ждалъ. Вечеромъ, сидя одинъ въ своей ліонской комнатѣ — онъ перевелся въ Ліонъ, не было никакой возможности выжить въ Парижѣ — сидя подъ лампой безъ газеты, безъ книги, передъ молчащимъ радіо-аппаратомъ, онъ прислушивался къ шагамъ прохожихъ. Ему казалось, что онъ сейчасъ услышитъ шаги Люки, что она уже взбѣгаетъ по лѣстницѣ, что сейчасъ откроется дверь, войдетъ она, войдетъ, станетъ на порогѣ и скажетъ: — Павликъ, ты нуженъ мнѣ. И хотя она была въ Парижѣ и пріѣздъ ея былъ совершенно невозможенъ, онъ каждый вечеръ ждалъ ее.

Но теперь она умерла. И жить, ждать, надѣяться уже было нельзя. И всетаки послѣ похоронъ онъ еще вернулся домой, онъ даже будто устраиваясь уютнѣе въ еще долгой жизни, снова сталъ хлопотать о переѣздѣ въ Парижъ, чтобы напоследокъ посидѣть на могилѣ Люки, чтобы проще было хоронить его на одномъ кладбищѣ съ Люкой. Онъ не спѣшилъ. Торопиться теперь было некуда. Было даже еще что-то, что удерживало его на землѣ, чего онъ ждалъ, чего онъ непременно хотѣлъ дожидаться, безъ чего онъ не хотѣлъ уходить — Фильмъ Люки. Увидѣть ее еще разъ. Попрощаться съ ней. Нѣтъ, ожиданіе еще не совсѣмъ кончилось. А пока можно ждать — можно жить.

Май проходилъ дождливый и холодный, полный тумана и въ концѣ его, прячась въ самомъ туманномъ углу, ждалъ день перваго представленія фильма. И вотъ онъ насталъ этотъ холодный, дождливый день.

Павель Дэль входитъ въ кинематографъ, билетерша провожаетъ его на мѣсто. Онъ видитъ издали Лорансъ Герэнъ. Она тоже въ черномъ, будто и она носить трауръ по Люкѣ. Она киваетъ ему, дѣлаетъ знакъ рукой въ черной перчаткѣ, чтобы онъ пришелъ въ ея ложу. Нѣтъ, онъ не можетъ. Онъ долженъ смотрѣть на Люку одинъ. Свѣтъ гаснетъ. Но это еще не Люка — это экспедиція къ полюсу. Сіяющія прозрачныя льды... Ему кажется, что это не льды, а материализовавшееся, нашедшее свою форму страданіе. Уже отработанное, уже отслужившее страданіе, откричавшее, оплакавшее и теперь сіяющее холодомъ и чистой. Но зачѣмъ? Кому оно нужно? Онъ такъ долго ждалъ, онъ не можетъ больше ждать. Онъ встаетъ, онъ готовъ уйти. Онъ наступаетъ на ногу сосѣду, онъ снова садится въ кресло, закуриваетъ папиросу. И вотъ наконецъ названіе фильма. Безконечныя имена и среди нихъ Людмила Дэль. Имя Люки настоящее, паспортное, безъ прикрасъ, имя, которымъ ее при немъ никто никогда не называлъ. Она, какъ обѣщала ему, сохранила его фамилію — Дэль. И это радуетъ его, какъ подтвержденіе, что связь между ними не разорвана даже смертью.

Онъ смотритъ на экранъ. Гдѣ же она? Ея нѣтъ. Какая-то брюнетка, какой-то молодой человекъ. Отъ волненія онъ не понимаетъ о чемъ они говорятъ. И какое ему дѣло до всего, что не Люка. Ея нѣтъ, ея все еще нѣтъ. Магазины, садъ, какая-то зала и столько разныхъ лицъ и голосовъ. Но Люки нѣтъ, ни ея лица, ни ея голоса. Онъ больше не можетъ ждать. Это обманъ, ея вовсе нѣтъ въ фильмѣ, это ложь, онъ уйдетъ, онъ не позволитъ издѣваться надъ собой. Его нарочно заманили сюда именемъ Люки. Онъ не знаетъ зачѣмъ, для чего, но ясно, что это обманъ. Отъ волненія онъ на минуту закрываетъ глаза. И вдругъ трескъ, грохотъ, крики. И уже нельзя не смотрѣть.

не видѣть того, что происходитъ на экранѣ. Горящій аэропланъ падаетъ съ неба огненнымъ столбомъ и вотъ уже, грудой дымящихся щепокъ, лежитъ на землѣ. Но Люки нѣтъ. Люки все еще нѣтъ. Только какіе то плачущіе люди и обгорѣлыя мертвыя тѣла. На полотнѣ теперь небо, луна и туманныя облака, онѣ ясно видны. И ясно виденъ бѣлый ангелъ, бѣгущій по облакамъ. Онъ приближается, онъ останавливается, онъ растеть. Это не ангелъ, это Люка. За ея плечами крылья. Она протягиваетъ руки, она смотритъ прямо на Павла свѣтлыми мертвыми, пустыми глазами, ея губы шевелятся, она открываетъ ротъ — загробный глухой нѣжный голосъ несется по залу. Это она, Люка. Мертвая Люка. Это она мертвая пришла попроситься съ нимъ. Онъ хочетъ броситься къ ней, схватить ее за руку, удержать. Онъ вскакиваетъ, толкаетъ сосѣдей. Загробный голосъ Люки зоветъ его.

Въ залѣ зажигаютъ свѣтъ. Кто это кричитъ такимъ звѣринымъ затравленнымъ крикомъ? Отчего его голова, какъ мячъ ударяется объ полъ и подскакиваетъ?

Сквозь звѣриный крикъ, другіе человѣческіе крики. — Доктора! Неужели нѣтъ ни одного доктора? Надъ нимъ наклоняются, по частямъ поднимаютъ его, его руки, его ноги и уносятъ все куда-то. Только голова осталась рядомъ со шляпой и продолжаетъ прыгать и кататься по полу. Но вотъ и ее уносятъ. И все вмѣстѣ — ноги, руки, шляпу, голову — все, что составляетъ его, Павла Дэля — кладутъ на диванъ. И все это — шляпу, руки, голову, ноги, всего его. Павла Дэля покрываютъ, какъ тяжелымъ ватнымъ одѣяломъ тишиной и темнотой.

Наконецъ человѣка, бившагося на полу унесли. Его несли черезъ всю залу и онъ все еще продолжалъ кричать, онъ все еще дергался и отъ этого казалось,

что онъ борется, что онъ вырывается, что его тащутъ на казнь. Его уже унесли, но крикъ еще доносится черезъ двери. Но вотъ снова тушатъ свѣтъ. Наступаетъ тишина. Сеансъ продолжается. Тъери сидитъ одинъ въ ложѣ. Онъ, когда раздался крикъ не вскочилъ, не побѣжалъ вмѣстѣ съ другими, никого ни о чемъ не спросилъ. Этотъ крикъ даже не явился для него неожиданнымъ. Онъ ждалъ скандала, онъ только не зналъ какой это будетъ скандалъ. Но что-то должно было случиться, что-то обезпечивающее полный, неоспоримый провалъ. Послѣ крика этого эпилептика почти невозможно смотрѣть, почти невозможно слушать фильмъ. Крикъ живого звѣринаго страданія, крикъ горя, крикъ смерти все еще стоитъ въ воздухѣ. И оттого что онъ такой безобразно настоящий, всѣ голоса, всѣ слова, все происходящее на экранѣ кажется балаганомъ.

Нѣтъ, Тъери всетаки не думалъ, что это такъ оскорбительно, такъ глупо. И какъ фальшиво всѣ играютъ. Даже Люка. Конечно, у нея не было таланта, но все-таки, чтобы такъ бездарно — провалъ, провалъ, провалъ. Онъ смотритъ на экранъ, кривя губы отъ злорадства, будто это провалъ конкурента, будто не онъ вложилъ столько времени, столько страсти, всѣ свои деньги, все свое будущее въ это безславно крахнувшее дѣло. Этотъ вздоръ казался ему передовымъ, современнымъ. Этотъ вздоръ, этотъ балаганъ — новымъ словомъ? Какое идиотство. Трудно досмотрѣть, досидѣть до конца... Венеція. Сцены, которыя они крутили безъ него. Люка въ бѣломъ платьѣ въ гоцдолѣ, блѣдная, почти призрачная, почти прозрачная, такая, что странно почему сквозь нее не просвѣчиваютъ каналы, дворцы и гондолы. И вотъ она въ театрѣ, на сценѣ съ огромнымъ вѣромъ изъ черныхъ перьевъ, какъ щитъ загораживающимъ ее, такую слабую отъ слишкомъ бурныхъ восторговъ зрителей, го-

товыхъ кажется, унести, смести ее со сцены. Она поетъ. Сквозь злорадство, сквозь ненависть, сквозь презрѣніе ко всему, что дѣлается тамъ, на экранѣ, Тьерри вдругъ чувствуетъ слабый уколъ. Какъ хорошо поетъ Люка, какъ безнадежно. Букетъ розъ падаетъ къ ея ногамъ и это вполнѣ справедливо, заслужено. Первое не фальшивое мѣсто въ фильмѣ — цвѣты послѣ такого пѣнія.

И опять Люка. Она ждетъ любовника въ залѣ у окна и въ окно видна Венеція. На Люкѣ широкое вечернее платье. Свѣтлые локоны спускаются на ея голыя плечи. Она ждетъ, она волнуется. У нея дѣйствительно измученное ожиданіемъ и любовью лицо. Она ломаетъ руки и даже этотъ театрално-фальшивый жестъ кажется необходимымъ. — Жакъ, зоветъ она такимъ голосомъ, что если этотъ Жакъ только услышитъ ея голосъ, онъ не сможетъ не придти. И онъ слышитъ, — онъ входитъ. Разрывъ. Да, это разрывъ. Люка плачетъ. Она дѣйствительно плачетъ. Это настоящія, не глицериновыя слезы. Она плачетъ, всхлипывая по дѣтски, такъ что трудно разобрать ея слова. Плачетъ, какъ плакала при немъ, Тьерри. Она бросается на диванъ, ея широкое платье разлетается, она кидаетъ подушки на полъ. Она плачетъ все сильнѣй, все беспомощнѣй. Слова, слова... Не все ли равно что она говоритъ? Она снимаетъ съ шеи брильянтовую цѣпь и возвращаетъ ему. Безъ этого брильянтоваго блеска она становится еще воздушнѣе, будто брильянтовая цѣпь привязывала ее къ землѣ и теперь уже ее ничего не удерживаетъ. Она протягиваетъ ему брильянтовую цѣпь такимъ умоляющимъ жестомъ, будто эта цѣпь можетъ связать ихъ. Но онъ, ея любовникъ, не беретъ цѣпи. Она цѣлуетъ его съ мучительно-мученической нѣжностью и онъ уходитъ. Тьерри чувствуетъ, что ему трудно дышать отъ жалости. Такая прелестная, такая обреченная на гибель.

Нѣтъ, это не Люка, не та Люка, которая такъ же вотъ плакала передъ нимъ, такъ же, съ такимъ же лицомъ просила его. Нѣтъ онъ не помнитъ о Люкѣ, онъ забылъ Люку. Но судьба женщины на экранѣ, хотя онъ знаетъ каждое ея слово, каждое ея движеніе, хотя онъ десятки разъ просматривалъ, прослушивалъ ихъ, волнуешь его.

Теперь она сидитъ на постели въ наглухо застегнутой длинной ночной рубашкѣ. Она читаетъ какую то книгу. Ея наклоненное лицо совершенно ясно, совершенно спокойно и это непонятно — вѣдь онъ, ея любовникъ бросилъ ее.

По комнатѣ ходитъ сестра милосердія. На столѣ у постели бутылки лекарствъ. Люка читаетъ. Она поворачиваетъ страницу книги, она поднимаетъ голову и смотритъ прямо передъ собой на зрителей, на Тьери. Ея глаза какъ два пятна горя на спокойномъ, молодомъ лицѣ. Сестра милосердія поправляетъ подушку. И вдругъ Люка захлопываетъ книгу, руки быстро пробѣгаютъ по простынѣ, плечи двигаются, голова поворачивается то влѣво, то вправо, наклоняется, прислушиваясь къ чему-то и лицо мѣняется,— тяжелое безпокойство затемняетъ его ясность. Она откидываетъ одѣяло, она встаетъ такая тонкая, высокая, въ длинной рубашкѣ. Она поднимаетъ локти, она даже немного подпрыгиваетъ, какъ птица, готовая сняться съ мѣста и полетѣть. И только тогда за дверью раздаются шаги и входитъ онъ, ея любовникъ. Онъ протягиваетъ къ ней руки, онъ что-то говоритъ. Но она уже падаетъ всей тяжестью, будто ее толкнули въ спину и онъ, подбѣжавъ, успѣваетъ подхватить ее. Они стоятъ обнявшись, ея лицо спрятано на его плечѣ. Она произноситъ только одно слово — Навсегда.

Тьери встаетъ. Онъ больше не можетъ оставаться здѣсь. Сейчасъ конецъ. Пожимать руки, принимать

поздравленія, звучащія, какъ соболѣзнованія. Проваль и никто не можетъ сомнѣваться въ этомъ. И эти послѣднія сцены ничего не спасли. Онѣ скорѣе еще увеличили ощущеніе провала тѣмъ, что совершенно выпадаютъ, тѣмъ, что еще сильнѣе подчеркиваютъ всю балаганность, отсутствіе ритма и цѣльности. Фильмъ отъ нихъ сталъ только еще отвратительнѣе, оскорбительнѣе. Проваль. Онѣ, Тьери, теперь конченный человѣкъ и всѣ знаютъ, что онѣ конченный человѣкъ.

Тьери возвращается домой. Онѣ отпускаетъ лакея — Завтра вы мнѣ тоже не нужны. Онѣ закрываетъ окно, задергиваетъ шторы, чтобы все было спокойно, тихо, мертво, чтобы воздухъ не врывается сюда изъ враждебнаго міра, чтобы воздухъ сталъ неподвижнымъ, чтобы въ немъ уплотнилось отчаяніе. Потому, что это дѣйствительно отчаяніе. Тьери ложится, закуриваетъ папиросу. О чемъ думать? Думать не о чемъ. И развѣ онѣ не ждалъ этого? Начинать сначала „борьбу за существованіе“? Но ему не такъ уже хочется существовать, чтобы снова пускаться въ борьбу. Онѣ лежитъ на спинѣ, онѣ смотритъ на бѣлый блестящій потолокъ. Если бы можно было просто уснуть. Но стрѣляться, вѣшаться, отравляться — на это у него нѣтъ силъ. Онѣ, такой энергичный... Но энергія вся съѣдена до послѣдней крошки, а взять новой неоткуда, какъ неоткуда взять денегъ, успѣха, надежды. Онѣ тушитъ папиросу о стѣну, бросаетъ ее на коверъ. Онѣ, такой аккуратный... Но аккуратность исчезла вмѣстѣ со всѣмъ остальнымъ, съ энергіей, съ успѣхомъ. Она, какъ и все остальное, была только выдумкой, только ложнымъ представленіемъ о самомъ себѣ — я энергичный, работоспособный, я всего добьюсь, мнѣ все удастся.

И вотъ онѣ лежитъ въ накуренной комнатѣ съ окурками, разсыпанными по ковра, съ зажженной лам-

пой, хотя ночь уже прошла, хотя уже день, и телефонъ уже нѣсколько разъ безсмысленно надрывался въ кабинетѣ. За ночь ничего не измѣнилось. И что вообще можетъ измѣниться теперь? У него болитъ голова. онъ перекурилъ, но курить всетаки занятіе. Доставать изъ портсигара папиросу, щелкать зажигалкой, стараться пустить дымъ кольцомъ.

— Это не былъ несчастный случай, это было самоубійство. Въ буромъ отъ табачнаго дыма, воздухъ голось Тьеры звучить хрипло и сразу становится ясно, что это о Люкѣ, о ней, а не о себѣ онъ думаль всю ночь „Это было самоубійство. Да это было самоубійство” — Онъ это поняль вчера, глядя на экранъ. Какъ она просила, какъ пѣла, какъ плакала. Въ Венеціи Давіэ кричалъ о талантѣ и всѣ вмѣстѣ съ нимъ. Талантъ? У нея не было никакого таланта. Это было горе, это было отчаяніе, а не талантъ. Она играла самое себя, она плакала о себѣ, она уже знала, что умереть если... Тогда еще оставалось „если” — если, какъ въ фильмѣ, онъ не вернется къ ней. Нѣтъ, это не была игра, это была ея жизнь. Оттого, когда любовникъ вернулся къ ней и она такъ потрясающе упала, она не подняла, не показала своего лица. Лицо должно было быть счастливымъ, но изобразить счастье она уже не могла. „Навсегда” — сдавленнымъ тихимъ голосомъ, спрятавъ лицо, спрятавъ горе. Да, онъ поняль тогда, что она нарочно налетѣла на дерево. Она была горда, она не хотѣла, чтобы догадались. Она нарочно телеграфировала мужу, чтобы и подозрѣнія не было. И никто дѣйствительно не узналь. Несчастный случай. Тьеры бросаетъ папиросу. Онъ больше не можетъ лежать. Онъ зналь, что она принесетъ ему несчастье. И себѣ тоже. Но объ этомъ теперь не стоитъ думать. Онъ встаетъ, онъ смотритъ на часы, — пять часовъ. Уже пять часовъ дня, а онъ еще ничего не ѣль. Онъ стоитъ босой на коврѣ, покрытомъ

окурками, онъ надѣваетъ пиджакъ поверхъ измятой пиджамы, хотя рядомъ лежитъ, приготовленный лакеемъ халатъ. Но халатъ такой шелковый, богатый, — его одѣтъ было бы мучительно. Тъери поднимаетъ воротникъ пиджака и, переступая черезъ лакированные утреннія туфли, босикомъ подходитъ къ зеркалу и почти съ удовольствіемъ смотритъ на себя. Да, это почти то, что надо. Небритое, опухшее, сѣрое лицо, растрепанные волосы, поднятый воротникъ пиджака. И, главное, эти безцвѣтные, тусклые, трусливые глаза. Это онъ, Тъери.

Онъ выходитъ въ кабинетъ, на свѣтъ, на солнце. Чистота и отвратительная красивость кабинета неприятно дѣйствуютъ на него. Въ кухнѣ лучше. Онъ открываетъ буфетъ, ему хочется ѣсть. Онъ находитъ колбасу, варенье и масло. Хлѣба нѣтъ. Онъ жадно съѣдаетъ все, что нашель, стоя тутъ же, передъ буфетомъ. Вкусъ? По всей вѣроятности вкусъ у всего этого былъ, но онъ не почувствовалъ его. Теперь вытирая руки о пиджакъ ему кажется, что вкусъ былъ отвратительный. Онъ выпиваетъ стаканъ воды изъ-подъ крана, онъ возвращается къ себѣ, закрываетъ дверь въ кабинетъ. Лампа, горящая въ табачномъ дыму, простыня, свисающая съ дивана, окурки, разбросанное платье... Онъ просидитъ до завтра, такъ, безъ книги, безъ газетъ, безъ мыслей.

Завтра. Завтра видно будетъ, какъ покончить со всѣмъ этимъ и съ собой. Только не какъ она. У него не хватитъ смѣлости. Онъ трусь. А раньше онъ не зналъ, не догадывался, что онъ трусь. Раньше онъ о многомъ не догадывался. Но газъ открыть — на это у него должно хватить смѣлости. Вѣдь совсѣмъ не больно, уснешь. Если бы онъ не встрѣтилъ ее тогда у Плейеля, если бы онъ не увидѣлъ, какъ она плакала, она не играла бы въ его фильмѣ. И онъ могъ бы остаться жить. Если бы она не принесла ему несча-

стья. Опять звонокъ. На этотъ разъ у входной двери. Пусть звонятъ, онъ не откроетъ. Какъ настойчиво, какъ упорно, длительнымъ, пугающимъ звономъ... Такъ звонить полиція у дверей преступника, Сейчасъ начнутъ стучать, выломаютъ дверь. Ему дѣйствительно страшно — но что страшнаго можетъ теперь случиться? Сейчасъ начнутъ стучать, выломаютъ дверь. И въ эту минуту изъ прихожей, дѣйствительно, слышится стукъ. Тьері встаетъ. Нѣтъ, онъ не откроетъ. Но онъ идетъ на носкахъ въ прихожую и, будто его могутъ увидѣть черезъ дверь, прижавшись къ стѣнѣ слушаетъ стукъ. Кто? Зачѣмъ? И вдругъ онъ понимаетъ — пожаръ. Должно быть горитъ домъ — иначе кто бы посмѣлъ такъ стучать? И уже понимая, что какъ разъ этого дѣлать не надо, что это выходъ, что лучше всего выбросить ключъ въ окно и все будетъ кончено — онъ дрожащими руками отпираетъ дверь.

И видитъ постарѣвшее поглупѣвшее отъ радости лицо Герэна.

Съ тѣхъ поръ, какъ Павелъ Дэль выписался изъ лечебницы и перебрался въ маленькую квартирку въ Парижѣ, время, для него, какъ будто вернулось туда, гдѣ оно было четыре года тому назадъ, къ его холостой, одинокой жизни, когда въ ней еще не было ни „Люки—моей—невѣсты“, ни „Люки—моей—жены“, ни „Люки — бросившей — меня“, а только предчувствіе жизни съ ней. Предчувствіе началось съ первой же минуты. Онъ влюбился въ нее „съ перваго взгляда“. До перваго взгляда, какъ ему потомъ казалось, просто отъ ощущенія совѣмъ особеннаго воздуха, который всегда и всюду окружалъ ее, отъ ея еще не видимаго присутствія, тепломъ и свѣтомъ наполнявшимъ весь уголъ комнаты, гдѣ она сидѣла въ креслѣ съ высокой спинкой, лицомъ къ камину такъ, что онъ, подходя къ

ней не могъ увидѣть даже ни завитка ея свѣтлыхъ волосъ, ни кончика ея чернаго платья. До перваго слова. Словъ еще не было — былъ смѣхъ. Она, когда онъ вошелъ въ гостинную своихъ друзей, смѣялась чему-то. Она протянула ему руку, продолжая смѣяться, будто ей казалось совершенно естественнымъ знакомиться, здороваться смѣхомъ. И этотъ ея немного воркующій голубиный смѣхъ съ отчетливо выговариваемымъ „гу-у” былъ первое, что онъ слышалъ отъ нея.

Тогда было предчувствіе жизни съ Люкой, теперь было воспоминаніе о жизни съ ней. Такое же нѣжное, поэтическое, влюбленное. Такое же совершенно не похожее на дѣйствительность.

Люка умерла, онъ остался жить. Вопросъ о томъ, что онъ не останется жить, даже не поднимался послѣ его болѣзни, будто она, эта болѣзнь, освободила его отъ излишка горя, съ которымъ онъ не могъ справиться, будто послѣ его выздоровленія, у него осталось какъ разъ столько горя, сколько онъ могъ вынести. Онъ, который, пока Люка была жива, такъ часто прикидывалъ въ умѣ способъ уйти изъ жизни, которому казалось, что если Люка не съ нимъ,— ему нѣтъ мѣста на землѣ, оттого, что Люка ушла изъ жизни, легла подъ землю, вдругъ расположился на этой землѣ, какъ дома, спокойно и уютно со своими воспоминаніями о ней. Эти воспоминанія, теперь, когда они откристаллизовались, закалились въ окончательной редакціи, не боясь коррективовъ будущаго (какое же у мертвой будущее?) почти замѣняли ему Люку. И даже, хотя въ этомъ онъ никогда бы не признался себѣ, на нихъ можно было опереться, положиться, на нихъ можно былъ построить начало новой жизни.

Въ нихъ была та добротная фундаментальность, которой, можетъ быть и не было въ живой Люкѣ. Отъ

нихъ, отъ воспоминаній о Люкѣ, уже нельзя было ждать подвоха, они не могли ни обмануть, ни предать его.

Она была совершенна эта Люка изъ воспоминаній. Она была прекрасна. Она была чиста. На ея бѣломъ платьѣ не было ни одного пятнышка. Даже ея бѣгство не было пятномъ. Даже и тогда она была права. Онъ, Павелъ, мѣшалъ ея работѣ, ея карьерѣ, ея свободѣ. Она должна была быть свободной, этого требовалъ ея талантъ. Она не разлюбила его, она только на время ушла. Вѣдь она, закончивъ работу, позвала его къ себѣ. Она была абсолютно чиста, абсолютно бѣла. Настолько бѣла и чиста, что онъ даже не рѣшался вспомнить что она была его женой, будто это пачкало, оскорбляло ее. Будто смерть снова вернула ей дѣвственность,—она снова была его невѣста... Нѣтъ, даже въ невѣстѣ было что-то грязное, какое-то ожиданіе, согласіе, обѣщаніе,— она была дѣвочкой въ бѣломъ платьѣ съ бѣлымъ вуалемъ, такая, какъ она лежала въ гробу. Только живая, бессмертная.

Такъ воспоминаніе о Люкѣ превращалось въ легенду. Не совсѣмъ безъ основаній, не совсѣмъ безъ пищи. Огромный успѣхъ фильма, ея портреты и біографіи въ газетахъ и журналахъ, ея несомнѣнный талантъ, с которымъ настойчиво повторяли критики,— все это было пищей, особенной пищей, отъ которой воспоминанія крѣпли, прибавлялись въ вѣсѣ, росли. Росли, переростая, подмѣняя собой, горе. Но ихъ нельзя держать про себя, ими надо дѣлиться, они требуютъ слушателя. И слушатель легко находится. Это Лорансъ Герэнь. Лорансъ, влюбленная въ память Люки, Лорансъ, всегда готовая говорить, слушать, спрашивать съ дѣтской жадностью. — А еще? А потомъ? А раньше? Десятки разъ одно и то же, съ тѣмъ же волненіемъ и восторгомъ. Мнѣнія Лорансъ умилительно банальныя, вмѣстѣ съ кружевами и гранатовыми

серьгами, перешедшія къ ней отъ бабушекъ и старыхъ тетокъ,— „Она была слишкомъ хороша, она не могла жить. Мы были недостойны ея”.

Лорансъ, которая постоянно прїѣзжала къ нему въ лечебницу, которая ухаживала за нимъ, чтобы въ обмѣнъ, въ награду, получить обрывокъ воспоминанія.

Она спрашиваетъ о дѣтствѣ Люки. Дѣтство Люки. Павелъ самъ почти ничего не знаетъ о дѣтствѣ Люки, о ея матери и сестрѣ. Люка никогда не рассказывала. Но Лорансъ спрашиваетъ и вотъ, слово за словомъ, какъ камень за камнемъ строится счастливое русское, съ морозами, тройками и снѣгами, поэтическое дѣтство. Дѣтство достойное новой Люки изъ воспоминаній. Такое длинное, обширное, многотомное, трехъ жизней не хватило бы, чтобы прожить его. Но Лорансъ всего мало.

Лорансъ краснѣетъ — ей очень хочется узнать о любви Люки, но она не смѣетъ. Она глотаетъ кофе, она вертитъ ложку, она отворачивается.

Онъ ведетъ Лорансъ въ Люксембургскій садъ.

— Здѣсь Люка дѣвочкой бѣгала съ подругами, пускала короблики въ бассейнъ, покупала шоколадъ въ ларькѣ.

— Она любила шоколадъ?

— Да. Не молочный, а черный съ орѣхами.

Про шоколадъ правда. И про игры тоже. Люка дѣйствительно говорила, что ходила сюда каждый четвергъ.

— А она любила природу? И потому, какъ Лорансъ нюхаетъ воздухъ, какъ проводитъ ладонью по водѣ, какъ наклоняется надъ цвѣтами, онъ понимаетъ что ей очень хочется, чтобы Люка любила природу.

Но любила-ли Люка природу. онъ не знаетъ. Люка часто смотрѣла вверхъ на небо надъ крышами. Глядя на розовый закатъ, она говорила — Завтра будетъ вѣтеръ. Какъ то осенью они гуляли по Булонскому

лѣсу. Дорожки были засыпаны желтыми сухими листьями. Люка шла, шурша ими, широко разбрасывая их ногами. Она подобрала каштанъ и долго потомъ носила его въ карманѣ пальто. Но значило ли это, что она любила природу? И всетаки онъ отвѣчаетъ — Да, очень. Она любила каштаны, осеннія листья, закатъ. Она любила запахъ земли, травы, дождя. Она говорила — Какъ хорошо пахнетъ гроза. Развѣ говорила? Онъ смутно напоминаетъ что то. Но можетъ быть она сказала просто — Пахнетъ грозой, вмѣсто — гроза будетъ?

— Какъ хорошо пахнетъ грозой — повторяетъ Лорансъ нараспѣвъ, какъ строчку стиховъ.

— Скажите, а она скучала когда нибудь? — Нѣтъ, никогда. При ней даже нельзя было себѣ представить что такое скука. Даже когда она сидѣла одна, ничего не дѣлая, у нея было такое оживленное, внимательное лицо, будто она слушаетъ что то очень увлекательное. Она ходила по улицамъ своей быстрой, легкой походкой, какъ спѣшать навстрѣчу радости. Продавщицы цвѣтовъ всегда приставали къ ней. Онѣ должно быть чувствовали, что ей естественно ходить съ цвѣтами, какъ другимъ женщинамъ съ кошелкой съ рынка. Она превращала каждый день въ праздникъ, самая жалкія платья казались на ней нарядными. Мы жили бѣдно, я мало зарабатывалъ, но пока она была со мной, я не замѣчалъ этого, такъ все преображалось отъ ея присутствія. — Какимъ чуднымъ она должно быть видѣла миръ своими чудными глазами. Какъ бы я хотѣла хоть одинъ разъ видѣть, слышать, почувствовать, какъ она. Лорансъ поворачиваетъ къ нему взволнованное лицо. — Но и такъ, оттого, что вы рассказываете мнѣ о ней, я стала все гораздо яснѣе видѣть, чувствовать, понимать. И любить. Любить все что любила Людмила Дэль.

— Почему вы не называете ее Люкой? спрашиваетъ

Павель. Лорансъ краснѣеть. — Развѣ я смѣю? Такъ фамиллярно. Павель настаиваетъ — Зовите ее Люкой. И Лорансъ благодарить его, будто онъ возвелъ ее въ санъ рыцаря.

Воспоминанія о Люкѣ. Конечно онъ сознаетъ что они разукрашены. И всетаки онъ старается быть правдивымъ. Онъ не мѣняетъ ни событій, ни словъ Люки, онъ только старается прояснить ихъ, подчеркнуть въ нихъ главное, показать Лорансъ живую Люку. Ему не приходится въ голову, что онъ обманываетъ Лорансъ, что онъ обманываетъ себя. Онъ даритъ Люкѣ все то о чемъ она такъ мечтала. Мечтала и наконецъ получила. Послѣ смерти.

То время, когда Герэнъ по собственному, тысячи разъ до него употребленному выраженію и потому особенно убѣдительному — „плясалъ на лезвіѣ бритвы“, когда эта бритва въ любую минуту могла разрѣзать его на двѣ одинаково несчастныя, никчемныя половины, давно прошло. Отъ этого „бритвеннаго времени“ не осталось ни порѣза, ни царапины. Фильмъ третій мѣсяць идетъ на Елисейскихъ Поляхъ.

Успѣхъ фильма, вѣрнѣе успѣхъ Люки спасъ Герэна и Тъери. Теперь Тъери уѣзжаетъ. Его пригласили въ Холливудъ послѣ успѣха фильма. Это награда за все. Холливудъ.

Тъери веселъ. Онъ постоянно смѣется, не улыбается, а смѣется, настойчиво и протяжно, широко показывая всѣ свои сверкающіе зубы. Онъ чувствуетъ себя побѣдителемъ. Мысль „а могъ бы уже лежать въ землѣ“ поднимается изъ чернаго атласнаго отворота, съ трескомъ отрываемаго портнымъ отъ примѣряемаго фрака, какъ птица вылетаетъ навстрѣчу его автомобилю изъ-за поворота улицы. „А могъ бы умереть давно“, мысль, придающая самымъ банальнымъ, мелкимъ жестамъ острую радость и значитель-

ность. Вотъ онъ завязываетъ галстукъ, а могли уже въ послѣдній разъ чужіе пальцы завязать на его мертвой шеѣ этотъ самый галстукъ, слишкомъ туго затянувъ узелъ и теперь и онъ и галстукъ уже давно лежали бы подъ землей. И Норманди, каюта на которой уже заказана для него, не повезла бы его черезъ океанъ въ Америку, въ новый міръ, къ новой жизни.

Послѣдній день передъ отъездомъ. Магазины, проводы. И самое послѣднее — хорошенко выспаться передъ путешествіемъ въ послѣдній разъ въ парижской квартирѣ. Все удается, на все хватаетъ времени. Покупки закончены, проводы, рѣчи, даже слезы Терезы, которая все-таки умудряется поймать его у входа въ ресторанъ и тутъ же на улицѣ разыграть мелодраму — Я ищу тебя повсюду. Въ ней ничего не осталось отъ суховатой подтянутости, отъ „чернаго лебедя”. Даже мѣхъ и тотъ дрябло, по старушечьи свисаетъ съ сутулящихся плечъ. Ему кажется, что она плачетъ, хотя ея глаза сухи. Онъ съ любопытствомъ присматривается. Морщинки подъ глазами идутъ длинными стрѣлами ко рту и создаютъ иллюзію плача. Но сейчасъ же, будто не нуждаясь въ иллюзіи, желая играть честно, слезы выступаютъ на рѣсницахъ и уже текутъ по щекамъ. — Такъ разстаться? Такъ? — Но почему иначе, а не такъ? Вопросъ на вопросъ. Она впервые плачетъ при немъ. — Я не зналъ, что ты такъ некрасиво плачешь. Острая радость отъ доставляемой ей боли, та-же какъ отъ примѣрки фрака и та же мысль — „а могъ уже умереть и этого не было бы”. И никогда не испытанное прежде желаніе мести, но за что? И Тереза понимаетъ — За что ты мстишь мнѣ? Неужели?... Онъ перебиваетъ ее. — Въ твоемъ возрастѣ нельзя себѣ позволять плакать.

— Ты звѣрь, Тьерри, ты хуже звѣря. Тѣ же слова, что въ ту ночь въ Венециі, но тонъ совсѣмъ не похожъ — не побѣдительный, побѣжденный. — Неуже-

ли ты такъ ничего и не скажешь мнѣ на прощаніе? Онъ поднимаетъ шляпу. Онъ низко кланяется ей — До свиданія, говоритъ онъ. До очень нескорого свиданія. Она еще хочетъ сказать что-то, она комкаетъ въ рукахъ платокъ. Онъ, улыбаясь смотритъ на нее. Она стоитъ на тротуарѣ у входа въ ресторанъ, по улицѣ проѣзжаютъ автомобили, идутъ прохожіе, швейцаръ съ поклономъ открываетъ дверь ресторана передъ посѣтителями. А она стоитъ и плачетъ, будто она одна въ собственной спальнѣ. Это совсѣмъ, какъ въ фильмѣ. И тотъ же привкусъ фальши, въ которомъ нельзя разобраться, что собственно фальшиво. Удивительно правильно изображаютъ иногда страданіе въ фильмахъ. Она что-то говоритъ, но онъ не слушаетъ. Онъ останавливаетъ такси, помогаетъ ей сѣсть въ него. — Будь счастлива. Это звучитъ насмѣшкой, но онъ дѣйствительно желаетъ ей счастья, тѣмъ болѣе, что отъ его пожеланія ничего не измѣнится. Несчастлива она и такъ будетъ.

Послѣдняя ночь въ Парижѣ, послѣдній до-океанскій сонъ.

Тъери просыпается отъ грохота грузовика, собирающаго мусоръ. Обыкновенно онъ не слышитъ, онъ крѣпко спитъ. Но сегодня сонъ такой неплотный, непрочный, незащищающій, какъ вдребезги сношенное, дырявое пальто. Въ дыры врывается грохотъ и сонъ трещитъ и рвется. Теперь онъ совсѣмъ проснулся. Какой это былъ томительный сонъ. Надо было вспомнить, отыскать что-то, неизвѣстно что. На поиски ушла вся ночь и все-таки ничего не найдено. И теперь, прислушиваясь къ громыханью цинковыхъ ведеръ, къ пулеметному стуку мотора тамъ, на улицѣ, за окномъ, Тъери напряженно вспоминаетъ не забылъ ли онъ дѣйствительно чего нибудь важнаго, необходимаго? Нѣтъ, все въ наилучшемъ, наичистѣйшемъ порядкѣ — визы, покупки, распоряженія, даже прощанія.

И всетаки по гулкому безпокойству крови, онъ чувствуетъ, что осталось еще что-то необходимое. Онъ уѣдетъ и тогда будетъ поздно. Надо непременно вспомнить, пока не поздно. Отъ волненія трудно лежать, онъ встаетъ, надѣваетъ свой хрустящій халатъ, причесывается твердой щеткой такъ настойчиво и долго, будто надѣется вычесать изъ памяти названіе того, что ему нужно и что никакъ не удастся вспомнить. Онъ роется въ своей памяти, какъ въ цинковомъ мусорномъ ведрѣ. Роется по обезьяньи руками и ногами, пробуетъ на вкусъ, на нюхъ всю эту ненужную дрянь, эту картофельную шелуху, эти обглоданныя кости, пустыя консервныя банки, просаленныя газеты... Но какъ найти, когда не знаешь, что ищешь? Онъ идетъ въ кабинетъ. На столѣ лежатъ журналы и письма. Онъ вскрываетъ письма. Та же картофельная шелуха, тѣ же пустыя банки — мусоръ, совсѣмъ не то, совсѣмъ ненужное. Онъ беретъ кинематографическій журналъ. На обложкѣ, во всю страницу портретъ Люки въ бѣломъ платьѣ, въ широкополой черной шляпѣ улыбающейся, счастливой, живой. Да, именно живой. Ощущеніе жизни, которое онъ такъ отчетливо чувствовалъ въ ея присутствіи, не просто жизни, а какой-то удачной, побѣдительной, непобѣдимой жизни... И она всетаки умерла. Тъери пожимаетъ плечами. Онъ хорошо знаетъ эту фотографію, вырѣзанную изъ фильма, онъ смотритъ на нее, какъ когда то смотрѣлъ на портреты царей и полководцевъ въ учебникѣ исторіи съ равнодушнымъ любопытствомъ. Онъ раскрываетъ журналъ. Снова Люка, Люка въ пятнадцать лѣтъ, въ школѣ, въ черномъ передникѣ, съ идеально дѣтскимъ невиннымъ лицомъ. Сѣверная дѣвочка съ свѣтлыми глазами, свѣтлыми волосами на преувеличенно длинныхъ, преувеличенно стройныхъ ногахъ. Ноги Люки, онъ и потомъ остались почти такими же. Рабочіе въ студіи называли ее „барышня съ ногами серны“. Обык-

новенно говорить „глаза серны“. Принято, что серна служить для сравненія глазъ, а не ногъ. Но глаза Люки совершенно непохожи на глаза серны — сонные, нѣжные, травоядные. Глаза Люки похожи... Не все ли равно теперь на что они были похожи, разъ ихъ больше нѣтъ. Въ голову лѣзетъ всякій вздоръ о сернахъ, о ногахъ, а уже безъ пяти восемь и надо торопиться, надо вспомнить. Онъ кладетъ раскрытый журналъ на столъ, онъ встаетъ, онъ шагаетъ по комнатѣ. Надо сосчитать до ста не напрягаясь,— то, что онъ ищетъ и чего не можетъ вспомнить, само выскочить, выпадетъ изъ памяти между двумя числами. Онъ считаетъ громко, шагая въ тактъ. — Сто двадцать пять. И останавливается. Передъ глазами скачутъ цифры, красныя, круглыя на желтомъ фонѣ, съ легкимъ трескомъ смѣняя другъ друга. Онъ садится за столъ. Можетъ быть, то, что онъ ищетъ, скорѣе найдетъ контактъ съ бумагой. Онъ беретъ стило, онъ кладетъ чистый листъ бумаги передъ собой. Онъ поднимаетъ стило, готовый проколоть имъ нужную мысль, какъ бабочку приколотъ ее къ бумагѣ, чтобы внимательно рассмотреть ее, опредѣлить ея имя. Онъ смотритъ на матовую бѣлизну бумаги. Рядомъ лежитъ раскрытый горбящийся журналъ, дѣтское лицо Люки, преобразенное волнообразнымъ ниспаденіемъ страницы, расплывается въ глянцевоиъ отблескѣ. Оно тутъ, но Тьери не видитъ его. Онъ ждетъ, онъ крѣпко держитъ стило наготовѣ. Пальцы затекли, онъ поднимаетъ локоть, двигаетъ рукой, стараясь освободиться отъ судороги. И вдругъ будто его локоть рычагъ, приводящій въ движеніе механизмъ, рука его сама пишетъ большими отчетливыми буквами „рядомъ съ Людмилой Дэль“.

— Люка, говоритъ онъ. И въ отвѣтъ вся комната наполняется словами, крикомъ, шопотомъ, плачемъ; голосами Люки.—Это твой ребенокъ, это твой ребенокъ, Тьери! Не уѣзжай. Я не могу жить безъ тебя.

Тъери, Тъери! — съ отчаяніемъ, захлебываясь отъ слезъ, мѣшаясь, перебивая другъ друга, съ послѣдней надеждой, совсѣмъ безнадежно — Тъери, Тъери!..

День рожденія Лорансъ. Первый день своего рожденія, который она дѣйствительно празднуетъ. Прежде этотъ день только тяготилъ ее, притягивая къ ней вниманіе домашнихъ и знакомыхъ, почти не замѣчавшихъ Лорансъ въ обыкновенное время. Но тутъ всѣ вдругъ вспоминали о ней, пристально разглядывали, цѣловали, дарили несносные подарки. Она должна была благодарить, присѣдать въ реверансъ, повторять заученную фразу — „Спасибо, какъ разъ о такой куклѣ я мечтала“. Нѣтъ, она никогда не мечтала о куклахъ, она ихъ терпѣть не могла. Ими уже былъ набитъ весь шкафъ для игрушекъ, а ей дарили все новыхъ и новыхъ.

Лорансъ всегда надѣялась, что забудутъ. Но утромъ входила англичанка и пожелавъ „many happy returns of the day“, объявляла, что сегодня занятій не будетъ и Лорансъ можетъ дѣлать все, что хочетъ. Но Лорансъ хотѣла только, чтобы этотъ день скорѣе прошелъ. Она бродила по дому въ нелѣпомъ платьѣ изъ настоящихъ кружевъ съ пышными голубыми бантами, стыдясь платья, бантовъ, дня рожденія, себя. Безсознательно стыдясь даже того, что вообще родилась. Потомъ, когда она подросла, ей вмѣсто куколъ стали дарить книги и день рожденія стал обыкновеннымъ, скучнымъ, будничнымъ днемъ, только немного болѣе скучнымъ и будничнымъ, чѣмъ остальные.

Но Люка любила праздники. Люка праздновала все, что только можно было праздновать. Въ особенности свои именины и день рожденія. Значитъ такъ и надо. Значитъ нельзя иначе. И Лорансъ просыпается празднично и радостно. Она надѣваетъ новое бѣлое, гладкое платье, такое, какъ у Люки въ фильмѣ,

укладываетъ волосы локонами такъ, какъ Люка. Она идетъ въ столовую. Въ этомъ платьѣ, съ этой прической, гораздо веселѣе и спокойнѣе спускаться по лѣстницѣ, проходить по залу. Она улыбается себѣ въ каждомъ встрѣчномъ зеркалѣ. Это дѣйствительно праздникъ. И отецъ помнить. А она немного боялась, что именно сегодня, когда ей такъ хочется поздравленій и подарковъ онъ забудетъ. Но ее, уже на порогѣ, встрѣчаетъ его. — „Поздравляю. Давай скорѣй рѣшимъ, что тебѣ подаримъ”. Она садится напротивъ него и пьетъ кофе. Она уже припасла желаніе, но еще не смѣетъ сказать. — Чтонибудь очень хорошее, дорогое. Хочешь бриліантовое кольцо или верховую лошадь? Она трясетъ головой — Нѣтъ, нѣтъ, и улыбается, чтобы скрыть смущеніе. Герэнъ смотритъ на нее, Не тѣмъ привычнымъ безразлично-отцовскимъ взглядомъ, который скользилъ по ней, почти не видя ее, а зорко, оцѣнивая и взвѣшивая, какъ на чужую. — Ты очень выросла. И очень перемѣнилась. Совсѣмъ взрослая, — слова еще привычно-отцовскія, тѣ, которыя онъ уже часто говорилъ ей. Новое мнѣніе о дочери еще не нашло себѣ выраженія. Герэнъ быстро касается не то бумажника, не то сердца. Лорансъ краснѣетъ подъ его тяжелымъ взглядомъ и опускаетъ глаза. — Ты кого-то напоминаешь мнѣ, не могу только вспомнить кого. Ну, а насчетъ подарка?

И Лорансъ рѣшается — Я хочу тебя просить, она поднимаетъ голову, очень просить. Поставь памятникъ на могилу Людмилы Дэль. Самое трудное сказано и теперь она, спѣша доказываетъ, что это необходимо, справедливо, вѣдь отецъ самъ говорилъ, что многимъ обязанъ Людмилѣ Дэль, что она спасла его. — Пожалуйста, пожалуйста. Настоящій памятникъ. Статую. Какъ на площади. Закажи знаменитому скульптору. Герэнъ удивленъ. — Въ видѣ ангела. Какъ въ фильмѣ. — Но зачѣмъ ангель? Лучше просто ея статуя.

— Нѣтъ, непременно ангеломъ. Она была больше ангеломъ, чѣмъ женщиной. Я уже давно рѣшила.

— Ты очень странная, говорить Герэнъ. Я тебя совсѣмъ не знаю. Ты забавнѣе, чѣмъ я думалъ. Могильный памятникъ ко дню рожденія. Онъ снова смотритъ на нее. И знаешь, на кого ты похожа? Я догадался теперь. На эту самую Людмилу Дэль. Да, да, въ ней было то же, что и въ тебѣ. Что то птичье, будто она только присѣла на стулъ, испугнуть ее и она улетитъ. И тотъ же какой-то внутренній переполохъ отъ слишкомъ большой молодости. Она была такой въ самомъ началѣ, когда я познакомился съ ней. Потомъ это скоро прошло... Онъ задумывается. Лорансъ молчитъ, она не благодаритъ. Но это подарокъ, это второй подарокъ. Не менѣе чудесный, чѣмъ первый — сходство съ Люкой.

Герэнъ проводитъ рукой по гладкому черепу.— Ну хорошо. Пусть памятникъ. Завтра же закажемъ. Но не кажется ли тебѣ, что надо спросить Дэля, захочетъ ли онъ ангела на могилѣ жены?

Лорансъ киваетъ — Я спрошу его. Онъ придетъ сегодня. Ахъ, только бы онъ согласился.

Только бы согласился Павелъ Дэль. Лорансъ ждетъ его, она волнуется. Въ этотъ сентябрьскій день такъ жарко, такъ трудно волноваться.

Лакей ставитъ на столъ крендель и семнадцать свѣчекъ, по числу лѣтъ Лорансъ. Сейчасъ придетъ Павелъ Дэль и они будутъ вмѣстѣ пить шоколадъ съ сбитыми сливками. И шоколадъ, и крендель, и свѣчи, и гирлянда вокругъ стула — все какъ бывало у Люки.

Отецъ занятъ, онъ придетъ только къ обѣду. Будутъ гости. Въ спальнѣ на постели уже лежитъ длинное тюлевое платье, купленное въ любимомъ модномъ домѣ Люки и парчевыя туфельки на головокружильныхъ каблукахъ, заказанныя у сапожника Люки. Она встрѣчается съ Павломъ Дэль каждый день въ кафэ

или въ Люксембургскомъ саду, но онъ рѣдко бываетъ у нея. Дома, среди великолѣпія и пышности, Лорансъ робѣетъ и смущается, будто боится всѣхъ этихъ бронзовыхъ грифоновъ, этихъ когтей и крыльевъ и своего отраженія въ безконечныхъ зеркалахъ и слишкомъ яркихъ люстръ и скользкихъ паркетовъ. Дома ей какъ то еще труднѣе справиться со своими руками и ногами, даже со своимъ голосомъ, слишкомъ тихимъ для этихъ большихъ гулкихъ комнатъ.

Она ждетъ его въ своей бѣлой свѣтлой комнатѣ съ лампой глобусомъ, съ книжными шкафами и старыми географическими картами по стѣнамъ. Она когда-то мечтала быть путешественникомъ, изслѣдователемъ полярныхъ странъ. Съ географическими картами и портретами Люки изъ журналовъ и увеличенными, немѣлыми любительскими снимками, которые принесъ ей Павелъ Дэль. Вотъ здѣсь Люка ѣстъ яблоко. Солнце освѣщаетъ только ея открытый ротъ и бѣлые зубы. Здѣсь Люка на тенисъ. Здѣсь она читаетъ книгу, какъ дѣвочка, прилежно готовящая урокъ.

Лорансъ стоитъ передъ окномъ. Вотъ по этой улицѣ, подъ этими каштанами пройдетъ Павелъ Дэль. Уже четыре часа. Неужели онъ опоздаетъ, онъ, такой аккуратный? Какъ трудно ждать. Но онъ не опаздываетъ. Онъ уже идетъ. Она видитъ его издали. Она давно не смотрѣла на него издали, всегда вблизи, рядомъ, за столикомъ кафэ. Она очень привыкла къ нему, она не задумывалась о выраженіи его лица. Она помнила его лицо измученнымъ и блѣднымъ, такимъ какъ оно было когда она ѣздила къ нему въ лечебницу. Такимъ оно осталось у нея въ памяти. Ей казалось, что оно навсегда останется такимъ. Но вотъ она видитъ его большого, широкоплечаго, увѣренно шагающаго. Его загорѣлое лицо совершенно спокойно. Онъ держитъ въ рукахъ пакетъ, обернутый въ голубую бумагу и это веселое голубое пятно на его чер-

номъ траурномъ пиджакѣ кажется Лорансъ оскорбительнымъ. И когда онъ успѣлъ стать такимъ спокойнымъ? Она встрѣчалась съ нимъ каждый день, а вотъ не замѣтила. Спокойнымъ, почти веселымъ, какъ будто Люка не лежитъ въ могилѣ. Голубой пакетъ — подарокъ ей, Лорансъ. Но она не думаетъ о немъ, она думаетъ о Павлѣ Дэлъ. Какъ случилось что онъ выкарабкался изъ такого горя? Значить и послѣ такого горя можно улыбаться и это только выдумка, что умирають отъ любви? Но ей некогда думать, онъ уже здѣсь, передъ ней, этотъ пережившій такую любовь и такое горе, Павелъ Дэлъ. Онъ, улыбаясь, поздравляетъ ее, желаетъ ей счастья. И она благодаритъ его за поздравленіе. — Я хотѣла съ вами поговорить, спросить у васъ... — Я принесъ вамъ подарокъ. Она не протягиваетъ руки за пакетомъ, не спрашиваетъ что это. Она садится на стулъ посреди комнаты, робѣя, какъ всегда, дома, даже больше, чѣмъ всегда. Ея рѣсницы начинаютъ быстро моргать, будто она готова заплакать или обидѣться. Она предлагаетъ ему папиросы, встаетъ, пересаживается на другой стулъ. — Я хотѣла васъ просить согласиться.. и переводить дыханіе. Онъ снова улыбается — Я, конечно согласенъ. — Ахъ, нѣтъ не такъ. Она мучительно чувствуетъ свои уши. Ей кажется, что каждое ея слово камнемъ падаетъ въ море, птицей улетаетъ въ небо, строитъ глухую стѣну между Павломъ и ею, отдѣляетъ ихъ на тысячу километровъ другъ отъ друга и съ яростной быстротой снова сталкиваетъ ихъ — лбами, такъ что искры летятъ изъ глазъ. Но внѣшне все просто и обыкновенно. Она рассказываетъ ему о своемъ желаніи поставить памятникъ — Ангелъ, какъ въ фильмѣ. И погибая, воскресая, исходя стыдомъ и робостью она объясняетъ, что отецъ ей уже подарилъ деньги и если только Павелъ согласится... И онъ соглашается. Онъ даже благодаритъ ее. За что? — „Вѣдь Люка была

скорѣ ангеломъ”, старается она дообъяснить. Какъ жаль, что ей нельзя поставить памятникъ гдѣ-нибудь на площади Парижа. Она была достойна настоящаго памятника. Такая необыкновенная. Такая, что почти нельзя повѣрить. Если бы не вы рассказывали мнѣ про нее, вы, который такъ хорошо ее знали... Онъ качаетъ головой. — Нѣтъ. Я ее не зналъ. Я ее любилъ. Это не совсѣмъ одно и то же. Онъ закуриваетъ папиросу. — И всетаки мнѣ кажется, что она была дѣйствительно такая, какъ я говорю.

Лорансъ убѣжденно киваетъ. — Конечно такая, совсѣмъ такая. Я знаю. Но трудно повѣрить. Слишкомъ много свѣта, прелести, доброты. Слишкомъ необычайная судьба. Чтобы все сразу — и любовь, и удача, и слава. И чтобы каждый день, каждый часъ были только весельемъ, счастьемъ, исполненіемъ желаній. Знаете, брови Лорансъ высоко поднимаются, — то, что она жила, то что она была именно такая, мирить меня съ уродствомъ, съ нищетой, со зломъ. Да, да, со всѣми бродягами, мерзнущими подъ мостами, съ горбатыми стариками, со слѣпыми, съ умирающими отъ голода дѣтьми и съ котятами, которыхъ топятъ въ ведрѣ, со всей несправедливостью, всѣмъ ужасомъ и грубостью жизни. Люка — какъ доказательство, что бываетъ счастье, полное, ничѣмъ, не ущемленное совершенство и щедрость судьбы. Люка была какъ утѣшеніе. Лорансъ встаетъ. — Ахъ, я не умѣю объяснить. И вамъ должно быть смѣшно. Она прижимаетъ руки къ груди, она приподнимается на носкахъ отъ желанія быть понятой имъ. — Вы не знаете еще. Но оттого, что Люка существовала, мнѣ самой стало легче жить. А прежде все мучило, оскорбляло меня. Мнѣ было очень плохо. И я такъ благодарна ей. Ахъ, вы не понимаете. Я не умѣю объяснить.

Она смущается. Она отворачивается отъ него. Нѣтъ, онъ прекрасно понимаетъ. Онъ даже самъ смут-

но чувствовалъ это. И какъ правильно она сказала — утѣшеніе. Да, Люка, дѣйствительно, была утѣшеніемъ.

— Я принесъ вамъ подарокъ, говоритъ онъ снова и на этотъ разъ, она беретъ пакетъ и благодаритъ, еще не зная за что.

Бумага съ хрустомъ разворачивается и падаетъ на полъ, Лорансъ держитъ въ рукахъ бураго, потертаго, плюшеваго медвѣдя.

— Тролля? спрашиваетъ она тихо, почти испуганно и руки ея начинаютъ дрожать.

— Я рѣшилъ подарить его вамъ. Лорансъ смотритъ на медвѣдя и жмурится, будто на него, какъ на солнце, трудно смотрѣть. — Тролля! Это крикъ радости, но радость слишкомъ остра и крикъ похожъ на крикъ боли. Она прижимаетъ медвѣдя къ груди, она цѣлуетъ его потертую морду такъ жадно, какъ могла бы цѣловать ее Люка.

Она поворачиваетъ къ Павлу Дэль опустошенное радостью лицо:

— Вы дѣйствительно дарите мнѣ его? Совсѣмъ?

Онъ киваетъ.

— Да — совсѣмъ дарю.

Но какъ? Подарить Тролля ей? Тролля, о которомъ Люка думала въ послѣдній день?

— И вамъ не жаль? спрашиваетъ она тихо, такъ тихо, что онъ не слышитъ.

Она не понимаетъ, ей надо подумать, привыкнуть къ радости. Она осторожно сажаетъ Тролля на столъ и отходить къ окну, къ деревьямъ, къ тишинѣ неба. Она въ смятеніи смотритъ на осенніе листья, кружащіяся въ вечернемъ воздухѣ, какъ золотыя рыбки въ водѣ. Она чувствуетъ, какъ что-то тяжелое оборвалось, передвинулось въ ней и тамъ, глубоко внутри, гдѣ было такъ темно и душно, теперь сквознякъ и солнце. Еще ничего нельзя понять, нельзя разобрать-

ся, нельзя разсмотрѣть,— слишкомъ свѣтло, слишкомъ вѣтрено.

Она впервые чувствуетъ какъ прекрасенъ этотъ вечеръ, этотъ Парижъ и этотъ мѣръ. И что этотъ вечеръ, этотъ Парижъ и этотъ мѣръ не были бы такъ прекрасны, если бы она, Лорансъ, не стояла бы здѣсь у окна, не смотрѣла бы на нихъ. Она впервые смутно сознаетъ свое участіе въ мѣрѣ, свое мѣсто въ немъ, свою единственность, свою неповторимость. Она совсѣмъ по-новому чувствуетъ вѣтеръ, деревья и камни мостовой, будто проникая въ ихъ суть, въ ихъ душу. Деревья, вѣтеръ и свою комнату, казавшуюся ей прежде клѣткой, книги въ шкафахъ, каждую отдѣльно, письменный столъ, коверъ.

Вотъ она обернется и впервые по настоящему увидитъ ихъ, увидитъ, пойметъ, полюбитъ. Они тамъ, за ея спиной, она чувствуетъ ихъ присутствіе. И присутствіе спокойнаго сѣроглазаго человѣка, такъ безразсудно подарившаго ей Тролля.

Она боится, чтобы вѣтеръ не закружилъ ее въ воздухѣ, не оторвалъ ее отъ земли. И чтобы удержаться на землѣ, чтобы немного успокоить волненіе въ противѣсъ ошеломляющему ощущенію жизни, она вспоминаетъ о смерти, о чужой безразличной смерти.

— Сегодня ровно мѣсяць, какъ застрѣлился Тьерри Ривуаръ, говоритъ она, прежде, чѣмъ обернуться.

23 іюля 1938 г.

עיריית חיפה / מינהל החת"ר
אוף תחבוח-תשד"ח אגודת המח' לתפוזים
הספריה הצבורית ע"ש ש. טבונר

ס"ס

72970/1